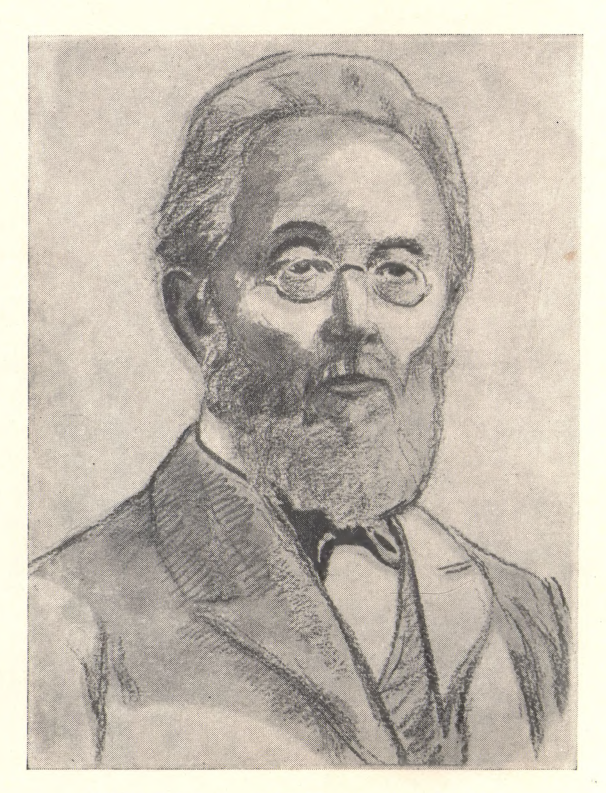
Менделе Мойхер-Сфорим



МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМ

МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМ

Маленький человечек

—

Путешествие Вениамина Третьего

—

Фишка Хромой

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1961

Перевод с еврейского
И. Гуревича и М. Шамбадала

Вступительная статья
Ю. Светланова

Оформление художника
М. Горшмана

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМА

«Печален мой напев в хоре еврейской литературы... Мне... было суждено спуститься на нижнюю ступень еврейской жизни, в подвалы... Перед моими глазами вечно носится сумá, исконная, огромная еврейская сума... Куда бы я ни повернулся, всюду мне мерещится сума; о чем бы я ни вздумал рассказать, мне приходит на ум сума!

Везде и всюду — сума, еврейская сума!»

Так в предисловии к «Фишке Хромому» говорит о содержании своего творчества основоположник реализма в еврейской литературе, замечательный писатель, гуманист, демократ Шолом Яков Абрамович, известный широким читательским кругам не только в России, но во многих странах мира под псевдонимом Менделе Мòйхер-Сфорим.

Почти сто лет прошло с того дня, когда еврейский читатель с любопытством разглядывал только что вышедшую из печати небольшую книгу — «Маленький человечек». Все в ней было ново, все удивительно. И имя автора (Откуда взялся этот Менделе?), и название (Что еще за «Человечек»?), но больше всего то, что книга была написана не на древнееврейском, признанном тогда

литературном языке, а на «идиш» — языке «кухарок и прачек», на презираемом еврейской буржуазной интеллигенцией «жаргоне».

Еще больше удивлялся, а порой и ужасался буржуазный читатель, знакомясь с содержанием книги. Неслыханно! Этот Менделе осмеливается насмехаться над самыми солидными, над самыми уважаемыми гражданами еврейских общин. Мало того, он чуть ли не в глаза называет их всех жуликами и негодяями. Этот вольнодумец утверждает, что в еврейских религиозных школах — хедерах и талмудторах — детей только калечат, что они выходят оттуда круглыми невеждами и нравственными уродами. И кто это предоставил ему право давать нам советы, как и чему учить своих детей!

Иначе воспринял книгу Менделе простой народ. Еще не осознав как следует всю глубину ее идейного содержания, он сразу почувствовал, что отныне у него есть «свой собственный писатель» и что эта его первая книга — тот кирпич, который ляжет в фундамент новой подлинно народной еврейской литературы.

И народ не ошибся. До самой своей смерти Менделе оставался его верным другом и заступником. Ему, этому нищему, полуголодному, обездоленному люду отдал писатель свой изумительный талант. Его могучий голос звучал то гневно и обличающе, когда он клеймил врагов народных масс, начиная с царских чиновников и кончая еврейской национальной буржуазией, то добродушно и печально, когда говорил о тех, кому от всех богатств мира осталась лишь нищенская сума.

Но почему же все-таки сума? И почему Менделе называет ее исконно еврейской? Почему уделом бедняка русского, украинца, белоруса при царизме был каторжный труд на полях помещика или шестнадцатичасовая работа за станком, а уделом бедняка еврея — нищенская сума и подаяние? Что это за «еврейские заработки», о которых так часто упоминает Менделе на страницах своих произведений?

Еще в XVIII веке, когда население Российской империи пополнилось значительной массой проживавших в Польше евреев, царское правительство отчасти по религиозным, отчасти по политическим мотивам установило для своих новых подданных пресловутую «черту оседлости». Евреям разрешалось проживать лишь в строго определенных губерниях, число которых в разные годы колебалось от пятнадцати до двадцати пяти. Эти ограничения постепенно усиливались. К концу XVIII столетия евреев стали выселять из сельских местностей, а в начале XIX — и из всех более или менее крупных городов. Евреи не могли больше ни заниматься земледелием, ни работать на возникающих в городах промышленных предприятиях; служить в государственных учреждениях им тоже запрещалось. Гонимые отовсюду, они со временем сосредоточились в маленьких провинциальных городках и местечках, выведенных Менделе Мойхер-Сфоримом под разными вымышленными названиями, а в дальнейшем обобщенных Шолом-Алейхемом в его знаменитой «Касриловке».

Не имея возможности заниматься каким бы то ни было производительным трудом и тем самым зарабатывать себе на пропитание, жители этих местечек вскоре дошли до ужасающей нищеты. В этих условиях коза считалась уже достатком, лоток с грошовым товаром (общей стоимостью едва ли не в один рубль) — средством к существованию, а собственный убогий домишко и корова — целым состоянием. И вот появилась сума. Из города в город, от села к селу потянулись бесконечные вереницы отчаявшихся, изголодавшихся людей.

Наивысшей царской «милости» евреи удостоились в 1841 году. По новому положению они должны были поставлять в армию рекрутов в пять раз больше (в процентном отношении к числу жителей), чем все остальные народы России. Всего взрослого мужского населения местечек не хватало для заполнения норм рекрутского набора, и евреи были вынуждены отдавать в армию двенадцатилетних детей (отсюда создание института

«кантонистов») и престарелых. В 1853 году Николай I дополнил свой указ 1841 года. Отныне евреям разрешалось ловить своих же соплеменников, случайно забредших в «чужую» губернию и не имеющих при себе паспорта, и отдавать их в солдаты. Именно под действие этого закона попадают Вениамин и Сендерл-баба,— в последних главах повести Менделе «Путешествие Вениамина Третьего».

Созданные царизмом уродливые условия жизни еврейского народа породили столь же уродливые формы внутреннего строя местечковых общин. Господствующее положение здесь занял мелкий паразитический капитал (торговцы, ростовщики), кровно заинтересованный в сохранении обособленности еврейских трудящихся, предоставляющей ему полную свободу для откровенного грабежа народных масс.

Ловко используя в своих целях религию, суеверие и сохранившиеся еще чуть ли не со времен средневековья обычаи, местечковая верхушка, в лице синагогальных старост, цадиков, раввинов, всячески препятствовала стремлению простого народа к образованию, к духовному общению с другими нациями. Еврейские дети должны были годами изучать лишь талмуд и другие религиозные книги. Их пичкали библейскими и националистическими баснями «о великой миссии евреев на земле», «об избранном народе», но не давали при этом и крохи каких-либо прикладных знаний. Занятие ремеслом расценивалось местечковой верхушкой как унижающее человека Сапожники, кузнецы и портные стояли на низшей ступени еврейского общества (чуть-чуть повыше нищих). Зато наибольшим уважением пользовалась торговля, всякого рода «сделки», под категорию которых попадали даже свадьбы и похороны. Еще больше почитались откровенные бездельники талмудисты («батлены»), целыми днями просиживающие в синагогах над разрешением какого-нибудь запутанного религиозного вопроса.

В таких условиях простому человеку было невероятно трудно преодолеть действие религиозного дурмана, которым с детства отравляли его сознание, трудно было вырваться из затхлой атмосферы хедеров и синагог на простор свободной творческой мысли, но еще труднее было ему открыто выступить против столетиями сложившегося и тщательно оберегаемого «отцами города» порядка, высмеять то, что большинство чтило как святыню, низвергнуть с пьедестала тех идолов, которым это большинство поклонялось, и указать своему народу путь к светлому будущему. Для этого требовалось иметь не только пытливый и ясный ум, но и горячее мужественное сердце. Таким ясным и пытливым умом, таким горячим и мужественным сердцем и обладал Шолом Яков Абрамович — Менделе Мойхер-Сфорим.

«Дедушка еврейской литературы»,— как называл Менделе один из его наиболее талантливых учеников и последователей — знаменитый Шолом-Алейхем,— родился 20 декабря 1836 года в местечке Копыле Минской губернии. Отец Абрамовича — человек глубоко религиозный — позаботился о том, чтобы сын получил самое блестящее по тогдашним местечковым понятиям образование, то есть в совершенстве изучил библию, талмуд и другие богословские книги. Поэтому после окончания хедера будущий писатель был отправлен в слуцкий ешибот, типичную еврейскую бурсу со всеми ее своеобразными и весьма суровыми нравами и обычаями. Там Шолом Абрамович пишет свои первые стихи, в которых воспевает красоты природы,— это было своеобразным протестом юноши против пребывания в душном и тесном, похожем на тюрьму ешиботе. В том же 1850 году умирает его отец, а двумя годами позже мать вторично выходит замуж. Шолом переезжает к своему отчиму на хутор Мельники, расположенный в живописной местности неподалеку от Копыле. Там, как рассказывал потом Абрамович, муза подружила его «с цветами а

лугу, птицами в небесах и всем, что копошится на земле». Отсюда новые стихи, и даже целая поэма, посвященные природе. Большого художественного значения эти первые литературные наброски не имели, но позже они как бы ожили в блестящих картинах природы, украшающих все наиболее крупные прозаические произведения Менделе Мойхер-Сфорима.

В 1854 году восемнадцатилетний Шолом перебирается в Копыле и там знакомится с известным в местечке бродягой, типичным представителем уже упомянутой выше еврейской нищенской братии, Авраамом Хромым, живым прообразом будущего Фишки. Авраам Хромой, исходивший добрых пол-России, увлекает юношу красочным описанием своих путешествий и уговаривает его отправиться вместе с ним по белу свету. Трудно указать точно все места, в которых побывал Абрамович. В своей автобиографии он упоминает Волынь, Подолию, Литву и Украину. В Каменце он встречается и знакомится с крупнейшим представителем еврейских просветителей того времени — поэтом А. Б. Готлобером. Это знакомство оказало решающее влияние на дальнейшую жизнь Абрамовича. Готлобер принял живое участие в судьбе пылкого, любознательного юноши и помог ему в изучении русского и немецкого языков и арифметики. Теперь Шолом мог удовлетворить свою неуемную страсть к чтению, познакомиться с произведениями не только еврейских авторов, но и лучших представителей русской литературы: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского. В 1856 году он сдает экзамен на учителя и поступает на службу в казенное еврейское училище. В том же году в местной газете «Гамагид» («Проповедник») появляется его первая литературная работа «Письмо о воспитании» — о необходимости обучать еврейских детей не только талмуду, но и русскому языку и прикладным наукам (статья была подготовлена с помощью Готлобера).

В 1858 году Абрамович переезжает в Бердичев, где через два года появляется его острая критическая статья о еврейском пи-

сателе Э. Цвейфеле, бывшем тогда «властителем дум» еврейской буржуазии. Написанная не без влияния Белинского, она является первой серьезной критической статьей в еврейской литературе, утверждающей принципы реализма.

В начале шестидесятых годов Абрамович отдается новой и весьма интересной работе. Среди русской передовой интеллигенции господствовало тогда увлечение естественными науками, и писатель, все еще находящийся под влиянием просветителей, решает перевести, вернее — пересказать в доступной для простого еврейского народа форме «Историю естествознания» немецкого профессора Ленца. Перевод этого трехтомного труда был завершен им лишь в 1872 году. Но уже в 1864 году в газете «Кол мевассер» («Голос возвещающий») начинает печататься первое крупное художественное произведение Абрамовича — повесть «Маленький человечек», изданная им под псевдонимом Менделе Мойхер-Сфорим.

История этого псевдонима весьма примечательна. Еще во время своих странствований по России Абрамович познакомился с торговцем книгами, разъезжающим по еврейским местечкам. Имя этого торговца — Сендер, и род его занятий — книгоноша (по-древнееврейски: Мойхер-Сфорим) писатель и решил использовать в качестве псевдонима. Но тут решительно запротестовал трусливый редактор «Кол мевассер», которого, на беду, тоже звали Сендер (а вдруг подумают, что эту книгу написал он сам). Он и изменил Сендер на Мендл, ласкательно — Менделе. Абрамовичу не оставалось ничего другого, как согласиться и предстать перед читателем под именем Менделе Мойхер-Сфорим.

Еще в начале своей работы над повестью «Маленький человечек» писателю пришлось пережить большую внутреннюю борьбу. Вот что говорил об этом впоследствии он сам:

«...Присматриваюсь к жизни своего народа, намереваясь изобразить ее в повестях на библейском языке; но ведь боль-

шинство евреев совсем не понимает этого языка, а знает только идиш. К чему все думы и труды писателя, если он не приносит ими пользы своему народу? Вопрос: для кого я тружусь? — беспокоил и смущал меня. Наши писатели смотрели на идиш свысока и с полнейшим презрением... Меня очень смущала мысль, что если я буду писать на «жаргоне», то этим унижу себя; но сознание пользы дела заглушило во мне чувство ложного стыда, и я решил: будь что будет — заступлюсь за отверженный «жаргон» и буду служить своему народу!»

«Маленький человечек» Абрамовича действительно послужил еврейскому народу, и не только тем, что был написан на идиш. Во всей еврейской литературе тех лет невозможно найти более гневный, более беспощадный, более обличительный памфлет на буржуазию, на капитализм. Некоторая шероховатость стиля еще неопытного молодого писателя, отдельные недостатки композиции, местами излишний мелодраматизм отступают перед глубоким идейным содержанием повести, остротой ее социальных проблем. В то же время в каждом отдельном эпизоде, в каждой бытовой зарисовке, в каждом портрете действующих лиц уже чувствуется рука художника.

Тема повести — жизненный путь местечкового еврея, который ценой утраты лучших человеческих качеств: любви, дружбы, благодарности, верности, честности и доброты — добивается своей корыстной цели и постепенно становится крупнейшим богачом в городе,— уже встречалась в литературе. Но Абрамович впервые в еврейской литературе сделал глубокое художественное и социальное обобщение этого образа.

На первый взгляд повесть написана под влиянием все тех же просветителей. Казалось бы, лишь отсутствие надлежащего образования превращает ее главного героя Ицхок-Аврома в «человечка», лишь «необразованность» не дает ему возможности разобраться, что хорошо и что плохо, толкает его на преступления, разбивает жизнь близких ему людей. Да и в качестве ле-

карства, панацеи от подобных бед, предлагается единственное средство — образование, организация хороших школ для детей.

Однако идея повести много глубже и далеко выходит за рамки простого просветительства. Из главы в главу проходит все та же мысль: человек, стремящийся к богатству, перестает быть человеком,— теряет честь и совесть, превращается в хищника, не знающего жалости даже к собственным детям. Постепенно эта мысль становится еще более значительной: в любом капиталистическом обществе наблюдается то же самое,— каждый капиталист уже только в силу того, что он капиталист, должен лгать, грабить, мошенничать, отбирать последние крохи у народных масс. Порядочный человек не может стать богачом, богач не может быть порядочным человеком.

Легко представить, как была воспринята повесть «Маленький человечек» верхушкой городской еврейской буржуазии, каждый из представителей которой вполне мог принять ее на свой счет. Особенно негодовали «отцы» Бердичева, которые подозревали, что упоминаемый Абрамовичем Глупск не что иное, как их город. Однако настоящий скандал разразился четыре года спустя, когда писатель после неудачного романа «Отцы и дети» (1868), посвященного теме столкновения современно образованных детей с их религиозными родителями, написал драму под весьма оригинальным и точно определяющим ее содержание названием «Такса, или банда городских благодетелей». В «Таксе» так же, как и в «Маленьком человечке», но только, пожалуй, еще более остро и откровенно, говорилось о том, как городские заправилы используют правительственный налог на мясо скота, убитого в соответствии с предписаниями еврейской религии (налог этот назывался «коробочный сбор», или «такса»), для своего личного обогащения.

На этот раз сходство сценических персонажей с «отцами» города Бердичева было уже настолько явным, что ошибки быть

не могло. «Бандиты» сразу узнали себя, и писателю пришлось вместе с семьей переехать в Житомир.

Здесь в 1873 году вышла его знаменитая «Кляча (Из записок безумного Исроелика)».

Это скорее публицистическое чем художественное произведение было наиболее антиправительственным из всего, что когда-либо написал Абрамович, сравнивший весь простой еврейский народ с клячей, загнанной, измученной, но все еще вынужденной тащить свой непосильный груз.

Дальнейшие пять лет имя Менделе Мойхер-Сфорим почти не появляется в печати. Тяжелое материальное положение, в котором он очутился в Житомире, необходимость много и тяжело работать (писательский труд приносил ему славу, но не материальное обеспечение) не давали ему возможности заниматься литературной деятельностью. Лишь в 1878 году появилась блестящая сатирическая повесть «Путешествие Вениамина Третьего» — одно из лучших и наиболее популярных его произведений.

«Путешествие Вениамина Третьего» в свое время переводилось на польский, русский и некоторые другие языки под названием «Еврейский Дон-Кихот». Действительно, в главных героях повести есть многое, напоминающее знаменитого испанского идальго и его верного оруженосца, но не в меньшей степени она перекликается с «Историей города Глупова». И в красочных сатирических описаниях Глупска и Тунеядовки, куда в поисках «земли обетованной» и «красноликих израильтян» забредают Вениамин и Сендерл-баба, и в искусно вкрапленных в текст выдержках из «Записок» самого Вениамина, не говоря уже о названии городов (Глупск, Тунеядовка), проглядывает нечто щедринское. И если Салтыков-Щедрин искусно пародирует язык древнерусских летописей, то Абрамович столь же удачно использует для этой же цели произведения средневековых еврейских путешественников.

Так же как и «Маленький человечек», «Путешествие Вениа-

мина Третьего» — сатира-памфлет; но если в «Маленьком человечке» местами преобладает мрачный, даже зловещий колорит, если отдельные леденящие душу сцены этой повести (как, например, разговор Ицхок-Аврома с Голдой, когда он объявляет ей о разводе) словно вышли из-под пера Э.-Т.-А. Гофмана или Эдгара По, то в «Вениамине», наоборот, преобладают более жизнерадостные тона,— ни в одном другом произведении Абрамовича его обычная «печальная нотка» не звучит так слабо, хотя, впрочем, она и здесь полностью не умолкает. Язык повести (по сравнению с языком «Человечка») более отточен, отшлифован. Описания даны сжато и конкретно, образы персонажей такие же яркие и сочные. Бесподобны, например, «запечные политики» Тунеядовки, которые смахивают на «политиков» Черноморска в «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова, весьма возможным прообразом которых они и послужили.

Изумительно богатство и разнообразие литературных приемов Менделе. В «Путешествии Вениамина Третьего» мы находим и комизм положения (к примеру, возникновение целого ряда забавных ситуаций вокруг навязчивой идеи Вениамина), и юмор характеров (Сендерл-баба), и комическое несоответствие формы выражения существу изображаемого («Записки» Вениамина).

Комическое здесь служит высоким социальным целям. Смех Менделе — это прежде всего гневный, обличительный смех сатирика. Вот, например, описание Вениамином жителей городка Глупска:

«Люди делятся здесь на касты так же, как некогда в Индии. Например, каста хапунов — самая главная, простирающая свою властную руку над всеми. Затем каста укрывателей, заступников, которые действуют заодно с хапунами, всячески отстаивая их интересы, за что получают от них определенное жалование и даровое мясо. Каста наводчиков, которые направляют других на скользкий путь, а сами изворачиваются и выходят сухими из воды. Эти делятся на банкротов — людей светских, знающих толк

в торговле, и ханжистов — особ духовного звания, сведущих в вопросах религии. Наконец, имеется еще каста глупо-трусо-безъязыко-нищих. Это просто бедняки, смиренно подчиняющиеся всем остальным кастам и вечно за них отдувающиеся. На этих все шишки и валятся».

В повести «Путешествие Вениамина Третьего» Абрамович уже явно отступает от своих прежних просветительских концепций. Показать жизнь такой, какая она есть, со всеми ее социальными несправедливостями, вскрыть гнойники и язвы еврейского общества становится теперь главной задачей писателя. Высмеивает он и палестинофильские мечтания обывателей местечек.

Не выдержав борьбы с постоянной нуждой, писатель в 1881 году соглашается принять предложенный ему пост заведующего одесской талмудторой (содержавшейся на общественные средства школой для детей бедноты) и переезжает в Одессу, где и остается до конца жизни.

Последующие годы писатель много и упорно продолжает работать над романом «Фишка Хромой», первый вариант которого появился еще в 1859 году. Этот роман — как бы дань прошлому Абрамовича — снова заставляет его перенестись более чем на тридцать лет назад, в то время, когда он с Авраамом Хромым бродил по России и встречал на дороге маленький возок Сендерла-книгоноши, чуть было не ставшего его тезкой.

Сатирик по призванию, он и здесь с возросшим мастерством зрелого художника раскрывает перед читателем наиболее уродливые стороны жизни еврейских местечек, с горечью высмеивает положение еврейских писателей, которых даже нищий Фишка легко перещеголял в части заработка, с глубокой болью говорит о самодурстве царских чиновников, тяжело и незаслуженно оскорбляющих национальное достоинство евреев.

Вместе с тем роман «Фишка Хромой» проникнут глубоким лиризмом. В основе сюжета лежит трогательная любовь Фишки к несчастной горбунье, невольной жертве столь часто практико-

вавшихся в еврейских семьях разводов, и их скитания вместе с шайкой нищих.

Образ Фишки, отверженного калеки, которого никто и никогда не принимал всерьез, чьей судьбой распоряжались, как мячиком, и который все же оказывается способным на настоящее большое и чистое чувство и проходит ради него через неслыханные страдания, принес своему создателю славу значительно большую, чем все его прежние произведения.

Еврейские массы прямо-таки зачитывались «Фишкой», чему во многом способствовала впервые так глубоко затронутая писателем проблема любви, брака и взаимоотношений в семье, столь редкая в еврейской литературе того времени.

Еще в романе «Маленький человечек» Абрамович использовал композиционный прием чередования авторской речи с рассказом персонажа. По тому же принципу построен и роман «Фишка Хромой». Полный глубокого драматизма рассказ Фишки то и дело прерывается едкими сатирическими высказываниями и обобщениями самого Менделе. Использованы в повести те же юмористические приемы, что и в «Путешествии Вениамина Третьего: юмор положений (например, как Алтер чуть было не сосватал двух юношей) и юмор характеров (Хае-Трайна и ее муж), хотя элементов комического в «Фишке Хромом» значительно меньше, чем в «Вениамине».

Ровно через год после выхода в свет «Фишки Хромого», в 1889 году, в «Народной библиотеке», издаваемой Шолом-Алейхемом, был напечатан роман Абрамовича «Заветное кольцо» — о трагической истории несчастной любви дочери богача к простому ремесленнику.

Волна инспирированных царизмом кровавых погромов, прокатившаяся в восьмидесятых годах на юге России, тяжело отразилась на творчестве писателя. Это было время, когда, по выражению А. Блока, «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Две небольшие повести Абрамовича — «В дни смятения»

и «Чердачное заседание», написанные им в этот период, не имели успеха.

В эти же годы в еврейской буржуазной среде возникает реакционное буржуазно-националистическое движение сионистов. Кое-кто пытался втянуть в него и Абрамовича, но писатель остался чужд каким бы то ни было палестинофильским течениям. «Народу нужен хлеб, а не Палестина!» — коротко заявил он в одном из своих писем.

Новая волна погромов, прокатившаяся по стране в девятисотых годах, заставляет Абрамовича выехать в Женеву, но уже к 1910 году, когда еврейская общественность готовилась отпраздновать его семидесятипятилетний юбилей, он возвращается в Россию и в следующем году выпускает автобиографическую повесть «Шлойме, сын Хаима», которой как бы подытоживает свою жизнь и свою деятельность. Повесть проникнута все той же горячей и еще более осознанной любовью к трудовому народу. «Можно с полным основанием заявить, что только в сердцах ремесленников теплится искра поэзии, живет восприимчивая душа, и именно этим можно объяснить их товарищеское обхождение с детьми, их любовь к писателям и поэтам»,— говорит автор в этой повести.

Больше Абрамович уже ничего не пишет, кроме отдельных небольших статей и заметок. Он по-прежнему живет в Одессе и здесь же умирает 6 декабря 1917 года, не дожив всего двух недель до своего восемьдесят первого дня рождения.

Большую и трудную жизнь прожил Шолом Абрамович. Его детство прошло в мрачные годы николаевской реакции, он видел крушение дворянско-крепостнической России, расцвет и конечную гибель отечественного капитализма, дожил до победы Великой Октябрьской социалистической революции, раскрепостившей все народы бывшей царской России.

Один из ярких представителей критического реализма в еврейской литературе, Менделе своими произведениями раскрывал глаза еврейским массам на ужасы и несправедливости социального строя царской России, на подлинную сущность самого алчного и самого хищного класса — буржуазии.

В настоящее издание, посвященное стодвадцатипятилетию со дня рождения Абрамовича, вошли новые переводы его лучших и художественно наиболее значительных произведений: «Маленький человечек», «Путешествие Вениамина Третьего» и «Фишка Хромой» — и нет никакого сомнения, что они понравятся читателю, который поймет и оценит «дедушку еврейской литературы», вместе с ним будет порой искренне смеяться, а иногда и столь же искренне грустить и в конце концов полюбит большое человеческое сердце того, кто называл себя Менделе Мойхер-Сфорим.

Ю. Светланов



ПОВЕСТЬ



1

Соблаговолите же, почтеннейшие, представить себе, как я, Менделе Мойхер-Сфорим, собственной персоной, глубоко задумавшись, стою осенней порой со своей тележкой где-то на дороге и не трогаюсь с места. Вам, быть может, заблагорассудится решить, что моя тележка увязла в грязи и я размышляю о том, как ее вытащить? Нет! Это было-таки в нынешнем пять тысяч шестьсот пятнадцатом году от сотворения мира [1], году, который благодаря своей на диво сухой восхитительной осени достоин быть занесенным в хроники.

На дворе еще стояло настоящее лето — было тепло, ясно. Скотина паслась на лугах, густо покрытых

[1] По современному летосчислению: 1855 год.

молодой свежепробившейся зеленью. Деревья стояли в своей изжелта-зеленой одежде, правда, местами поблекшей, изъеденной, растрепавшейся по краям, но у них еще и в мыслях не было раздеться догола, чтобы предаться, как обычно, зимнему глубокому сну. Всюду в воздухе носились длинные белые нити паутины — примета предстоящей хорошей, благодатной погоды, хотя календарь предусматривал грустные пасмурные дни и холодные дожди. Он, не в обиду ему будь сказано, не угадал, наврал, как водится, весьма основательно... Но не в этом суть.

А может быть, вам еще вздумается предположить, что я стоял со своей тележкой, потому что не знал дороги? Еще раз нет! Я очень хорошо знал, что там, где дорога раздваивается, она направо ведет в Глупск, а налево — в какой-то другой городишко, скажем, Кабцанск. Почему же я стоял? Проще простого — я никак не мог решить, в какую сторону мне податься. У меня были основания ехать в Глупск,— обменять там кой-какие товары и сбыть малую толику вощаных фитилей и ханукальных свеч[1]. Опять же у меня были причины съездить на ярмарку в тот, другой городишко,— вот я и стоял в затруднении посреди дороги — ни туда ни сюда. Размышляя, загляделся я на свою лошадку, которая спокойно почесывала шею об оглоблю и была, видимо, очень довольна задержкой. Я смотрел на нее таким взглядом, точно желал, чтобы она подала мне какой-нибудь совет. И тут же у меня возникла мысль передать решение всего этого дела ей,

[1] Ханукальные свечи зажигаются во время еврейского религиозного праздника — ханукo.

моей лошадке,— как она захочет, так пусть и будет. Не смейтесь, не смейтесь, почтеннейшие! Когда вдруг наваливаются сомнения и неизвестно, что предпринять, даже умные люди прибегают к самым странным средствам. Объясните мне, прошу вас, почему при подобных затруднениях хлопают себя по лбу и разглядывают складки на ладони? Какие тайны скрыты в других подобных же способах испытать судьбу, в различных приметах? В таких случаях дураку везет: у него спрашивают и поступают по его совету. На свете очень часто бывает, что умные доверяются глупцам и предоставляют им руководить собой. Я знаю много таких дураков, которые играют значительную роль у крупных дельцов, у порядочных людей... Но не в этом суть.

Хлестнул я лошаденку, отпустил вожжи и дал ей волю везти меня, куда хочет. Лошадка повернула вправо, на дорогу в Глупск. «Что ж,— подумал я, махнув рукой,— веди, веди меня! Быть может, ты и права. Раз тебе нравится Глупск — пусть будет Глупск!»

Назавтра после утренней молитвы я прибыл в Глупск и, по своему обыкновению, подъехал прямо к синагоге. Не успел я оглянуться, а ко мне уже ринулась толпа евреев — пожилых, средних лет, молодых. Меня приветствовали, заглядывали в тележку, щупали товар, засыпали вопросами, как водится у евреев. Сорванцы-мальчишки из талмудторы [1] весьма дружелюбно встретили свою старую знакомую, мою лошаденку, шумно и весело здоровались с ней и уже готовы были рвать из ее хвоста волосы на струны.

---

[1] Талмудтора — начальная еврейская религиозная школа, которая содержится на средства общины.

На синогональном дворе я увидел — люди стоят, сбившись в кучки, о чем-то препираются, рассуждают, отпускают язвительные словечки, охают и покачивают головами. Потом несколько групп слилось в одну большую толпу людей, которые суматошно галдели, махали руками, и тут же их тесный круг лопнул как мыльный пузырь и снова распался на мелкие группки. По-видимому, подумал я, что-то случилось,— нет дыма без огня. Меня разобрало сильнейшее любопытство, захотелось узнать, что тут такое творится,— ведь я же еврей, у меня тоже, как говорится, живая душа и ей тоже хочется ко всему прислушаться, принюхаться, как всякой еврейской душе. Ведь это частенько приносит пользу. Немало водится евреев, которые тем и живут, что суют всюду свой нос, всюду принюхиваются и там, где двое, влезают третьим, требуя свою долю, или комиссионные, как они это называют. Компанейство — дело еврейское... Но не в этом суть.

Когда я прислушался к разговорам вновь сбившейся неподалеку от меня кучки людей, до моих ушей дошло следующее:

— У-ва! У-ва! Благословен судья праведный! Еще почти совсем молодой человек, думается, около сорока, а быть может, что-то поближе к пятидесяти, а? У-ва! Жаль,— такой человек, такой человек!

— Что это вы так огорчаетесь, реб Авромце? Никак не можете, бедняжка, утешиться? По мне — туда ему и дорога! Не такая уж важная персона! Не так ли? Истинно так!

— У тебя, Иосл, никто не персона! Пожалуй, прав все же реб Авромце. У-ва! Такой богатый человек! Жаль, честное слово!

— И нашелся же жалостливый — Лейбце, сын Те-

мы! А что их высочество говорили раньше? Что вы там говорили?

— Я говорил?! Где говорил, что говорил, скажите-ка, Иосл, а? Пожалуйста!

— С величайшим удовольствием! Реб Лейбце сам своими святыми губами произнес: «Тоже личность, с позволения сказать — богач Ицик-Авремл! Он был,— да простит он мне, а то пусть и не простит,— грубиян, обманщик, зверь, да к тому еще малость придурковат».

— Иосл! Я это говорил? Тогда мне с вами не о чем разговаривать... До свиданья!

— До свиданья, до свиданья! Пойдемте, реб Авромце, в синагогу, выпьем там у служки по чарочке водки.

— Видишь ли, Иоселе, глоток водки теперь, быть может, и в самом деле был бы кстати, а? Ты, право, очень умно поступил, Иоселе, что хорошенько отчитал этого враля. Не будем себя обманывать,— в самом деле, что собой представлял этот Ицик-Авром? Он был, мир праху его, невежда, плут, обдирала.

— Вот за это, реб Авромце, я вас таки люблю... За то самое, видите ли, что вы всегда любите говорить правду...

— Богатство несметное!.. Деньгам своим счету не знал, мир праху его,— надрываются поодаль евреи, вновь собравшись толпой.

— Во сколько вы его, к примеру, оцениваете?

— В верных полтораста тысяч, думаю.

— Мало... Не ошибетесь, можете добавить еще, еще...

— Так и быть, раз вам так хочется...

— Боюсь — все триста тысяч...

— Вы глупец!.. Все пятьсот тысяч!

— Я глупец, а вы нищий!

— Пощечины захотел?

— А ты две получишь!

Начинается перепалка, потасовка, и люди разбегаются.

— Нет, нет! — орет кто-то во всю глотку в самой середине другой кучки людей,— он ей не пара! Шутите, с такой богатой вдовой? У меня есть для нее другая партия, с божьей помощью сладится. Ей осталось немалое состояние, закрепленное брачным контрактом: вот мой жених, бог даст, и возьмет ее, вцепится в нее обеими руками.

— И я с вами в компании, Иокл-Грунем! — раздается визгливый голосок,— мне это же пришло в голову! Имею долю в деле. Евреи, будьте свидетелями!

— Провались ты ко всем чертям! — слышится чей-то голос, и кружок людей разлетается, лопнув как мыльный пузырь.

Я выпряг лошадку, поставил ее между оглоблями мордой к тележке, чтобы покормить немного сечкой, а затем принялся за дело — распаковал содержимое тележки. Но едва я навел кой-какой порядок, вывесил с обеих сторон по связке амулетов, шерстяные ермолки, несколько связок цицес [1], нащупал и вытащил вощаной фитиль, талескотон и тому подобное, как вдруг ко мне, запыхавшись, прибежал служка из судилища и выпалил единым духом:

---

[1] Цицесы — кисти из шерстяных ниток, прикрепленные к краям арбаканфеса (талескотона) — четырехугольного куска материи, надеваемого религиозными евреями под верхнюю одежду.

— Ой, ради бога, реб Менделе! Шолом-алейхем, реб Менделе! Наш раввин, дай ему бог здоровья, очень просит вас оказать ему честь,— потрудитесь сейчас же прийти к нему. Скорее, скорее же, реб Менделе!

2

В том, что раввин узнал о моем прибытии так скоро, ничего удивительного для меня не было. Ведь Глупск, как известно, еврейский город, а евреи всегда обо всем быстро дознаются. Попробуй человек невзначай проронить какое-нибудь слово, тотчас же об этом узнают на десятой улице: оно разносится из уст в уста куда быстрее, чем по телеграфу. Удивлялся я только одному — зачем понадобился я раввину? Почему он так спешно послал за мной своего служку? И тут же мне пришло на ум: по-видимому, какое-то разбирательство... И не иначе, заковыристое... У меня екнуло сердце! И в самом деле, где вы найдете еврея, в делах которого не нашлось бы такой заковыки, чего-нибудь такого, за что к нему, бедняжке, нельзя было бы придраться?.. Но не в этом суть.

Я перебрал в уме все свои дела, и у меня мелькнуло: мой сват! Уж не подстерегает ли меня сват и не хочет ли принудить отдать роспись приданому под опеку доверенному лицу, чтобы раз и навсегда кончить с этим делом и больше к нему не возвращаться. Мой сват — наивный человечишко! — полагает, будто нужно точно придерживаться того, что записано в брачном контракте, будто все, к чему он обязывает, и впрямь должно быть выполнено. Не понимает он, глупец, что это только проформа, разговор, ведущийся

просто так, благородства ради. Надо сделать красивый жест, блеснуть перед людьми щедростью, чтобы дело имело благопристойный вид, как это было в обычае наших отцов и дедов... Но не в этом суть. А быть может, подумал я, это, не дай бог, тот продавец книг! Тот самый продавец книг, с которым мы прошлым летом обменялись лежалым товаром: я ему отдал хагады, изложение правил к пятидесятнице[1], амулеты, новые современные сказки, то, се, всякую дребедень, а он мне в обмен — книги причитаний, молитвы искупления, медные подсвечники, молитвенники на круглый год и другие подобные книги. Удивляться нечему, очень может быть, что он одумался, нашел, что продешевил, и теперь хочет доказать, что ошибся в расчетах, и надеется что-нибудь содрать с меня! Не приведи господи иметь дело с местными продавцами книг. Печенка может лопнуть от их жалоб и претензий!.. Но не в этом суть. Короче, у меня невесело стало на душе. Я — туда-сюда, но идти приходится.

Догадался я прихватить с собой пару вощаных фитилей, новехонький молитвенник для женщин, еще кой-какую мелочь,— быть может, понадобится раввинше, а мне это окажется на пользу... Но не в этом суть.

На мою лошадку я вроде досадовал, сердился, что ее понесло в Глупск; не подсыпал ей за это сечки, бросил в морду несколько бранных слов и, предоставив ее вместе с тележкой попечению служки, ушел злой,— пусть глупские озорники сколько их душе угодно обрывают ее хвост на струны. Так ей и надо: сама того хотела. Раз ей мил Глупск — не моя забота, пусть будет Глупск.

---

[1] Пятидесятница — еврейский религиозный праздник.

Едва открыл я дверь и ступил ногой через порог дома, как навстречу мне бросился раввин с криком:

— Ой, реб Менделе! Ой, мир вам, здравствуйте, реб Менделе! Сам господь бог прислал вас сюда, когда вы нам как раз нужны, очень и очень нужны, милейший реб Менделе! Это божий промысел, явное чудо, реб Менделе! Вы поступили как нельзя более умно, что именно сегодня прибыли сюда, реб Менделе!

«Не я, Менделе, поступил как нельзя более умно, а моя лошадка»,— усмехнулся я про себя и в душе помирился со своей бедной скотинкой. Ни на какой суд, как видно, меня сюда не вызывали. Тогда — зачем же? Этого я никак не мог понять. Другой нисколько бы не усомнился, что здесь заждались его тележки с товаром; но я не грудной младенец, не птенец, только что вылупившийся из яйца, чтобы уверовать в подобное.

Надо вам знать правило: свет стоит на обмане. Тот, кому нужна какая-нибудь вещь, прикидывается безразличным, словно вещь эта ему вовсе ни к чему, чтобы потом купить ее за полцены. Тот, кому, к примеру, нужен молитвенник, для виду торгует книгу плачей, связку цицес и лишь мимоходом, как бы случайно, берет в руки этот молитвенник, будто без интереса перелистывает и возвращает на место с ужимкой и с улыбочкой: вот если за мелочишку, он, быть может, и купил бы молитвенник. Весь мир — это торжище: все ищут случая урвать что-нибудь друг у друга по дешевке; каждый от души желает ближнему потерять, чтобы самому найти; каждый норовит урвать прежде всего себе, и только после того, как бог помог ему дорваться до удачи и создать свое счастье, только

тогда, когда у него всего уже по горло, он думает... опять-таки только о себе... Но не в этом суть.

По лицу раввина я сразу же догадался, что он ничего не собирается купить, иначе он не показал бы и виду, что с таким нетерпением ждет меня. Правда, раввин в высшей степени честный, высоконравственный человек, честное слово! Но на свете ведь не обойтись без обмана. Даже ангелы, посетившие праотца Авраама, были вынуждены вести себя по земным обычаям: как сказано, «и они ели» [1], то есть были вынуждены сделать вид, что едят... Но не в этом суть.

Раввин, пошли ему бог долгой жизни, попросил меня к себе, в свой отдельный покой, и движением руки пригласил сесть. И должно же было оказаться, как это зачастую бывает в доме раввина, что у стула сломана ножка. К тому же я был сильно взволнован и, разумеется, едва в спешке уселся, я тотчас упал. Все тем не менее обошлось благополучно: раввин сделал вид, что ничего не заметил, а я — что ничего не произошло.

Во второй раз я уже усаживался осторожно, не торопясь, оберегая свои кости. Раввин, пошли ему бог долгой жизни, гладил бороду, молча потирал обеими руками лоб, будто напряженно обдумывал что-то. Я никак не мог понять и все больше удивлялся: что же это, в самом деле, означает? Но тут же образумил себя: не будь так любопытен, станешь старше еще на одну минуту и все узнаешь. Так и было: раввин вынул из бокового кармана довольно большой сверток бумаг

---

[1] Праотец Авраам — библейский мифический персонаж. Согласно легенде, ангелы, посетившие Авраама, чтобы не выдать своего небесного происхождения, вынуждены были сделать вид, что едят.

и, пожав плечами, с самым серьезным видом сказал мне следующее:

— Реб Менделе! Эти бумаги передал мне перед смертью Ицхок-Авром, мир праху его, с просьбой, чтобы я тотчас же, как только он отдаст богу душу, прочитал их перед всеми нашими богачами и выполнил неуклонно, до последней мелочи, все, что в них написано. Выполнение завещания покойного, как вы знаете, богоугодное дело, поэтому я немедля же после его кончины, то есть сегодня же, созвал к себе всех богачей, заправи́л нашей общины, и прочитал им часть этих бумаг, остальные мы отложили на завтра. Чего же я хочу от вас? От вас, реб Менделе, хочу вот чего: окажите такую честь и потрудитесь прийти ко мне, если будем живы, завтра утром, чтобы присутствовать при чтении бумаг. Зачем? Это вы узнаете, даст бог, после прочтения. Вероятно, так нужно. Завтра вы уже будете знать, что я потревожил вас ради великого дела. А теперь, чтобы вы могли ознакомиться с этим делом от начала до конца, даю вам прочесть — возьмите их с собой — те несколько листков, которые я сегодня уже прочитал нашим богачам.

Вернувшись к синагоге, я увидел — моя бедная голодная лошадка стоит навострив уши и поглядывает в тележку. «Ну, умница моя, говорю, по-приятельски ухватив ее за холку, пошли, говорю, жевать сечку! Пока еще, умница моя, тебе придется довольствоваться сечкой. Завтра, если твоя мудрость, с божьей помощью, подтвердится и я увижу, каков будет итог, увижу в своих руках какой-нибудь грош,— вот тогда-то ты и получишь у меня полную мерку овса! Ставлю в свидетели всю скотину, которая ночует здесь на синагогальном дворе.

3

На одном из листков, переданных мне раввином, я увидел надпись крупными буквами:

«ИСПОВЕДЬ ИЦХОК-АВРОМА»

Затем шло изложение какой-то истории.

«Я родился,— рассказывал Ицхок-Авром,— в городишке Безлюдове у бедных родителей. Отца я не помню,— он умер, когда я был еще в пеленках. После смерти он оставил миру в наследство хилую жену, немалую ораву детишек и меня в придачу. И все. Живы в памяти события моей жизни, начиная с той поры, когда мне было лет пять-шесть. Насколько помню, меня в юности большим умницей не считали. Когда я, бывало, что-нибудь говорил или делал, все кругом дружно смеялись. Баловать меня не баловали — не целовали, не ласкали, не обнимали, как других детей, и когда я, случалось, плакал, меня унимали, ублажали не лакомствами, не конфетками и игрушками, а оплеухами и тумаками. Я никогда не слышал слова жалости. Я никогда не слышал, к примеру, чтобы кто-нибудь сказал: жаль его, он, бедняжка, ничего не ел; жаль его, личико у него, у бедняжки, отекло; жаль его, бедняжку: заброшенный, он не знает отдыха и горе мыкает; жаль его, бедняжка гол и бос, терпит холод; жаль его, бедняжку: он весь дрожит, до чего худ — кожа да кости. Наоборот, я только и слышал: полюбуйтесь-ка на эту милую физиономию, на эту вздутую рожу, на эти красные, как бураки, ноги; полюбуйтесь-ка на этого обжору, как он истекает слюной; посмотрите-ка на это милое созданьице: он уже

выкидывает свои штучки — кривляется, дрожит, лязкает зубами... Лишнее существо на свете — ребенок бедняка, каждому мозолит он глаза; втихомолку ему, бедняге, желают умереть во чреве матери, при рождении его встречают как наказание господне; едва он успел разглядеть белый свет, как у него, бедняги, уже полно смертельных врагов, а начав жизнь, он растет как попало, не вызывая жалости к себе даже у своих родителей, разве только когда он заболевает. Лишь тут пробуждается человечность в их сердце, окаменевшем от бед, страданий и горькой нищеты; лишь тут пробуждаются в них чистые родительские чувства: они видят, сколько эта нежная, чистая душа невинно терпела муки, не знала хорошей, светлой минуты,— перед ними встает вся несчастная жизнь их бедного ребенка, рисуется мрачными красками, и сердце кричит, обливается кровавыми слезами. А когда пробуждается окаменевшее сердце,— это я сам в последнее время почувствовал,— оно точно вскрывшаяся река: движутся льдины, воды несутся, кипят, шумят со страшной силой! Именно поэтому бедные люди очень часто оплакивают свое дитя гораздо горестней и трогательней, чем богатые...

Рос я, как шалый конь в степи,— огрубевший, одичалый, имел склонность к дурному озорству, скверным шалостям. У меня была привычка глядеть говорящему в рот, заглядывать ему в глаза. Мать не раз колотила меня за это, била смертным боем. Однажды, когда я был болен и мать ко мне подобрела, я всмотрелся в ее глаза и, видя, что она на этот раз почему-то не бранится, осмелел и спросил: «Скажи мне, мама, что это за человечек у тебя в глазах?» Мать улыбнулась и ответила: «Глупенький, человечек этот —

душа! Человечка нет ни в глазах зверей, ни в глазах скотины, он — только в человеческих глазах».

Этот ответ матери крепко засел в моем мозгу и пробудил множество новых трепетных мыслей. Раз мать говорит, она наверное знает, что говорит, она ведь — мать! Она — большая, пожалуй, в десять раз больше меня, один ее палец толще всей моей руки. Поэтому я сразу воспринял ее слова как нечто общеизвестное, неоспоримое и поверил в это всем сердцем.

С тех пор мое воображение было сильно занято человечком. Ведь это же любопытная, чудесная штука! Даже засыпая, не забывал я о нем. Человечек являлся мне во сне — я держал его в руках, играл с ним, с человечком, а вот я и сам — человечек, скачу в чьих-то глазах подобно человечку! Словом, человечек не выходил у меня из головы. Мне почему-то так хотелось быть человечком! Шутка ли, ведь человечек — душа! И всего-то с блоху; казалось бы, пустяк, а вместе с тем — живой дух, сама жизнь!.. Меня захватила мысль, как бы добраться до этого человечка? И я стал упорно думать об этом.

Однажды меня осенила необычайная догадка. Когда мать, нагнув голову, вытаскивала горшок из печи, я вдруг подбежал к ней сзади, как безумный,— сам не знаю, что со мной тогда стряслось,— и ударил ее изо всех сил кулаком по затылку, в надежде, что человечек хоть на мгновенье выпрыгнет у нее из глаз. Можете себе представить, сколько досталось мне пощечин и щипков, не говоря уже о том, что я весь тот день ничего не ел: горшок кулеша мать разбила лбом.

В другой раз меня постигла еще большая неудача. Мне пришла на ум кощунственная мысль — не до-

вольствоваться слепой верой в слова матери, самому проверить: не увижу ли в глазах животных человечка, то есть душу. Подошел я на улице к корове и заглянул ей в глаза, она же боднула меня рогами,— на моей левой щеке остался знак и по сей день. Но все эти удары не выбили, а, наоборот, еще больше вбили мне в голову мысль о человечке.

Учился я в талмудторе. Что такое талмудтора, вы сами прекрасно знаете, и не к чему описывать ее. Это — темница, куда загоняют бедных еврейских детей, отрывая их от жизни, засоряя их мозги всяким вздором. Это — место, где фабрикуют никчемных людей: бездельников, жалких, загнанных, несчастных; это мрачная яма, дыра; обычная в наших городишках запущенная развалина на курьих ножках. Стыд и срам, что она носит такое высокое, святое название — талмудтора. Мне кажется, я не был тупым мальчиком. Примерно к восьми годам я уже учил пятикнижие с толкованиями и комментариями Раши[1], хотя глубокого понимания не обнаруживал. По-видимому, можно много учиться и вместе с тем оставаться большим глупцом,— одно другому не мешает.

Мать называла меня неудачником и была поистине права. В талмудторе я был неудачливей всех детей. Ребе[2], который отнюдь не заслуживал так называться, питал большое пристрастие к порке, пожалуй еще большее, чем к хмельному. Ему просто доставляло наслаждение ни за что ни про что мучить несчастных, заброшенных детей, на долю которых и без того

---

[1] Раши — средневековый комментатор библии.

[2] Ребе — учитель хедера, то есть начальной религиозной школы.

выпало достаточно лишений, так что неизвестно было, чем только душа держалась в худом, изможденном тельце. Он осыпал ударами хилые косточки, щипал, истязал худую кожицу, и наибольшая доля тумаков доставалась мне, неудачнику. Кончилось тем, что он взъелся на меня после какого-то случая и избил нещадно. Я едва живым выбрался из его рук и был вынужден прекратить посещение талмудторы. Дело было так.

Ребе проходил со мной отдел пятикнижия [1] «В начале». Стих «И рек Ламех женам своим...» изложил он таким образом: Ламех был слепым, и Тувалкаин водил его. Когда однажды вдали появился дед Каин, Тувалкаину показалось, что это зверь (ребе сказал «лиса», чтобы нам легче было уразуметь), и велел он слепому Ламеху прицелиться. Тот прицелился и убил Каина. Когда Ламех узнал, что убил деда, он стал бить одной рукой о другую и нечаянно зашиб своего сына Тувалкаина насмерть. За это от него отделились его жены. И стал он умиротворять их: «И рек Ламех женам своим: Ада и Цилла! Внемлите голосу моему, жены Ламеховы!..»

И случилось, что пришел однажды в талмудтору какой-то человек, бритый, точно немец, кажется из Петербурга. С ним явились все заправилы города проэкзаменовать детей. К несчастью, его выбор пал как раз на меня — он велел перевести это самое место в пятикнижии: «И рек Ламех женам своим!..»

А мне разве доводилось говорить когда-нибудь с таким господином, да еще с бритым? Я дрожал

---

[1] Отдел пятикнижия — часть библии. Согласно предписаниям еврейской религии, еженедельно по субботам читается определенный, имеющий свое название отдел пятикнижия.

как осиновый лист. У меня шумело в ушах, сильно билось сердце, волосы вставали дыбом, а в глазах то темнело, то плыли светлые круги, точно так, как бывает, когда смотришь на солнце. Я чувствовал, что не в состоянии рассказать эту длинную историю с Ламехом, а тут пристали с ножом к горлу и — в один голос: говори, говори! Что делать? Надо говорить! Когда я заговорил, у меня перехватило дыхание, и, вконец растерявшись, я изложил эту историю в таком, с позволения сказать, переводе: «И рек — лиса... Ламех — слепой... женам своим,— жены от него ушли... Тувалкаин его вел... Ада, Ада и Цилла — и он его убил...» Гость стоял точно ошпаренный кипятком; казалось, он вот-вот лопнет от злости. Подозвав нашего ребе, он сказал сердито: «Что я тут слышу? Как вы изволите обучать своих учеников?! Позор, посмешище! Пусть вам будет стыдно, господин ребе...» Наш ребе чесался, ковырял в носу и еле слышно мямлил: «Дорогой мой господин, ребенок испугался, этот ребенок — хороший мальчик, честное слово!» «Ну,— обратился гость ко мне,— не пугайся, дитя мое, ничего тебе не будет. Скажи мне, что означает «и рек»? Но я уже не знал, что со мной творится. Я стоял вытаращив глаза, как глиняный идол, и выпалил гостю прямо в лицо: «Лиса!.. то есть и рек... он просился к женам...» Мой ребе стоял как на раскаленных угольях, бедняга готов был от стыда провалиться сквозь землю. И досталось же ему, досталось сколько влезло, он надолго запомнил этот злосчастный день. Свою горечь он излил потом на меня. С той поры он всегда ко мне придирался, колотил, избивал до полусмерти. Невмоготу стало выносить все это. Я заболел и перестал посещать талмудтору.

4

Мать моя жила в великой нужде, иной раз просто на хлеб насущный не хватало. Она вязала чулки, щипала перо, иногда ухаживала за роженицами, под пасху раскатывала мацу, работала, бедняжка, днем и ночью, а от всех ее трудов только на то и хватало, чтобы нам не умереть с голоду. Женские работы не оцениваются на свете по достоинству и очень плохо оплачиваются. Да и что такое женщина вообще? Какое, по правде говоря, значение имеет женщина, если даже она из очень расторопных? От женщины, так уж принято считать в народе, ничего хорошего ждать не приходится: во всех их занятиях нет ничего путного. Что-либо воистину стоящее, такое, что было бы и хорошо и полезно, не под силу женскому уму... Жизнь подвела горестный итог отцовскому наследию: две девочки и мальчик умерли, можно сказать, с голоду, один взрослый парень поплелся куда-то из дому и пропал, по сей день неизвестно, где сгинули его косточки. С матерью осталась хилая, болезненная девушка, в чем только душа держалась, да я, непутевый, камнем висевший на ее шее. Аппетит у меня был, не сглазить бы, грех жаловаться; тех жалких крох еды, что я получал, едва хватало, чтобы заморить червячка. Я все просил: кушать, кушать! Хоть что-нибудь, только бы поесть! Бедная мать страдала и не знала, чем мне помочь. Люди советовали учить меня ремеслу, но она, гордо подняв голову, говорила в сердцах:

— Лучше ему погибнуть, чем идти в мастеровые,— опозорить меня и покойного отца, мир праху его!.. Он, отец его, лишится покоя в могиле,— с какой

стати сын меламеда[1] Тевла будет ремесленником, станет водиться со всякими мастеровыми! И слушать больно! Вовек бы врагам моим, боже милостивый, до этакого не дожить!

В конце концов бог помог матери, и она отдала меня в галантерейную лавку. Она была счастливейшим человеком: считала, что сын ее — уже купец.

Но сын ее стал просто-напросто собакой! Сейчас я вам это растолкую.

Моя должность требовала, чтобы я с громким криком хватал каждого прохожего и тащил в лавку. Едва показывался кто-нибудь на улице, меня, как собаку, натравливали на него, я выбегал и кричал не переставая: «Сюда, пане! Тканые платки, льняное полотно, подтяжки, ножики, американские галоши, бамбуковые трости, миндальное мыло, помада!» И тому подобное. Вначале мне все это было как-то не по нутру,— разве можно вдруг выскочить с криком на улицу, преградить прохожему дорогу? Ведь это же невероятно дико! Я немного плутовал, сокращал мой «номер», чем вызывал гнев хозяина и хозяйки, которые обрушивались на меня с бранью, смешивали с грязью, попрекали, что даром ем их хлеб, хоть я, бедняга, трудился через силу, выполнял любые работы и в лавке и дома. К тому же я еще прислуживал старшим приказчикам, беспрекословно повиновался им, был готов броситься в огонь и в воду, выполняя их поручения, гнулся перед ними в три дуги и бывал доволен, когда они не причиняли мне зла, когда мне удавалось невредимым выскользнуть из их рук. Ну, а что говорить, если приказчик из соседней лавки отбивал у

---

[1] Меламед — то же, что и ребе.

меня покупателя! Тут-то и доставалось мне,— хоть с жизнью прощайся. Все в нашей лавке набрасывались на меня — кто языком, а кто пятерней,— всыпали сколько влезет. Моей матери и отцу, меламеду реб Тевлу, мир праху его, тогда тоже основательно доставалось, их, упаси бог, не забывали. Поминали и мать, и отца, и всех предков вплоть до праотца Авраама! О еде в такой злополучный день уже и речи не могло быть: у меня и крошки во рту не бывало. Мне, правда, дозволялось грызть камни, давиться хворобой, но так как камни и хвороба — для человеческого желудка неудобоваримые яства, я в этот день просто голодал. И такие дни выпадали на мою долю несколько раз в неделю. Увидев, что дело мое плохо, я принялся за свою работу со всем рвением. Стоило вдали показаться кому-нибудь, в ком можно было заподозрить покупателя, я срывался, как собака с цепи, бросался на него, преграждал ему дорогу, оглушал криком, сбивал с ног перечнем товаров, тащил за полы. Правда, иногда я получал затрещину или плевок в лицо, но как ни в чем не бывало продолжал свое дело. Со временем я со всем этим так свыкся, что зазывать для меня стало наслаждением, радостью. Мне доставляло большое удовольствие вцепиться в какого-нибудь барина, заморочить ему голову и, выкрикивая перечень товаров, называть и такое: «Может, пане, парижские напасти на твою голову?! Помада, струпья, язвы вам, пане!»

Эти мои уличные торговые упражнения зачастую приводили к столкновениям с приказчиками других магазинов, которые тоже охотились за покупателями и тоже кричали. Мы грызлись на улице точно так же, как наши хозяева грызлись между собою в лавках из-за выручки, с той только разницей, что у них, у хо-

зяев, трещали костяшки счетов и спускались цены на товары, а у нас, приказчиков, трещали кости и отпускались звонкие пощечины. А так как я был самый маленький, самый слабый среди них, то почиталось благодеянием, чтобы все наиболее звонкие затрещины и самые горячие, пламенные оплеухи, по всем законам человечности, доставались одному мне. Но дары эти впрок не пошли, и от подобных благодеяний по всем законам человечности я потерял облик человеческий. Тем более, что для подобной торговли нет особой нужды иметь облик человеческий, можно и без него быть «человеком», то есть лакеем. Но силой и здоровьем надо было все же обладать. А я стал просто-напросто тень тенью, то есть остался без сил, без здоровья, еле держался на ногах. Шутка ли, что я, бедняга, перетерпел! В доме я обязан был помогать по хозяйству, в лавке я должен был убирать, подметать, каждого обслужить, каждого ублаготворить, а сыт бывал одними огорчениями, тумаки получал и от чужих и от своих. Больше всех изводил меня старший приказчик лавки. Ему почему-то не нравилось, что я ночую на кухне, куда он нередко забегал втихомолку, и он придирался ко мне, искал предлога, чтобы услать меня оттуда и вообще избавиться от меня. Я был у него бельмом на глазу. Но я все это перетерпел бы, не случись истории с пуговицей.

Однажды заметил я в лавке валявшуюся на полу перламутровую пуговицу,— она сверкала, переливалась всеми красками и блестела так, что возбудила во мне сильнейший соблазн. Я вспомнил больную сестру: «Подарю ей эту пуговицу, она в субботний или праздничный день украсит ею свое платье и будет щеголять перед подругами». Эта мысль укрепила мое

желание. Но когда я взял пуговицу и положил в карман, старший приказчик, наблюдавший за мной издали, тотчас подбежал ко мне с криком: «Так, так! Паскуда, ворюга, кладешь в карман! Видите, хозяйка, те вещи, что тогда пропали, тоже его работа!» Это он, по-видимому, сваливал на меня свои собственные грехи. Теперь, как сквозь сон, припоминаю — он иногда подсовывал служанке кой-какие мелочи... Короче, мне учинили свирепую расправу, немилосердно избили и выгнали вон.

5

В добрый, счастливый час я снова вернулся домой, к матери! Я не случайно говорю «в счастливый час»,— как раз в ту пору мать раскатывала мацу [1] в какой-то пекарне, и благодаря своему доброму имени ей удалось добиться для меня должности подливальщика, то есть я должен был из пасхальной кружки подливать воду месильщице, и эта моя работа мне тогда представлялась не менее важной, чем высокая должность старшего царского виночерпия. Поэтому я возгордился в сердце своем и стал относиться к себе с каким-то уважением, как к человеку, без которого не обойтись, в чьей помощи есть острая надобность. На первых порах мне трудновато было точно угадать положенную меру воды, и несколько замесов было из-за меня переведено в хомец, за что я получил внушительную

---

[1] Маца — пресные коржи, употребляющиеся религиозными евреями в пасхальную неделю вместо хлеба. В эти дни квашеный хлеб (хомец) не употребляется.

головомойку; но потом дело пошло как по маслу. Я считал себя единственным в мире подливальщиком, лучше которого не найти даже в Париже. Среди перебывавших у пекаря заказчиков мацы оказался и меламед. Очень довольный моей работой, тем, как я усердно подливаю воду, он поощрительно ущипнул меня в щечку. Мать моя с этим меламедом о чем-то долго говорила, потом подозвала меня и сказала: «Видишь, Ицхок-Авромце, реб Азриел берет тебя к себе в хедер помощником!» При этом она обратилась к меламеду: «Я только удивляюсь, реб Азриел, как это до сих пор мне в голову не пришло! Его отец, светлой памяти, был, как вы знаете, меламед, пусть сын, да продлятся годы его, тоже будет меламедом, дай вам бог здоровья. Опять же голова у меня, не про вас будь сказано, не про добрых людей будь сказано, заморочена, врагам моим того пожелаю. Вы же моего, пошли вам бог долгие годы, знали. Опять же, быть может, так уж предначертано свыше, чтобы сыну остаться при том же. Раз всевышнему любо, любо и мне. Пусть уж мой сын будет меламедом,— не было бы хуже».

Но все вышло не так, как говорила мать. Я оказался не при меламеде, а при детской колыбельке, при козе и при иных подобных занятиях! Жена меламеда реб Азриела прибрала меня к рукам, без устали помыкала мной и потчевала самыми различными работами. Я был у нее затычкой, пробкой, которой она затыкала все дыры. Так же как благочестивый еврей должен молиться, я должен был каждое утро отвести козу в стадо; редко-редко вел ее, козу, за рога сам реб Азриел своей собственной персоной, а я прутиком подгонял сзади. Управившись с козой,

я принимался за другие работы — приносил дрова, собирал во дворе среди мусора щепки, выносил помои, подметал дом и укачивал на руках ребенка в мокрой задранной рубашонке; ребенок орал, тянулся к материнской груди, бил ручками и ножками, закатывался, хрипел и, извините, свистел носом. Я был обязан унимать его, придумывать забавы, дуть в кулак, как в рожок, щелкать языком, рассказывать «сороку-ворону», петь «пи-пи-пи», «Козу-егозу» и другие детские песенки. И боже тебя упаси прервать все это хоть на миг! Жена меламеда раскрывала пасть и обдавала меня потоком ругани, замахивалась кочергой, грозя размозжить мне голову.

Благополучно покончив со всеми этими работами, я спешил собирать детей в хедер. И тут начиналась совершенно новая глава — я выполнял тысячи обязанностей помощника меламеда: чистил сапожки, ботиночки, вытаскивал из мокрых постелей обмочившихся мальчишек, переодевал их в сухую одежонку, застегивал штанишки, сдувал перья с ермолок, утирал носы, насильно тащил детей из дому и выталкивал на улицу... Так шел я из дома в дом, пока не собирал всю команду. Потом начинался невиданно дикий марш, которым стоило полюбоваться. Впереди и позади меня бежали, прыгали, ползли мальчуганы «в полной форме», с торчащими из штанишек рубашенками. Один брел с грустно опущенной головой, словно на заклание, другой жевал кусок хлеба с яйцом, третий кричал «кукареку!», четвертый — «козочка ме-ме-ме!» Я бодро шагал посередине, карманы у меня были битком набиты снедью, за пазухой — всякая всячина, а в корзине, висевшей у меня на руке, были лепешки с маслом, хлеб со смальцем, ломти хлеба с хвостом селед-



ки, горшочки каши, творог, простокваша, лук, чеснок и прочая зелень, а с обеих сторон за мною шли по полдюжине мальчишек. Одни мальчики, всхлипывая, терли носы, другие упирались и не хотели идти, третьи плакали, оборачивались и громко на всю улицу кричали: «Мама! мама!..»

В хедере ребе со старшим помощником встречали весь этот этап маленьких арестантов и принимались за порку. Я должен был подавать розги и держать ребят за ножки. Расстегивал штанишки и клал детей на скамейку сам ребе собственной персоной. Когда дети после порки бросались во двор, чтобы поиграть среди куч мусора, я отдыхал,— укачивал ребенка, наследничка реб Азриела, и напевал ему при этом песенку «У колыбельки Ханочки стоит козочка-беляночка»,

распутывал моток ниток, бегал разыскивать кур, кричал «киш, киш!», сгонял то с крыши, то с чердака петуха с его оравой жен-квохтух. Через несколько часов я впрягался в новое дело — приносил мальчикам обеды в хедер. Так я и мотался, суетился до вечера.

Вечером приходило время отвести всю ватагу детей по домам. Моя «святая отара» резво бежала, прыгала,— этот с подбитым глазом, тот с синяком на щеке, у одного багровело ухо, у другого был выдран клок волос из пейса. Но на радостях никто этому не придавал значения; все шалили, торопились, мчались шумно и весело. В это же время с поля возвращалось и стадо коров с резвыми козами впереди. Я отпускал мою «святую отару» и спешил с должными почестями встретить козу меламеда реб Азриела, хватал ее за рога и отводил на покой, удерживая ее от постыдного греха — заскочить в чужой огород — и избавляя себя от лишних забот и хлопот по розыску беглянки, затягивавшемуся иногда до поздней ночи.

Что до моего пропитания, уговор был таков: столоваться буду у родителей учеников реб Азриела: неделю у одного, две недели — у другого, а где окажется возможным — и месяц. На самом же деле я кормился не у них. У кого же? У их кухарок, которые были не очень склонны выполнять обязательства реб Азриела и нередко оставляли меня голодным. Что же до меня, хотя моим контрактом и не предусматривалось, что я должен работать у кухарок, я не мог тем не менее быть настолько грубым и отказаться, когда мне предлагали какое-нибудь занятие. Я натирал хрен, точил ножи, до блеска начищал медные субботние подсвечники, носил кур к резнику, по поручению служанок



бегал в лавку за перцем, имбирем и корицей для субботнего пудинга и выполнял еще множество подобных дел по хозяйству.

Близилось девятое аба[1]. Я вовсю готовился, вытесал деревянные мечи для моих мальчишек,

[1] Девятое аба — день поста в память разрушения иерусалимского храма.

покрасил их, мечи, значит, соком черных ягод, покрасил и в иные способные насмерть перепугать цвета и надеялся зашибить немалую деньгу. Но внезапно на меня надвинулась туча, и рухнули все мои надежды. В ту пору реб Азриела дернула нелегкая избить до полусмерти наследничка какого-то богача, единственного сына, над которым родители тряслись. Мальчишка не выдержал побоев и слег. Мать и отец возмущались, шумели и грозились хорошенько проучить реб Азриела, отобрать у него хедер. Реб Азриел страшно перепугался и, чтобы обелить себя, свалил всю вину на меня. Это, говорил он, дело помощника. Он, говорил реб Азриел про меня, большой пакостник, невиданная мерзость! Мальчик же, со своей стороны, молчал, как водится: боялся разгласить секреты хедера. Сошлись на том, что виноват я. Обе стороны решили хорошенько меня отхлестать и выгнать вон из хедера. Я, злосчастный, оказался козлом отпущения и был безжалостно принесен в жертву!

6

— Так вот! — говорила моя мать, обращаясь к какой-то женщине и глядя при этом на меня.— Опять же, как говорится, Эстер, человек полагает, а бог располагает. Я, со своей стороны, чиста, пошли вам бог здоровья, разбилась, как говорится, в лепешку, только бы не опозорить покойного мужа, но все идет кувырком, хоть разорвись. Полюбуйтесь-ка на него, Эстер, я уже пристраивала его в разных местах. Он мог бы стать там человеком, человеком что надо, и бог и люди позавидовали бы мне. Но хоть разорвись,

Эстéр, хоть отдай себя на заклание, хоть умри тут на месте, все идет через пень-колоду, про врагов наших будь сказано, все получается шиворот-навыворот! Опять же, как говорится, если злая судьба привязалась к человеку, ему от нее не отвязаться. Если невозможно напрямик, как говорится, приходится — в обход... «Як нема риби, то і рак риба»,— говорят мужики. Вы же человек с понятием, Эстер, так вот! — раз к ремесленнику, пусть к ремесленнику. По-видимому, суждено свыше, чтобы сын меламеда Тевла стал ремесленником, горе, горе мне! Опять же, чего мы стóим сами и чего стóит наша жизнь — поди и спроси господа бога!

Через несколько дней я поступил в учение к портному Лейзеру.

Портной Лейзер был маленький, тщедушный человечишка с бледным личиком, очень проворный, подвижный, как ртуть, со всеми портняжьими повадками, с головы до ног вылитый портняжка. Его можно было считать и дамским и мужским портным, или, что еще вернее, ни дамским, ни мужским, потому что он брался шить и женскую и мужскую одежду, все на свете, а при случае — даже фуражку, и ничего толком сшить не умел. В его руках салоп оборачивался домашним халатом, домашний халат превращался в кафтан, кафтан — в платье, а платье — в детскую нижнюю сорочку. К тому же он был ловкач. У него всегда уходило материала ровно столько, сколько он считал нужным, и, сверх того, ему перепадал немалый остаток. Под осень, в то самое время, когда в еврейских семьях затевают перелицовку одежды или превращение одной одежонки в другую, он бывал завален работой.

Лейзер был доволен собой и считал себя лучшим портным если не во всем мире, то по крайней мере в Безлюдове, потому что не подозревал о своих недостатках. Когда ему, бывало, показывали какое-нибудь прекрасное изделие, привезенное из дальних мест, из Берлина к примеру, он даже не хотел оказать этому изделию честь, толком разглядеть его, присмотреться к тому, как оно скроено, как сшито.

— Пустое! — улыбался он и делал небрежную гримасу, чтобы сбить с собеседника спесь.— Пустое, что тут особенно мудрого? Что вы тут такого нашли, чем любоваться? Такие вещи я в своей жизни уже тысячи раз делал-переделал. Ко всему на свете еще необходимо счастье,— раз это сделано в Берлине, хе-хе, считается, что это хорошо.

Язычок у Лейзера был проворный, острый. Когда кто-нибудь пытался показать ему, каким он желает видеть свой заказ, Лейзер не давал тому договорить, перебивал и говорил сам:

— Я знаю, я знаю-знаю-знаю! Будьте уверены, я с божьей помощью сошью вам эту вещицу гораздо лучше, чем вы сами того желаете. Впервые мне такое шить, что ли? Знаю, не сомневайтесь, довольны будете.

Когда он относил работу, и заказчик говорил: здесь жмет, там топорщится, тут не облегает, в этом месте тесно,— Лейзер не хотел слушать, говорил без удержу, засыпал того словами:

— Боже упаси, как вы можете такое говорить? Не жмет! Не должно жать! Ничего похожего на то, чтобы топорщилось. Немножко только потяните, будьте любезны, туда. Сидит прекрасно,— ни морщинки. Вот еще новости — узко! Как так узко? Не должно быть узко! Вы только что поели и немного раздались

вширь, вот вам и кажется, что узко. Потратить мне на лекарства то, что мне от этого перепало,— едва хватило материала, честное слово! Израсходовано все до последнего кусочка. От подкладки осталась маленькая полоска перкаля, я и принес ее. Лучше, чем я сделал, сделать невозможно! Пообносите — попривыкнете. Носите на здоровье!

При расчете начинались препирательства. Он говорил битый час, божился, вовсю хвалил свою работу, перечислял, во что ему обошлась каждая мелочь в отдельности, производил хитрый портняжный расчет и за глаза приводил в свидетели лавочника, перекупщика и лоточницу, просто-напросто обрушивал на заказчика поток слов, пока тот не добавлял ему еще десять грошей. «А теперь,— говорил он напоследок,— поднесите хоть глоток водки...» Глотком водки у Лейзера начинались и завершались все дела. Он не был, упаси бог, пьяницей, не валялся на улицах. Но пить он умел. «Ремесло обожает питие» — было его излюбленной поговоркой. И он от души любил выпить. Благодаря этому он играл заметную роль в цеху, был на короткой ноге с цехмейстером, весьма деятельно проявлял себя при выборах,— ведь все это обычно не обходилось без выпивки. Не сомневайтесь, душа Лейзера чувствовала, где можно разжиться на рюмку-другую водки. Но чтобы он за рюмку продал себя, свой разум, перестал чувствовать, понимать, что хорошо и что плохо,— избави боже, этого сказать нельзя! Он себя в рюмке не утопил, всегда оставался при своем уме и, как все другие, очень хорошо знал правду, в рюмке же он утопил только свой баллотировочный шар...

Портной Лейзер, едва я поступил к нему, сразу же взял меня в оборот и начал штудировать со мной

азбуку ремесла. Азбука эта состояла не в том, как надо держать иглу, как надо сделать стежок,— нет! Это было слишком рано, такой чести мне еще долго не оказывали. Лейзер начал со мной с самого начала — с помойного ушата, с охапки дров и иных подобных вещей. Почти та же самая азбука, что в лавке, что у меламеда Азриела, только с теми небольшими изменениями, которые были связаны с портняжным делом. Тут надо было, к примеру, сходить на рынок за нитками; ставить греть в печь утюжки, иногда дома у самого Лейзера, а иногда у кого-нибудь из соседей; раз десять в день искать под столом, под стульями наперсток или тоненькую иголочку; выдергивать наметку, и, сопровождая хозяина к заказчику, нести готовое изделие. А так как у Лейзера была жена, деловитая хозяйка, расторопная женщина, то и она уделяла мне много внимания, всегда находила для меня работу и ни минуты не давала мне, сохрани господь, сидеть без дела. В ту пору моя мать еще могла не стыдиться моего ремесла, а мой отец меламед реб Тевл мог пока спокойно лежать в могиле: сын не опозорил их,— он был еще очень далек от работы иглой. Что же касается колотушек, то по этому поводу особенных споров не было. Иногда колотил меня Лейзер, иногда — жена Лейзера, иногда — оба разом или же на иной манер, к примеру так: вначале Лейзер отвешивал несколько увесистых затрещин Лейзерихе, а Лейзериха мне честно передавала их с процентами, сдобрив свое подношение несколькими добротными щипками, или наоборот,— Лейзериха вдруг первая собственными руками надавала пощечин Лейзеру, а Лейзер никак не мог удержаться, чтобы все это тотчас же не отдать мне... Лейзер со своей женой жили

точно голуби, во всем равноправны: каждый чувствовал себя главой семьи, оба решали все дела на равных правах, оба боялись один другого, обнимались, ласкались, делились самым прекрасным и лучшим — пощечинами...

У портного Лейзера мне жилось несладко. Я работал как вол, а со всех сторон на меня сыпались удары. Я тогда полагал, что в учении ремеслу все это совершенно необходимо, и без этого, то есть без помойных ушатов, без зуботычин, без горячих, пламенных оплеух я, упаси бог, никогда не овладею ремеслом, точно так же как без этого невозможно стать докой в талмуде[1]. Примером служил мне подмастерье Лейзера. Худой, сгорбленный, изможденный парень, который провел свои лучшие молодые годы у Лейзера, делал всю черную работу, претерпел тысячи испытаний, пока не достиг такой ступени, когда ему доверили взять в руки иглу — стегать! Поэтому я, злополучный, принимал с любовью все затрещины и даже не слишком громко плакал.

Однажды под пасху ко мне обратился хозяин:

— Ицик-Авремл, сбегай-ка в лавку, там возьми, взяла бы тебя лихоманка, на грош ниток и обметай, метаться бы тебе всю жизнь, это платье, сначала спереди, а потом сзади. Живо, шельмец!

Помню, как сильно обрадовался я тогда оказанной мне чести — с иголкой в руках сидеть за столом, будто меня удостоили на свадьбе держать палки свадебного балдахина. Айда! Я уселся за стол напротив бледного парня, радостный, веселый, и обеими руками держал

[1] Талмуд — многотомный памятник еврейской религиозной литературы, сложившейся с III века до нашей эры по V век нашей эры.

заднюю часть платья, как некую драгоценность, как сокровище. Портной фальцетом затянул напев молитвы «Кол-нидрей», потом запел «Владыка небесный», затем перешел на какой-то марш. Покачивая головенкой и пришлепывая в такт губами, он подтрунивал надо мной и над изможденным парнем, высовывая при этом язык, затем он надрывно, со слезами в голосе, распевал свадебные песни, изображая провожание невесты, сыпал, как скоморох, рифмами. «Живо, Ицик-Авремл! — говорил он в то же время нараспев.— Сними нагар со свечи, шельмец! Шагай веселее, вздутая рожа! Пошевеливайся, Ицик-Авремл, быстрее шагай, не вздумай дремать у меня, негодяй!» А я — стежок за стежком, иглой — то по платью, то по пальцу, куда попало. Но разве почувствуешь укол иглы, когда на душе весело?..

И вдруг на меня надвинулась туча: в доме запахло паленым. Искали тут, искали там и нашли наконец, что это у меня, несчастного, тлеет та самая задняя часть платья, которую я обметывал! Когда я обрезал свечу, кусочек нагара упал на ткань! Поднялся вопль, крик, галдеж. Пощечины, зуботычины и удары посыпались на меня градом! Влетело мне как следует. Портной пытался превратить заднюю часть платья в переднюю, сделать из нее рукав,— ничего не выходило! Он уже, бедняга, вынул из сундука кусок материала, который выгадал при кройке, но — мучайся хоть целый год — ничего не получалось! Хоть разорвись! Хоть собою дыру залатай, толку нет! Задний крой должен остаться задним кроем, из свиного хвостика не сделаешь ермолки.

— Выслушай-ка меня, Ицик-Авремл! — сказал Лейзер.— Выслушай, негодяй, паршивец ты этакий,

сгнить бы твоим костям! Бить тебя больше нет сил... Когда хозяйка вернется с базара, она тебя, вероятно, тоже обогреет, пересчитает все твои косточки. Она имеет точно такое же право, как и я, и она своего не упустит. Но все это ничто, все это дерьмо по сравнению с тем, что тебе достанется позднее, если мне не удастся моя уловка.

Портной Лейзер тут же задумался над пострадавшим платьем и заговорил сам с собой: «А почему бы таки не карман?.. Из дырки — да карман!.. Но вдруг, если... Э, ладно, что уж тут терять?..» Потом он уставился на меня и крикнул:

— Пошел вон, паршивец! Псам бы с тобою водиться!

Я выскользнул из-за стола, точно кошка, и с замиранием сердца стал дожидаться печального конца.

Эта грустная история произошла в среду под вечер. В пятницу, помню, как сегодня, хозяин велел мне нести за ним пострадавшее платье к жене арендатора. Арендаторша как глянула — светопреставление: на самом заду карман!

— Что это такое, милейший мой портной? — раскричалась она.— С какой стати — вот это? Что это? Я, убей меня бог, такое платье ни за что не приму!

— Э,— ответил мой Лейзер со сладеньким смешком и не дал ей дальше говорить,— не кричите, право же, Брайндл! Помоги мне бог так прекрасно жить, как я вам все прекрасно сделал! Я сшил вам платье по самой последней моде. Не спорьте, у всех барынь теперь разрезные карманы сзади. Только сумасшедшие делают теперь карманы спереди! Не избавиться мне, господи, от моего ремесла и остаться навеки портным (это была его обычная клятва, как и у всех евреев-

ремесленников), если это платье не выглядит великолепно! Жаль, право, что вы собственными глазами не можете полюбоваться на всю его прелесть. Право же, перестаньте ощупывать, Брайндл, все хорошо! Пользуйтесь на здоровье, носите на здоровье и порвите поздорову! Только дайте что-нибудь моему ученику, он заслужил, право. Бедняжка немало натрудил свои глаза, пока управился с вашим карманом. А мне причитается рюмка, право!

Лейзер считался в Безлюдове одним из лучших портных, из тех, что шьют по журналам, а арендатор был одним из крупнейших богачей, и когда увидели его жену, арендаторшу, в платье с карманом сзади, все безлюдовские модницы стали носить платья с разрезными карманами сзади. Но хотя мой карман и вошел в моду, мне он удачи не принес. Лейзер боялся, как бы я опять не натворил каких-нибудь новых мод, от которых у него начались бы, не дай бог, колики. Из страха он не давал мне больше прикоснуться к работе и передал меня в полное владение своей жене, себе оставив только право влепить мне время от времени оплеуху. «На что мне сдался,— заявил он,— этот безнадежный сопляк, этот никчемный фокусник?» При этом он добавлял свое обычное изречение: «Ай-ли-люли — аллилуйя,— «да восславит его войско его»,— псам бы с тобою водиться!..» Затем я причинил ущерб и Лейзерихе — нечаянно разбил горшок с яйцами и был вынужден в конце концов покинуть их.

Потом меня отдавали к разным ремесленникам, что ни неделя — к другому. Но мне, злосчастному, нигде удачи не было. Каждый ремесленник на первых порах знакомил меня со своим хозяйством и сваливал на мои плечи все его тяготы. Был среди других моих

хозяев один сапожник, неунывающий бедняк; он все посылал меня в грязные закоулки — дергать у свиней щетину из хребта. «Глупенький,— такова была его всегдашняя поговорка,— с поганой свиньи хоть щетину драть, драть со свиньи — сам бог велел». Когда я тащил ушат с помоями, этот веселый бедняк вставал и шутя провозглашал нараспев:

— Воздайте почести Ицику! Неси, неси, милый Иценю-Авременю, дай мне бог дожить и тащить на твою свадьбу вино в решете! Тащи, милый Иценю, тащи, в твои годы я достаточно помойных ушатов поперетаскал!..

Этого самого сапожника я в душе любил: он обходился со мной лучше всех других. У него я бы удержался и даже, быть может, чему-нибудь научился, но он серьезно заболел, стал все сильнее кашлять, харкать кровью,— бедняга всю жизнь мучился, горе мыкал, работал через силу, чтобы прокормить жену и детей, а сам он бывал сыт одними страданиями. Кроме черствого сухого ломтя хлеба, он ничего в глаза не видал. Вкус мяса был им давно забыт, и при разговоре он иногда шутил: «Мясо — это не еврейская еда. Одному мне, сумасшедшему, в субботу могли померещиться потроха в горшке!..» Беднягу на тележке отвезли в дом призрения, и там он вскоре умер.

7

И был день — в Безлюдов прибыл странствующий кантор[1] и в субботу пел с хором в нашей синагоге. Народ из всех молелен бежал его слушать. Самые на-

---

[1] Кантор — человек, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогальной литургии.

божные спозаранку управлялись с утренней молитвой, а потом шли слушать кантора. Теснота была страшная, яблоку упасть негде было,—толкались, напирали друг на друга. Втиснулся в синагогу и я, чтобы послушать кантора. Как и все евреи, я очень любил пение.

Был у кантора маленький певчий, моих лет, голосок что колокольчик. Когда он стоял у аналоя и, подперев рукой щечку, «тралялякал», я ему так завидовал, что готов был отдать с себя последнюю рубашку, только бы стать, как и он, певчим. Когда мы, мальчишки, вышли в сени на время чтения торы [1], я глядел на этого маленького хориста с великим благоговением. Я перед ним полностью пасовал. Мне казалось, что нет на свете профессии лучше певчего. Куда мне до него! Едва этот маленький певчий открывал уста, я неотрывно смотрел ему в рот и, если бы мог как есть вскочить туда, то сделал бы это с величайшей радостью и испытал бы невыразимое наслаждение.

Дома по возвращении из синагоги я все пытался подражать маленькому певчему. А после обеда разошелся вовсю и в полный голос распевал песни, чем доставил матери огромное удовольствие. Но теперь я, увлеченный песнопениями, уже не старался подражать маленькому певчему, мне вообще почему-то пелось, я ни на миг не мог умолкнуть. Уже давным-давно пообедали, а я все еще пел, выводил всевозможные канонические мелодии. Мое пение в конце концов перешло в озорство, я надрывно орал на разные неслыханно дикие голоса. Мама, увидев, что я никак не угомонюсь, не даю ей отдохнуть после обеда,

---

[1] Тора — пятикнижие, первый раздел библии.

хорошенько отшлепала меня и выгнала вон из дому. А куда бежать мальчику в субботу днем? Конечно, в синагогу. Ге-ге! Там я застал всю шатию самых отъявленных сорванцов. Я-то думал, что был единственным подражателем маленькому певцу. Нет! Все остальные делали то же, что я. Каждый в отдельности был занят делом: один пищал, другой рычал, третий гудел басом, кто пел фальцетом, кто дико кривлялся, драл горло, ржал, заливался дребезжащим голосом, выводил рулады, как флейтист. Потом вся орава дружно принялась исполнять на хорах в женской молельне жалобные молитвы, подражая кантору.

Мы мяукали, пищали, свистели, галдели, кричали до тех пор, покуда служка не окатил нас водой и не выгнал с позором.

У меня, надо вам знать, и впрямь был красивый тонкий голосок, словно звоночек. Я иногда подпевал портному Лейзеру, когда тот исполнял провожание невесты или пел «Царь небесный». Лейзер при этом смотрел на меня с улыбкой и говорил тоном человека, испытывающего большое удовольствие: «Хорошо, паршивец ты этакий! Так, так, черт бы тебя побрал, шельмец!..» И мне пришло в голову попросить маму отдать меня в учение к кантору. Я впился в нее, как пиявка, не отставал до тех пор, пока не вынудил ее повести меня к нему. Да и она, бедная, измученная вдова, уже была рада избавиться от такого сокровища, как я. Когда кантор велел мне издать высокий, тонкий звук и затем сказал, что берет меня в певчие, мне на радостях показалось, что я завоевал весь мир. Невозможно описать, каково было у меня тогда на душе. По-видимому, очень рада была и мать,

так рада, что большей радости и не бывает,— я сам слышал, как в разговоре со своей знакомой она сказала:

— Опять же, Эстер, да продлит господь бог ваши годы, как может человек устроить судьбу другого? Расшиби себе голову, разорвись, из кожи лезь вон, Эстер, ничего не сделаешь. Как говорится, Эстер, когда всевышний возвышает человека, никто не знает, откуда это на него свалилось. Говорю это... по поводу моего сироты говорю. Опять же, Эстер, люди советовали пристроить его к ремеслу; так и быть, ремесло так ремесло. Но что из него вышло бы? И вот всевышний являет свою милость и доказывает, что все не так, как люди говорят, нет! И вот, Эстер, бог присылает кантора!.. Благословен и славен, Эстер, господь бог, мой сирота уже пристроен, он уже человек, про всех моих близких будь сказано! Я у бога совсем не заслужила такого. Тут уж совершенно явственно воздается ему за заслуги предков.

С кантором я больше полугода странствовал по белу свету. Мне, злосчастному, и у него плохо было, хуже, чем всем остальным певчим. Не сомневайтесь, я дорого расплачивался за пребывание в хоре. Заведено у нас было так: пока кантор пел, хористы должны были поглядывать на публику, наблюдать, нравится ли его пение, прислушаться, что говорят о его голосе, о том, как он управляется с текстом. Уже дома, когда кантор хотел кого-нибудь из нас окликнуть по имени, как-то по-особому подмигивая, что означало: «А ну, скажи-ка, остались довольны мной?» — почти всегда его выбор, как назло, падал на меня. Это, быть может, случалось потому, что остальные певчие сразу же после молитвы разбегались, бесследно испа-

рялись. Едва он произносил «Авремка», по своему обыкновению подмигнув, я по простоте свой говорил ему: «Смеялись, кантор, почему-то очень смеялись!» Он хватал меня за ухо, драл и теребил, теребил и драл,— уверяю вас: тумаки Лейзерихи были невинной шуткой по сравнению с этим.

Однажды мы пели в каком-то городишке в субботу. Кантор усиленно готовился к молитве,— он имел виды подольше задержаться в этом городишке. В субботу вечером к нему собралось много народу, пили пунш, вино,— то были веселые проводы царицы-субботы. Кантор, как водится, жеманился, ломался, жаловался на горло, уверял, что простудился и должен несколько дней поберечь свое горло, все колебался и тем не менее опять-таки, как водится, пошел на уступки собравшимся, исполнил песнопение об Илье-пророке, спел «волехл» [1]. Вдруг вздумалось кантору послать меня за чем-то. И когда он позвал: «Авремка!» — я разверз уста и давай говорить весело и громко, во весь голос, потому что успел хлебнуть немного хмельного: «Го-го, кантор, над вами посмеялись!» Кантор, бедняга, переменился в лице, побагровел и надулся как индюк, а публика осталась сидеть с растерянно вытаращенными глазами. Мне же показалось, что кантор не верит моим словам, к тому же выпитый пунш развязал мне язык, и я пошел молоть, божиться и клясться: «Честное слово, кантор, над вами смеялись! Вот эти самые люди потешались над вами!.. А тот самый, который все пьет и шепчется с вами, он, ей-богу, очень смеялся, когда

---

[1] Волехл — мелодия, которая сложилась под влиянием песенных мотивов Валахии (Румыния).

вы молились. Он, кажется, сказал что-то вроде: «Кочан»! А я почем знаю, что такое кочан, семена индючьи или масло утиное?..» Кантор закусил губу, притворно засмеялся и сказал собравшимся, что я придурковатый, недоумок, не знаю, на каком я свете, к тому еще нализался, что с такой напастью, как я, он вынужден мириться ради моего голосочка. Собравшимся стало не по себе, проводы царицы-субботы не клеились, и люди, расхоложенные, понемногу разошлись. Можете вообразить себе, как мне потом досталось. Кантор так расправился со мной, что выпитый пунш мне вышел боком.

Я продолжал разъезжать с кантором. Мы таскались по еврейским местечкам и в одну из суббот приехали в Цвуячиц. Кантор надеялся остаться здесь на длительный срок. Он старался изо всех сил, усердствовал сверх всякой меры, и старосты синагоги предложили ему остаться на все «Ёмим-нороим» [1], обещали срядиться после праздников — там, мол, бог даст, окончательно договорятся. Я тем временем познакомился с цвуячицкими сорванцами и добился, благодарение господу, у этих озорников некоторого авторитета. Когда, к примеру, с криком «ура» бежали за местным сумасшедшим, мне давали бежать впереди всех, когда нужно было над кем-нибудь подшутить, то клок ваты для пыжа выдирали из моего кафтана, а когда однажды удалось выкрасть из шкафчика служки труб-

---

[1] Ёмим-нороим — еврейские религиозные праздники Новый год и Судный день. По представлению верующих, бог в эти праздники определяет судьбы людей на наступающий год. Набожные евреи в эти дни усиленно молятся и постятся, чтобы покаянием и смирением умилостивить бога и заставить его предначертать им год добра и счастья.

ный рог, мне предоставили право первому трубить в него. Для меня уже, пожалуй, началась хорошая пора, но что поделаешь, если не суждено человеку счастье!

Выслушайте только, как закончилось мое служение у кантора! Нетрудно представить себе, как трудился бедняга кантор в дни рош-гашоно[1]. Заливался, как говорится, на все лады, помогал себе жестикуляцией; его голос на каждом слове раз десять взвивался вверх и опускался вниз, от полного звучания внезапно переходил к легким вариациям: гай-ди-ди-ди сюда, гай-ди-ди-ди туда; он буквально превзошел самого себя. Бас охрип от частых переходов,— с каждым коленом новый переход, еще раз ла-тум-дум-дум!! — и сызнова ла-тум-дум-дум!! Он обливался пóтом и утирался платком, которым все время размахивал, не выпуская из рук. Альту, бедняге, отказался служить голос, ему приходилось перекрикивать баса, сопровождать каждое слово кантора высокой тонкой руладой, а я, несчастный, почти каждую минуту должен был тоненько взвизгивать: «Татэню!» — и издавать протяжное тра-та-та-ти! Короче, мы трудились, драли горло на чем свет стоит.

В синагоге молился молодой человек, богач, несколько приверженный современным веяньям, полный, здоровый, шутник и очень хороший человек. Он любил дурачиться с детьми и страшно не любил кантора за его кривляние. И когда кантор во время молитвы «Шмойне-эсро» разогнался вовсю, как по почтовому тракту, выкидывая отточенные штучки «по-молодец-

---

[1] Рош-гашоно — еврейский религиозный Новый год.

ки», ко мне, точно кошечка, пододвинулся шутник-богач и с совершенно серьезным видом тихонько спросил меня: «Скажи-ка, малыш, ты умеешь сводить губу вишней?» И в то же мгновение на его нижней губе поспела такая большая, такая красная вишня, что я расхохотался. В ту самую минуту кантор, отточив очередную штучку, ждал моего тра-та-та-ти! Когда увидели, что кантор вдруг замолк, точно подавился, все стали ударять ладонями по столам. Кантор посмотрел на меня с такой злостью, точно я ограбил его или не хотел вернуть долг. Глаза у него горели, лицо было красное, как разопревший цимес. Бас повернул ко мне голову, замычав, точно корова телке: ну, означало это, давай уже свое тра-та-та-ти! Но едва я прикоснулся пальцами к горлу, чтобы издать звук, богач снова свел губы вишней, и я против воли ни с того ни с сего разразился хохотом и визгом! Кантор растерялся, выскочил, что называется, из оглобель, запутался в постромках, сошел с прямого пути, опустил большую часть молитвы и к тому еще сделал несколько ошибок в тексте. Со всех сторон раздавались восклицания: «Ай! Ай!» Ударяли ладонями по столам. Женщины на хорах в женской половине синагоги сильно перепугались и в один голос закричали: «Ой, горим!» Тут перепугались мужчины и, толкаясь, стали выбегать из синагоги. Короче говоря, моление было нарушено. Народ остался страшно недоволен.

Назавтра после рош-гашоно кантор выгнал меня. Сам он, бедняга, со стыда и позора был вынужден уехать, чтобы где-то продолжать свои скитания. А я, злополучный, остался в Цвуячице на произвол судьбы.

8

Все дни рош-гашоно меня кормил один из цвуячицких евреев. Трудно точно определить, что это был за человек: не то чтобы хасид[1], но и не из современных, вроде и туда и сюда, или наоборот — ни туда ни сюда; одевался он ни по-дедовски, ни по новой моде; был он, как говорят, ни рыба ни мясо, немного недопеченный. Позднее встречал я на свете много евреев этой разновидности и никогда не умел как следует разобраться в них, не мог толком понять, что они за люди... Когда я остался один, бродил, как одинокая овечка, и не на что было день прожить, я подумал-подумал, да и зашел к этому человеку, рассказал о моих злоключениях, о великой беде, постигшей меня. По натуре он был неплохой человек, молчальник, слово скажет — что рублем подарит. Он выслушал меня, молча поглаживая усы. Потом задумчиво махнул рукой,— означало это, что я могу у него остаться,— и велел домашним накормить меня. Вечером, часов в десять — одиннадцать, когда на улице уже и пса бездомного не встретишь, а темнота такая, что хоть глаз выколи, он отправился со мной на самую далекую окраину города, в какой-то заброшенный переулок. В этом переулке было спокойно, тихо, как на кладбище; слышался только шум раскачиваемых ветром деревьев, шелест засохших листьев, еще оставшихся на каком-то деревце. Время от времени накрапывал осенний дождик, падал на опавшие листья, на засохшую ботву уже убранных овощей. Едва затихал на мгнове-

[1] Хасид — приверженец религиозно-мистического течения среди евреев.

ние ветер, откуда-то издалека доносился стук мельницы и рокот, грохот стремительно бегущей воды. Снова налетая, ветер приносил с собой из города разноголосый шум, сумятицу звуков: крик петуха, мычание коровы, скрип открывающейся и закрывающейся створки ворот, дребезжанье, тарахтенье извозчичьей телеги, лай дворовой собаки. По-видимому, в том переулке жили не евреи, иначе там не было бы садов, деревьев, земля не была бы усыпана опавшими листьями, и еврей, который меня вел, был бы вынужден нащупывать дорогу, чтобы, упаси бог, не наскочить среди улицы на корову, не натыкаться перед каждой дверью на разбитые ступеньки. Мой еврей все шел, не говоря со мной ни слова, пока мы не добрались до какого-то дворика и не вошли в небольшой низенький домишко. В маленькой передней теплилась свеча; там мой еврей снял с себя верхнюю одежду и вошел в следующую комнату, мне, однако, велел дожидаться в передней. Стоя за закрытой дверью, я услышал такой разговор...»

Этими словами заканчивался последний листок из тех, что дал мне раввин, и, так как была уже поздняя ночь, я прочитал молитву на сон грядущий и улегся на свое место в синагоге спать.

9

На следующее утро, едва управившись с молитвой, я наскоро закусил чем попало и, снова оставив на попечение служки мою тележку и лошадку, помчался к раввину.

В доме раввина я застал немало народу, всё знать — общинные судьи и богачи. Самого раввина

еще не было. Все сидели словно задумавшись. Правда, богачи всегда немного задумчивы, озабоченны, глядят на других мрачно, как-то так, что холодеют внутренности, хочется убежать от них и больше в глаза их не видеть. Никак не могу понять: раз есть деньги, к чему еще так задумываться, заботиться и напускать на себя серьезность? Для того чтобы считать деньги, не нужны, кажется, особенно высокие помыслы. Можно, кажется, иметь набитый деньгами сундук и глядеть на людей открытым взглядом, без недовольной гримасы... Ладно, что уж тут?.. Но не в этом суть.

— Что это вы так вздыхаете, реб Хоне? — спросил один богач другого.

— Вздыхаю, реб Бериш,— ответил реб Хоне,— о потере, которую мы понесли. Ицхок-Авром был очень полезный человек, мы все имели в нем друга, деятеля, умевшего хранить секрет. Он умер раньше времени. Прожить бы ему еще хоть несколько лет. Жаль, право! Нам всем следует вздыхать об этой великой потере. Ни на ком так не скажется смерть Ицхок-Авроma, как на городе, то есть на нас самих, имею я в виду!

— Пожалуй, ваша правда, реб Хоне,— отозвались все и глубоко задумались.

— Я еще должен сегодня быть на свадьбе,— произнес один из общинных судей,— мне предстоит обручение молодых.

— А у меня сосет под ложечкой,— проговорил другой судья,— раньше всех прочих дел я предпочел бы заморить червячка. Да мне уж и вправду приспело время поесть: кроме стакана цикория, у меня во рту сегодня маковой росинки не было.

— Меня вконец изводит мой геморрой,— вторгся в разговор еще один судья,— скажите, прошу вас, а

чем вы лечите свой? Говорят, морковный цимес прекрасно действует. Не знаю! Я до сих пор держался отварного чернослива с настоем александрийского листа.

— Лучшее лекарство от геморроя,— произнесли в один голос двое первых судей,— не подавать виду, что он у вас есть, и ничем его не лечить: это нам заповедали наши отцы...

Я сидел как на иголках, считал минуты: скорей бы уж явился раввин и я удостоился бы услышать конец всей этой истории, узнать, зачем я здесь так понадобился. Минуты тянулись бесконечно долго, ожидание утомило меня. Наконец бог сжалился надо мной, и пришел раввин. Лоб его покрывали морщины,— доказательство того, что голова у него полна мыслей. Он извинился, что заставил собравшихся немного подождать. Он был, оказалось, занят: проверял говяжью печенку; это был сложный случай: шла речь о пригодности ее в пищу.

— Все ли вы в сборе, почтеннейшие? — спросил раввин, усевшись на свое место.

— Все, рабби, все, кроме одного... Для полного счета не хватает реб Файвуша.

— У реб Файвуша сегодня... Как бы сказать? Торжество... Погребальное братство, то есть реб Файвуш, получит немалый куш от наследников Ицхок-Аврома за его погребение... Так я полагаю,— проговорил один из богачей, желчный человек с перекошенной кисло-сладкой физиономией.

— Прошу прощения, почтеннейшие, что я занимаю вас этой историей,— обратился раввин к собравшимся,— вы люди занятые, купцы, каждый из вас отягощен заботами, заморочен множеством дел, и, конечно,

всем вам некогда! Но что же мне делать? Ведь это же заслуга перед богом — выполнить завещание покойного. Он, мир праху его, пожелал этого от меня и по всей справедливости заслужил, чтобы просьба его была выполнена, как вы в этом сами под конец убедитесь. Извините же меня тысячу раз, почтеннейшие!

— Ничего страшного, ничего особенного! — отозвались все богачи.— Пожалуйста, рабби, эта история нам очень нравится. Мы не устали бы слушать ее целый день и целую ночь,— так она нам по сердцу. И даже без того Ицхок-Авром заслужил у всех у нас, чтобы мы потратили ради него немного времени и выслушали его жизнеописание. Оно, надо думать, к чему-то ведет... Конец, вероятно, необычайно интересен, и мы не пожалеем, что слышали такое...

Раввин, дай бог ему долгой жизни, взял сверток бумаг и, слегка откашлявшись, сказал:

— Мы с вами вчера, кажется, остановились на словах: «... я услышал такой разговор...»

— Да, на этом самом месте! — отозвался я и положил перед раввином те несколько листков, что он дал мне вчера.

— А-а! Хорошо, хорошо, реб Менделе! — сказал дружелюбно раввин и представил меня собравшимся:— Это наш гость, почтеннейшие, это — реб Менделе... Наш реб Менделе! Я позволил себе пригласить его: он необходим в этом деле. А теперь, почтеннейшие, соблаговолите слушать написанное далее.

И сразу же, как водится, люди начали кашлять, сморкаться, двигать стульями. Раввин, дай бог ему долгой жизни, задумчиво глядел на бумаги, поглаживал бороду и ждал, пока народ успокоится.

10

— «Стоя за закрытой дверью,— начал раввин читать далее,— я услышал такой разговор:

— Добрый вечер, герр Гутман!

— Добро пожаловать, герр Якобзон! О, что за гость! Вот уже три недели, как вы не были у меня! Что бы это значило, герр Якобзон?

— Как я мог, милый герр Гутман? Вы же знаете: наступила пора святых праздников, а местные евреи теперь еще более фанатичны, чем в иное время. Вы ведь знаете мое положение, знаете, как я завишу от этих людей, и если бы они увидели, что я иду к вам...

— Вы вполне правы, герр Якобзон. Если так, вы правы. Да, вы зависимы, у вас — семья.

— Вы уже закончили свое произведение, герр Гутман?

— О да, книга на диво удалась. Очень нужная книга! Жаль только, что у нас так мало людей, читающих по-древнееврейски.

— Скажите лучше, герр Гутман, что вы не получаете платы за свой труд, что вам, бедному, частенько приходится мучиться, к тому же еще незаслуженно страдать от злобы, терпеть гонения.

— Поверьте мне, герр Якобзон, писатель, поэт не нуждается, собственно, в другой оплате, чем быть понятным. Злоба, гонения, муки — все это только побуждает его дух к труду, тогда-то и хочется работать. Заслуженная злоба, ненависть, неуважение такому человеку так же приятны, как заслуженное уважение. Страдать за истину, за правду не означает, собственно, страдать. Страдать означает — льстить, лицемерить, обманывать себя, свою совесть, свое сердце, продать

свой разум. Вы думаете, быть льстецом, фальшивым человеком — это легкая, простая работа? Боже упаси! Это так же трудно, как быть вором. Льстец, лицемер, притворщик — что воры. Они вынуждены всегда бояться, быть настороже. Неужто вы верите, что все мои гонители, все мои мучители — религиозны, по-настоящему набожны и счастливы? О нет, нет! Определенная часть из них преследует, истязает меня исключительно из зависти. Ведь это просто: они чувствуют себя пустыми, невежественными, никому не нужными людьми, их терзает, что на свете существует разумный человек, который знает им цену, видит их насквозь и глядит на них открытыми глазами. Они боятся открытых глаз, как летучие мыши — лучей сияющего солнца.

— Действительно, герр Гутман, вы с вашими качествами и добрыми помыслами поистине достойны удивления, вам и в самом деле можно позавидовать. А знаете, зачем я, собственно, пришел к вам? Вы мне не раз говорили, что вам нужен мальчик, который был бы у вас на посылках. Мне встретился такой, и я привел его к вам. Кажется, честный мальчик, хотя и глуповат, неотесан.

Я почти целиком понял этот разговор [1], то есть не общую мысль, не смысл сказанного — это было выше моего разумения,— я понимал лишь слова. Многие слова были наши, еврейские слова, а о значении немецких слов я догадывался,— разъезжая с кантором, я встречался с людьми, говорившими на множестве разных наречий. Сам кантор, когда это было ему вы-

---

[1] Вышеприведенный диалог изобиловал немецкими оборотами речи.

годно, любил вкрапливать в свою речь немецкие слова и произносить обыкновенные наши слова не так, как их произносим мы, простонародье,— то есть там, где мы окаем, он акал. Талмудтора тоже дала мне кое-какие познания в немецком,— переводя из пятикнижия, мы прибегали к немецкому языку. В галантерейной лавке я перенял несколько немецких слов от старших приказчиков, которые в разговоре с иными покупателями вдруг переходили на немецкий диалект. Да и кроме всего прочего, все евреи понимают по-немецки. Это все-таки основа их родного языка...

Дверь внезапно отворилась, и меня позвали в комнату. Тот, с кем я пришел сюда, вижу, сидит без шапки, а «немец» берет меня за руку и говорит весьма дружелюбно:

— Ну, милый молодой человек! Хочешь получить приют в моем доме? Никаких трудных занятий у тебя тут не будет. Тебе придется выполнять самые обыкновенные работы и иногда кой-куда сходить по моему поручению.

Я таращил глаза и как-то так простодушно глядел, что «немец» не мог удержаться от улыбки. Он мне, однако, очень понравился. Его лицо было такое доброе, и говорил он со мной так дружелюбно, не то что все другие, например — портной, кантор, даже, пожалуй, родная мать. Смотрел он на меня хорошо, спокойно, чем сразу расположил к себе. Я потянулся к своей смушковой шапчонке (я всегда носил смушковую шапчонку — и зимой и летом, даже в самую большую жару, когда ходил босиком), слегка приподнял ее, подержал над головой, снова надел, потом сдвинул набок, передвинул, натянул на лоб, отдернул на макушку, а другой рукой пощупал свои пейсы и почесал

затылок. Я просто не знал, что мне делать со своей головой и шапчонкой, пока наконец не набрался духу и, поручив себя божьей воле, резко сорвал шапчонку с головы. В ту же минуту я почувствовал, что мою обнаженную голову обвевает прохладный ветерок, как если бы меня остригли. Я не мог удержаться, чтобы каждую минуту не потрогать свою голову. Мне это казалось странным, диким,— совсем как в бане!

— Ну, милое дитя мое,— проговорил «немец» и положил мне руку на плечо,— ты хороший юноша! Как тебя звать?

Я стоял ошалелый, совсем как когда-то перед тем «немцем», что посетил талмудтору: открыл рот, вылупил глаза и выглядел чучело чучелом.

— Как тебя звать? — повторил «немец» свой вопрос.

— А я почем знаю!

— Как так? Ты не знаешь, как тебя звать? Кто же тогда знает?

— Мать,— ответил я,— называла меня Ицхок-Авромце, меламед в талмудторе — Ице-Авремеле, портной — шельмец Ицик-Авремл, сапожник, когда я таскал помойный ушат, подбодряя, называл меня Иценю-Авременю, а кантор — Авремка. Откуда же мне знать, как мое имя?

— Ты прав,— проговорил, улыбаясь, «немец»,— но семи имен, как у библейского Иофора, у тебя нет. У тебя только одно спаренное имя: Ицхок-Авраам — очень красивое имя, в память о наших праотцах. Я так и буду тебя называть — Изак-Абрагам. Ну, скажи, хочешь ли остаться у меня, Абрагам?

— Только бы вы меня не избивали, не колотили. У меня уже, право, и косточки целой нет.

На глазах у «немца» выступили слезы.

Он взял меня за плечи и, глядя прямо в лицо, сказал:

— Бедняжка, бедняжка! Он, видно, очень много выстрадал. Так молод, а у него, у бедняжки, уже ни единой косточки целой нет! Да, да! — обратился он к моему благодетелю.— Он и вправду туп, очень наивен, простодушен, но хороший юноша!

Тот в ответ молчал и только поглаживал усы.

— Нет! — снова заговорил «немец», обращаясь ко мне.— Я тебя, честное слово, не трону. Ты ведь такой же человек, как и я, а кроме того, ты еще и одинок. Будь спокоен, я тебя не буду бить. Ну, остаешься ты у меня?

— Да! — ответил я и остался у «немца».

11

«Немец», к сожалению, был очень беден, но бедность в его доме не имела власти, не проявлялась своей неопрятностью, неряшеством, опущенностью и всякими прочими уродливыми признаками нищеты, как это обычно бывает во всех других, а в особенности в еврейских бедных, а то и просто не слишком состоятельных домах. В доме у него был порядок, все на своем месте. Каждый уголок светился, сверкал чистотой. Мадам, его жена, следила за каждой мелочью, ни минуты не сидела сложа руки: варила, пекла, чистила, белила, подкрашивала, шила, чинила белье, и при всех этих занятиях, которые иных озлобляют, она всегда была кротка, спокойна, лицо ее всегда оставалось благодушным. На все у нее хватало времени.

Как бы она ни была поглощена своим хозяйством, она тем не менее находила время взять книгу в руки, почитать, узнать, что нового на белом свете. Муж в ее глазах был существом высшего порядка. Она питала величайшее благоговение к нему и к его писательскому труду, ограждала от малейших волнений, которые могли бы стать помехой в его работе, и жили они поистине душа в душу. Их старшая дочь — красивая, нежная — помогала матери: стирала, гладила, делала все по дому и прекрасно вязала. Она имела лишь одно платье на смену, но каким безупречно чистым оно всегда было, казалось новехоньким, только-только сшитым! Каждый день в определенные часы она следила за занятиями своих двух младших сестренок, причесывала их, опрятно одевала, занималась их воспитанием и образованием. Старший сын учился в университете и часто посылал оттуда родителям теплые письма, утешал их и просил не слишком тревожиться, не слишком расстраиваться, что они не в состоянии сколько-нибудь помочь ему деньгами. Правда, ему приходится туговато, он терпит лишения, однако, надеется, что все как-нибудь обойдется и он не умрет с голоду. «Не огорчайтесь,— заканчивал он свое письмо утешением,— то, что дали мне вы, не дали своим детям иные богатые родители: вы дали мне нечто большее, чем деньги: вы меня учили, воспитали мой разум; вы взрастили благородные стремления в моем сердце, заложили во мне добрые чувства: любовь к людям, сострадание к бедным, несчастным, приучили меня довольствоваться малым, переносить лишения, трудные времена, не теряя бодрости духа,— все те прекрасные качества, которых богатые родители при помощи всех

своих денег и всего своего состояния не могут дать своим детям ..» Эти письма сына в доме часто читали вслух, радовались и в то же время заливались слезами. Короче, это была чудесная, редкостная семья. Но тогда у меня еще далеко не хватало ума разобраться во всем с той ясностью, с какой я это сейчас описываю; я только чувствовал, что Гутман и его жена — люди совсем иного склада, чем, к примеру, портной Лейзер с Лейзерихой, меламед реб Азриел со своей супругой и даже богатый галантерейщик со своей толстой, здоровенной галантерейщицей, которая всеми помыкала, благо язык удержу не знал, носила шелковое платье, жемчужные ожерелья, а вид имела самый неопрятный. Я видел, что этот дом непохож на другие, да что и говорить, совсем не те еврейские запущенные, хилые детишки; но понять по существу и верно оценить все достоинства семьи этого «немца» моему уму было еще тогда не под силу.

Хозяин днем и ночью сидел в своей комнате. На столе и под столом вокруг него валялись книги, а он все писал. Он был очень поглощен своим делом, отдавался ему телом и душой; было видно, что он буквально живет им. При этом он иногда говорил сам с собой, смеялся или скрежетал зубами, будто вел бог весть с кем какой-то спор. Если его в такую минуту прерывали посторонним делом, он вздрагивал от неожиданности, точно его сбрасывали с неба на землю, глядел растерянно и отвечал невпопад, ни к селу ни к городу. Я не раз уходил, пожимая плечами, так и не поняв, что он сказал. Чистить его сапоги мне не приходилось,— он очень редко выходил из дому. Но уж зато его халат и домашние туфли изнашивались очень быстро.

Главная моя работа состояла в том, чтобы сбегать куда-нибудь по поручению хозяина. Он часто посылал меня на почту, получать и отправлять письма или посылки. Иногда он посылал меня к кому-нибудь с запиской, с книгой или с иным подобным поручением. Казалось бы, по существу, пустяковая работа, не так ли? Очень легкое дело! Однако же нет! Другой такой неприятной, постыдно-трудной работы и не сыскать. Тот, кому я относил записку, бывало, так воротил нос, точно в него ударяло острым запахом свеженатертого хрена, и со злостью говорил, чтобы я пришел завтра, потом он откладывал на послезавтра. Послезавтра я не заставал его дома, а когда позднее приходил снова, он уже встречал меня криком: «Вот навязался этот мальчишка на мою голову. Избавиться от него невозможно!» Иной же попросту наказывал своим слугам не пускать меня на порог; третий, прочитав записку, мялся и уходил, не сказав ни слова; четвертый произносил: «Скажи твоему герру, что меня нет дома! Понял?..» Короче говоря, меня гнали, избегали, как прокаженного. Как только завидят, бывало, меня издали, с запиской или с книгой, так запирают перед моим носом дверь или натравливают на меня собаку — лакея... Видно было, что большинство хозяев, к которым я являлся, попросту приходят в ужас, лихорадка трясет их при виде книги, судороги им сводят руки и ноги. Чего они так боятся? Этого я тогда еще не мог понять. Если один из десяти, сжалившись, и принимал книгу, он тут же бросал ее к черту, куда-то под кровать или под скамью, а мне давал рваный целковый, без номера... Это была в моей жизни очень горькая пора. Желаю всем моим врагам подвергнуться такому испытанию — но-

сить книги еврейским богачам, выслушивать при этом их колкости, видеть, как они меняются в лице, распаляются, приходят в бешенство, и наблюдать их мрачные физиономии!

Мой благодетель, герр Якобзон, частенько приходил к хозяину поздно ночью, недолго сидел, беседовал. И когда меня не одолевала усталость, я иногда за дверью прислушивался к их разговору, просто так, чтобы провести время. Однажды я услышал, как Якобзон рассказывал о каком-то докторе Штейнгерце и чему-то очень удивлялся.

— Пустое,— отозвался Гутман,— чему вы так удивляетесь, герр Якобзон, что вас приводит в изумление? Доктор Штейнгерц — это же человечек, именно поэтому он так богат. Он же — душа всех и каждого. Разве это новость для вас? Разумеется, когда превращаешься в маленького человечка, достигаешь всего на свете.

Я затрепетал, услышав эти слова. Как так? Гутман, мой герр Гутман тоже говорит, что человечек — это душа. Что он — богат!! Потрясенный, я вскочил и схватился за голову в сильнейшем возбуждении. Как раз в эту минуту меня позвал Гутман и, увидев мое растерянное лицо, не удержался от улыбки. Мой благодетель посмотрел на меня, покачал головой и сказал: «Э-э! Он все еще такой же глупыш, такой же простачок, что и был!..»

Спустя короткое время я снова подслушал за дверью, как Якобзон говорил об Исере Варгере, о том, как богат он и счастлив, этот главный воротила в городе, а почет, которым он пользуется, и его могущество попросту сверхъестественны!

— Это очень просто,— сказал Гутман,— Исер

Варгер — человечек, он — душа нашего богача. Все это как раз в полном согласии с законами природы, все это очень естественно, и нечему тут удивляться.

— Да, ваша правда, хорошо живется на белом свете только человечкам! — проговорил Якобзон со вздохом, сразу же попрощался и ушел.

12

Добро пожаловать, человечек! Снова человечек, и опять-таки мои первые, давние мечты! Человечек был для меня желанным гостем. Как бы загаданный, он явился в самое подходящее время, когда я был разбит, пришиблен перенесенными невзгодами и рад был хоть в чем-нибудь найти успокоение. Всю ночь после того разговора я тревожно метался, ворочался с боку на бок и все размышлял про себя: «Исер Варгер — человечек, он — душа всех и каждого, к тому же богат и счастлив. Значит, по-видимому, если ты человечек, ты богат и счастлив! И по-видимому, как выясняется, человек может превращаться в человечка, стоит ему только захотеть. А когда он становится человечком, к нему приходят и богатство и счастье, он достигает всего, чего хочет. Следовательно, очевидно, я всегда был прав, мечтая стать человечком. Да, все это и вправду верно и, конечно, очень хорошо! Вопрос только в том, как стать человечком? Как осуществить это? Если я даже сожмусь, скорчусь, согнусь в три погибели, я все же не стану человечком. Как видно, стать человечком — это хитрая штука, поистине величайший фокус, куда более сложный, чем фокусы с обручем и иные комедиантские штучки. Здесь, несом-

ненно, кроется какая-то тайная премудрость, потому что иначе все смогли бы стать человечками, душонками, богатыми и счастливыми людьми!..»

Этим размышлениям я предавался очень долго. Все думал, обдумывал на своем ложе, и когда наконец уснул, мне приснились прекрасные, дивные сны.

Снилось мне, что я встретил на улице человечка; он вытворял всякие штуки — вертелся волчком, шнырял то туда, то сюда. Вот он подскакивает к синагогальному приделу [1], подбирается к собравшимся там людям, паясничает и разыгрывает с ними, бедняжками, комедию. Люди не заставляют себя долго упрашивать, раскошеливаются и щедро расплачиваются за проделки... Отсюда он, человечек, значит, забрался за пазуху к откупщику сборов, славно пощекотал его, и оба смеялись,— что-то доставляло им невыразимое наслаждение, и тотчас же он, словно его позолотили, выскочил из кармана откупщика, который три раза сплюнул и сразу приделал себе новые карманы!.. Из кармана откупщика человечек впрыгнул в рот к двум милым созданиям, усевшимся установить справочные цены на мясо. Они только что были готовы произнести: сорок пять грошей за óко [2]....А человечек, ухватив их язык своей ручонкой, будто смазал чем-то, и они, эти милые создания, поперхнулись и неожиданно произнесли: «Шестьдесят!..» Из их рта он, точно бесенок, махнул и вцепился в какого-то богача, крутил, вертел его, проделывал с ним разные штуки и превратил в кожаное дышло... Кожаное дышло

[1] Синагогальный придел — особая пристройка к синагоге, куда люди сходились для решения общинных вопросов.

[2] Óко — вес в три фунта.

обратилось в пронырливую мешалку. Мешалка стала талескотоном, потом кургузым сюртучком, и вдруг человечек оказался сидящим верхом на общинном козле, на главном заправиле, пасущемся, разумеется, среди стада городских скотин!.. Одним словом, человечек усердствовал, выделывал разное, и все, что он творил, получалось как-то очень хорошо. Я ему так завидовал, что начал съеживаться, подобрал под себя ноги, скорчился, сжался, задержал дыхание, пока не перестал думать, чувствовать, видеть и слышать, и вдруг — о, счастье! — я сам человечек, маленький, как блоха! Мне стало очень хорошо, я почувствовал облегчение, покой разлился по всему телу. И сразу же стал я душою всех и каждого, общим любимцем, и счастье валило ко мне со всех сторон. Я разъезжал в карете, наряженный, как сановник, мне все воздавали почести, преподносили все, что есть лучшего, прекрасного. Мне везло! Я делал все, что хотел, весь город водил за нос. Каждый издали тыкал в меня пальцем: «Смотрите, смотрите! Вот разъезжает он, душа наша! Вот шествует он, душа наша! Вот о чем-то там глаголет он, душа наша! Ах, ах, полюбуйтесь только на него, на душу нашу! Тише! Что-то нам скажет он, душа наша? Как, у вас имеются деньги на приданое? Сдайте их на хранение ему, душе нашей! У вас есть какая-то тяжба, разбирательство? Обратитесь, право, к нему, к душе нашей! Вы, может, нуждаетесь в какой-нибудь услуге? За услугой — только к нему, к душе нашей! Умница, советчик, авторитет, делец, староста синагоги, сборщик пожертвований — все это только он, душа наша!..»

Внезапно я начал распрямляться, вытягиваться, все светлее и светлее становилось глазам, и — добрый

день тебе, шельмец Ицик-Авремл! Я сам, собственной персоной, лежу на моем ложе, точно в наследной вотчине. Щупаю себя — там, тут. Да, честное слово,— это я! Я, неудачник, во весь свой рост и во всем своем величии. Откуда, думаю, я здесь вдруг взялся? Ах, и ненавидел же я себя за то, что проснулся, и за то, что это был — я, тот самый, прежний!..

Ничего, думал я потом, дознаюсь, как становятся человечком, пусть мне это жизни стоит, но дознаюсь. И стал я тут рассуждать таким образом: ведь приснилось мне, что я стал человечком — богатым, счастливым и главным заправилой в городе, кажется, именно тогда, когда я перестал думать, чувствовать, видеть и слышать. Выходит, значит, что нельзя стать человечком иначе, чем перестав думать и чувствовать, то есть надо просто-напросто совершенно ничего не думать, вовсе ничего не чувствовать. Пусть люди хоть гибнут из-за тебя, пусть хоть сами себя убивают. Но что же для этого нужно сделать? Каким образом перестать думать и чувствовать? Вот в этом-то и вся загвоздка, вот тут-то и собака зарыта! И меня осенило: надо спросить у моего герра. Но я сразу же одумался: как же так?! Знай Гутман этот секрет, он бы давно сам стал человечком! Он был бы богат, не мучился бы так, не терпел бы нужды, не приходилось бы ему унижаться, рассылать книжки и быть в зависимости от каждого. Я обдумал этот вопрос со всех сторон, да так и остался ни с чем.

Весь день я потом ходил сам не свой, у меня раскалывалась голова, не знал, на каком я свете и что делаю. За что ни брался, все валилось из рук. Я в тот день разбил два чайных стакана, уронил на пол фарфоровые тарелки, опрокинул чернильницу, разо-

гревая самовар, все перепутал: в резервуар для воды насыпал углей, а в трубу налил воду. Все в доме с удивлением глядели на меня, шушукались, чувствовали, видимо, что со мною что-то неладно. Гутман, показав на меня своей мадам, прикоснулся пальцем ко лбу и тихо проговорил: «У мальчика в голове что-то не в порядке. У него и всегда глуповато-растерянный вид, но сегодня он выглядит растерянней обычного; он, бедняжка, очень забит, к тому же он еще совсем ребенок!..»

Долгое время я был почему-то зол, как десять чертей; все меня раздражало, злился на себя и на весь мир. Сердце мое усиленно билось, в голове шумело, грохотало, точно на мельнице, и чей-то голос все твердил мне: «Ицхок-Авром! Какой из тебя выйдет толк? До каких пор тебе скитаться и мучиться? Стань человечком, Ицхок-Авром! Сделай все, что можешь, и стань человечком, будешь жить счастливо, в богатстве, в почете, расправишь свои косточки!..» Этот голос ни на миг не переставал сверлить мой мозг. Я ходил как потерянный, как полоумный и все не мог придумать, что делать, с чего начать? Вдруг у меня молнией блеснула мысль — надо наняться лакеем к доктору Штейнгерцу! Там я хорошенько присмотрюсь, выведаю каждую мелочь и со временем доберусь до тайны — как стать человечком.

Надо быть таким несчастным, таким забитым мальчонкой, как я, чтобы понять, что тогда творилось в моем сердце и какие небывало сильные чувства пробудила во мне эта мысль. На белом свете всякий, даже тот, кто серьезно смотрит на вещи, разбирается в житейских делах, имеет, как я позднее в этом убедился, свои чудачества, свои странности, свои глупо-

сти, безумия, которые он сам себе внушает и к которым он привержен всем сердцем. При этом причуды одного кажутся другому дикими. Никто не может войти в положение другого и сносить его глупости. Каждый берет в качестве примера только себя, один смеется над другим, и все — сумасброды!..

Я подыскал маклера, пообещал щедро вознаградить его, только бы он устроил меня слугой к доктору Штейнгерцу. Прошло немного времени, и я ушел, почти сбежал от моего доброго герра Гутмана, даже не попрощавшись с ним. Я перешел на мое новое место — к доктору!

13

С того дня как я впервые переступил порог дома доктора Штейнгерца, я напоминал собой клопа, который забирается в кровать и терпеливо просиживает там целый день в ожидании минуты, когда люди, управившись со всеми своими делами, улягутся в кровать и он наконец сможет свести с ними знакомство, промыслить немного насчет пропитания. Да и весь смысл его появления здесь — это пропитание, желание чем-нибудь поживиться, получить возможность присосаться к людям, к этим милым созданиям... Доктору Штейнгерцу, расторопному человеку, поглощенному какими-то очень важными делами, загребавшему золото со всех сторон, и в голову не приходило, что сегодня утром к нему забрался один такой клоп — шельмец Ицик-Авремл, который будет зорко подглядывать за всеми его повадками, чтобы

перенять его хватку в добыче пропитания и научиться у него искусству превращаться в человечка.

Целый день я работал, выполнял все, что мне поручала мадам, а в душе потихоньку ждал: ой, скорей бы мне увидеть маленького доктора! Вечером вдруг открылась дверь, и вошел высокий человек, верзила с большим животом. Увидев верзилу, я простодушно, по моему обыкновению, уставился на него. Верзиле это не понравилось. Он пронзил меня взглядом и сердито рявкнул:

— Что ты так смотришь, болван?

Таких слов я еще никогда не слыхивал и растерялся. Я задрожал, затрясся и заговорил, сам не понимая, о чем лопочет мой язык:

— Меня звать... Ицик-Авремл звать меня... Авремка!.. Я сирота... Я здесь... Слуга я тут!..

— Видно, что ты большой дурак! — ответил верзила.— Так вот, с сегодняшнего дня смотри — как только я приду, быстро снимай с меня шубу и галоши, слышишь?

Я так испугался его, что бросился на пол и обхватил ручонками здоровенные ноги детины, пытаясь снять галоши. Бог мне помог благополучно выдержать это испытание. Верзила вошел в зал. Немного позднее я внес в зал самовар и весь вечер обслуживал этого субъекта и мадам.

Ночью на моем ложе я все размышлял: кто бы он мог быть, этот самый господин с большим животом? Целую ночь сидят они вдвоем с мадам и любезничают, он ей — любушка, она ему в ответ — котик. С какой такой стати «котик»? А где он, удивляюсь я, где доктор?

Несколько дней подряд нам наносил визиты этот

толстяк. Когда он выходил или входил, я вытягивался на полу, чтобы надеть или снять с него галоши. Он в это время упирал руки в бока и горделиво глядел в потолок. Его ни чуточки не трогало, что он своими толстыми ногами, точно копытами, отдавливал мне пальцы. Я все еще не мог понять, кто он такой, этот здоровенный толстый мужчина?

Однажды вечером, управившись со всеми моими делами и предоставив «котику» резвиться со своей «любушкой», я спустился вниз на кухню, чтобы поближе познакомиться с кухаркой, и, придав своему лицу жалобное выражение, спросил:

— Скажите мне, пожалуйста, Двося, кто он, этот вот самый, что часто приходит в гости? Почему он запанибрата с мадам и спит... в спальне?

— Что, что? — спросила кухарка, глядя на меня с удивлением.— О ком ты говоришь? Как так — кто-то спит в спальне? Почему «кто-то»?

— Честное слово! — начал я клясться.— Дай мне бог так стать на ноги, сподобиться услышать рог мессии [1], как я сам, своими глазами видел, своими ушами слышал, что он вошел туда! Пошли нам с вами бог здоровья и счастья, не вру! И величает она его там не то котом, не то котиком, черт его знает!

— Ну, а хозяин? — спросила кухарка с повеселевшим личиком, и в глазах ее разгорелся огонек, совсем как тот, при котором в печи румянятся халы.

— Хозяин?..— ответил я и при этом несколько замялся, как человек, которого мучает что-то, чего он

[1] Услышать рог мессии.— Согласно еврейской религиозной легенде, появление мессии (божьего помазанника) будет оповещено звуком бараньего рога. Приведенная клятва означает: дожить бы до прихода мессии.

не хочет высказать другому.— Хозяин, по-видимому, не ночует дома. Он, не иначе, уехал куда-то по своим делам...

— Ну, раз такая история,— сказала кухарка с каким-то лукавым смешком,— я не прочь сама подняться и посмотреть. Я уж найду какой-нибудь предлог... Стоит, право, убедиться, что мадамы не лучше служанок... И пусть они не корчат из себя скромниц!

Через несколько минут кухарка вернулась назад вся раскрасневшаяся, точно охваченная пламенем, разверзла пасть и осыпала меня градом страшных проклятий:

— Ах ты мерзавец, негодяй ты этакий! Ты же заслужил, чтобы тебя разорвали... В клочья разодрали! Неслыханное нахальство сопляка, протухшей душонки! Ах ты падаль червивая! Пусть вся эта мерзость к тебе и к душе твоей на всю жизнь прилипнет, Авром-наглец! Все несчастья, предначертанные мне и всему народу нашему, господи боже, пусть обрушатся на твою голову! Задохнуться бы тебе, боже милостивый! Подохнуть бы тебе и вовеки из мертвых не воскреснуть, владыка небесный! Такой молодой, а уже умеет целый дом взбаламутить сплетнями! Весь век бы тебе на мягком не лежать,— ведь это же сам барин сидит там с мадам в спальне!

— Бог с вами, Двося! Что вы такое говорите? — пытался я оправдаться перед кухаркой.— Одумайтесь только, Двося, что вы такое говорите! Как так? Этот высокий верзила, вот этот брюхатый толстяк...

— Черт бы побрал тебя и всех твоих предков до седьмого колена, мерзавец ты этакий! — еще громче раскричалась кухарка и, завизжав, схватила кочергу.— Как ты смеешь, негодяй, называть хозяина...

Верзилой называть, негодяй! Вон отсюда, или я тебе голову размозжу!

Я мигом убрался из кухни и снова бесшумно поднялся наверх. Улегшись спать на свое место в передней, я от великого потрясения не мог сомкнуть глаз, все думал: что же я тут слышу и вижу? Доктор-то, оказывается, большой, высокий, толстый! Почему же Гутман говорил, что он человечек? Неужели Гутман солгал, так грубо солгал? Нет, не может быть! Гутман никогда никого не обманывал, все, что говорил Гутман, всегда было правдой. Что же здесь творится? Тут, конечно, что-то не так... Уж не кроется ли тут какое-нибудь колдовство? Раз человек может представиться волком, вурдалаком, принимать различные обличья — а уж это дело достоверное, ясное как день: я много раз слышал об этом от старых людей с седыми бородами,— то не так уж трудно поверить, что человек может превратиться в человечка и таким образом добиться счастья! Так, так... Итак: раз человек может стать волком, диким зверем, который бегает и воет, пожирает всех, кого встречает на пути, то оборотиться в человечка ему не так уж трудно. Ведь он останется при прежнем обличье, с тем же самым лицом, что и раньше, только из большого станет маленьким... Да, слава богу, я выбираюсь, кажется, на верный путь. Все дело, видимо, кроется в какой-то штучке, в каком-то фокусе! Надо это обдумать, хорошенько понаблюдать и, пусть хоть весь мир прахом пойдет, разгадать секрет!

На этой новой мысли мой детский разум, как видите, укрепился и уже сделал следующий шаг. Прежде моя вера в человечка была несуразна, ребячлива: просто-напросто на свет являются готовые человечки.

Теперь же она стала возвышенной, облагороженной, она приобрела какой-то смысл и силу, духовное начало было в ней уже связано с законами естества, и означало это: все люди являются в мир такими, какие они есть, но часть людей умеет превращаться в человечков при помощи колдовства, чертей... Тут уже лежит какая-то сверхъестественная сила!..

Когда я несколько дней спустя стоял за дверью, ведущей из передней в кабинет доктора, мне довелось услышать такой разговор между доктором и его фельдшером:

— Эта неделя, доктор, была у вас, не сглазить бы, очень хорошая. Я ради вас, грех жаловаться, много стараюсь. Все, что от меня зависит, усердно делаю. Где только можно, я раструбил о вашем великом мастерстве, чуть что, советую вызывать вас, только вас. А вы для меня, доктор, палец о палец не ударяете.

— Что ты говоришь, Гецл? Как так? А вчера, только вчера?

— Что вчера? Что такое, доктор, было вчера?

— У тебя короткая память! Ты, видно, забыл, Гецл! А ради кого велел я вчерашнему больному поставить тридцать пиявок? Он, между нами говоря, так же нуждался в твоих пиявках, как и мы с тобой. Было бы вполне достаточно приложить мокрую тряпку к голове. Фу, стыдно тебе, право, Гецл! Только ради тебя я вчера действительно сделался маленьким человечком!..

— Вы, доктор, только вчера были человечком, как вы говорите, а я всегда ваш человечек — и позавчера, и вчера, и сегодня. Между нами говоря, разве сегодняшнему больному нужен был доктор? У него просто насморк, и, только послушавшись моего совета, он вы-

звал вас... Значит, есть надежда, что он еще две недели будет вас приглашать, и по два раза в день. Ничего, не страшно: он богат, этот боров, и вполне может прохворать пару недель...

— Ну, так чего же ты хочешь, Гецл?

— У меня много пиявок! Пиявки, доктор!

— Будь спокоен, Гецл! Ты будешь ставить ему пиявки. Постой! Но доброкачественный ли у тебя товар, Гецл? Ты ведь знаешь, я очень строг в этих вещах...

— Свеженькие пиявочки, доктор, бог мне свидетель! Я и сам избегаю обманывать других...

«Э-ге-ге! Так вот как дело обстоит! — думал я про себя, после того как услышал весь этот разговор и хорошенько разобрался в нем, лежа ночью на своей кровати.— Судя по тому, что я тут слышу и вижу, человека называют человечком не просто потому, что он мал ростом, как я, глупенький, думал раньше. Можно, оказывается, быть большим, даже очень большим, и одновременно маленьким человечком». Я постиг, что быть человечком,— значит, присасываться и пить чужую кровь, жить обманом... Так вот где собака зарыта! Теперь я начал понемногу все как следует понимать, набираться ума-разума. Вот что значит пообтесаться среди людей на белом свете! Но легче ли мне от того, что я узнал этот секрет; ведь я же не доктор, не фельдшер, не умею ставить пиявки. Необходимо искать какой-то другой способ. Что-то в том же роде, но на иной манер,— и присосаться к чему-то, и вместе с тем не просто сосать кровь. Существует, вероятно, и много других способов, о которых надо дознаться. В этом доме мне уже больше делать нечего. Как же быть дальше? Ага! У меня вдруг блеснула мысль: быть может, Исер Варгер? Право, гово-



рю я сам себе, это дельно. Надо пролезть к Исеру Варгеру, честное слово, к Исеру Варгеру! Сердце подсказывает мне: к нему, к Исеру Варгеру! Исер Варгер ведь тоже — человечек, и с очень большим размахом, а?!

Такого рода мысли завладели мной и не давали спать почти всю ночь. В эту ночь я стал старше на несколько лет, почувствовал в себе какую-то перемену. Назавтра я не мешкая разыскал своего знакомого маклера, пообещал вознаградить его еще щедрей, чем прежде, и через несколько дней он всучил меня Исеру Варгеру».

14

— Одно только слово, ребе[1], не помешаю!.. А? Что? Можно мне? — вдруг прерывает чтение чей-то громкий голос из-за двери, и тотчас же, не дождавшись ответа, в комнату вваливается упитанный человек с обросшим лицом, без кафтана, в заплатанной фуфайке, из-под которой выглядывают обрывки болтающихся у коленей засаленных цицес, в грубых, прошу прощения, портках, огромных сапожищах, покрытых толстым слоем грязи, возможно еще прошлогодней, издававших едкий запах пота и дегтя.

— А, Беня! — произносит раввин, взглянув на эту фигуру.— Что ты скажешь, Беня?

— Что мне сказать? — отвечает Беня, почесав затылок.— Так, ничего... Говорю, деньги за месяц я уже у раввинши забрал. Воду еще вчера ночью шесть раз

---

[1] Ребе — здесь: раввин

привез, всю ночь вчера имел дело — возил. Кончина Ицхок-Аврома меня — ну и ну! — здорово подвела. Мои расчудесные хозяева, что по соседству с ним, воду вылили [1], остались без воды... Ну, нет воды, невозможно варить... Кто виноват? Водовоз виноват. Тому хочется умереть, ну ладно... Так нет же! На чью голову это валится? На водовоза, на его голову. Ходи, езди, вози им, провались они сквозь землю! Вози им воду. Всю ночь не спал. Уже засветло, только я задремал, подходит мать, жить ей долгие годы, будит меня: «Беня, Беня! Вставай, запри за мной дверь. Беня, я к первой молитве иду, а из синагоги, Беня, пойду на кладбище, поминки сегодня у меня. На загнетке варится горшок кулеша, я поставила, присмотри за ним». Выпроваживаю мать и ложусь. Дремлю, слышу — пик-пик-пик. Петух с курами, провались они сквозь землю, стоят на столе, клюют ломоть хлеба, клюют вовсю. «Киш!» — кричу. Киш — раз, киш — два; что понимают куры? Клюют себе. Тут как раз, пропади она пропадом, подвернулась деревянная ложка, мясная...[2] Я — хвать ложку и — к курам. Слышу — что-то выкипает на загнетке, вот я ложкой мясной не в кур — а в молочный горшок... И вот тебе незадача! Как же быть, ребе? Разве ложка мясная? На ней еще нет и трех щербин, совсем как молочная ложка. Мясного, честное слово, ею не ел, боже упаси!

---

[1] Религиозные евреи полагают, что смерть наступает тогда, когда меч ангела смерти соприкасается с телом человека. Покидая умершего, ангел смерти омывает свой меч в воде, хранящейся в бочках и горшках соседних домов. Эту воду, по предписаниям религии, полагается вылить.

[2] Согласно еврейской религии, полагается иметь отдельно посуду для молочной и мясной пищи.

Клянусь здоровьем! А горшок молочный потому, что всегда с загнетки ставится на молочную скамью[1]. Ведь с тех пор, как моя коза подохла, нет мне молока, кукиш мне, а не молоко! Вот, ребе, и разрешите мой вопрос!

— А велик ли горшок? — спрашивает раввин.

— Больше моей головы,— отвечает Беня,— может, с ведро; я из него наедаюсь до отвала, потом работаю целый день без харча.

— Кошер![2] — решает раввин.

Беня выходит, и вбегает женщина с криком, с плачем:

— Ребе, сил моих больше нет выдержать такое! Вы, конечно, только хорошего желали, дорогой ребе, когда наладили нашу жизнь, не допустили до развода, но — врагам моим пожелаю такую жизнь. Ваши золотые слова отскочили от него как горох от стенки. Разве он прислушивается к тому, что целый мир говорит? Он делает свое и изводит меня до смерти. Я унижаюсь, беру в долг, скупаю на базаре яйца, кур, только бы что-нибудь заработать, только бы поддержать голодных, оборванных, ободранных детишек, а он... Он знать ничего не знает, кроме своей хасидарни[3], где проводит целые дни со своими друзьями. Пьют, болтают, рассказывают сказки, а домой он является на все готовенькое. Глянул бы хоть раз на детей, хотя бы для виду спросил, как они поживают. Ему вообще до них дела нет, точно они ему чужие.

---

[1] Молочная скамья — на которой готовилась только молочная пища.

[2] Кошер — дозволенное религией к употреблению.

[3] Хасидарня — место, где собираются хасиды.

Мне никогда доброго слова не скажет, точно я ему запродана, точно я служанка, недостойная даже прислуживать ему. Только и слышу: «Безмозглая дура! Отребье!» Под праздник уезжает он к своему ребе[1], забирает у меня последнее и валандается там с компанией таких же, как и он. Трогало бы его хоть немного, что у него есть дом, жена и дети, что они часто сидят без куска хлеба, горе мыкают, бедняжки. А посмей я хоть словом возразить ему, он стращает, что бросит, оставит меня, докажет свое старшинство, докажет, чего стоит женщина. Женщина, говорит он, никчемное, никудышное существо! Сегодня утром приходит из молельни: в доме холод, хоть волком вой, уже больше двух дней, как из моей трубы дыма не видать. Дети дрожат, трясутся, просят есть, а маленький в колыбельке уже охрип от крика; я бедняжку грудью не кормлю: нет у меня в груди молока. Да и откуда ему взяться, когда я уже два дня сохну, во рту ложки варева не было. «Дура! — говорит он мне торжественно.— Увяжи в узелок рубаху и субботний кафтан». Я поняла, что он собирается со своей компанией ехать «туда»: ведь скоро ханука. Горько стало у меня на сердце, очень горько, я возьми и скажи ему: «Душегуб ты этакий! О чем же ты думаешь? Взглянул бы ты хоть на своих детей, как они чахнут, страдают, а твоя голова забита пустыми, глупыми затеями! Так уж и быть, жена, говоришь, никчемное существо, дура, баба, сука, но дети,— кричу я,— твои дети!..» Только я ему все это высказала, как налетел он на меня со злостью, с криком: «Ах ты дура! Ты смеешь так бранить меня, называть глупостями свя-

[1] Ребе — здесь: глава хасидов.

тыни, которые не под силу твоему бабьему уму!.. Ах ты такая-сякая! Ну, на этот раз — конец! Я тебя навеки, вот именно навеки покидаю, и останешься ты себе на позор брошенной [1]. Ничего! Я мужчина, и тебя, отребье, я обязан проучить, чтобы ты поняла, что такое женщина...» Мало ему было того, что он мне наговорил, он меня еще исщипал. Вот смотрите, прошу прощения, как он исщипал мне руки; видите, все в синяках! Помогите, ребе, спасите меня! Пусть он даст мне развод. Сил моих больше нет выдержать такое!..

— Иди, иди домой! — говорит раввин мягким, дрожащим голосом, и глаза его делаются влажными от жалости.— Я сегодня же пошлю служку, чтобы он его ко мне привел.

Едва вышла эта женщина, вошла, шаркая шлепанцами, жена служки в накинутом на одно плечо халате. Под мышкой у нее была простыня.

— Бог в помощь! — прикоснувшись рукой к мезузе [2], обратилась она к раввину с благочестивым выражением на личике.— Хочу побеспокоить вас только на одну минуту, ребе, продли господь бог ваши дни, с вопросом по «женской части». Возьмите, ребе, пожалуйста, простыню.

Разрешив дело с простыней, раввин подошел к столу и начал читать далее.

---

[1] Брошенная — женщина, покинутая мужем без развода. Согласно еврейской религии, женщина, не получившая развода, не может вторично выйти замуж.

[2] Мезуза — молитвенный амулет, прибитый к косяку двери. По представлению верующих, он предохранял дома от проникновения в них нечистой силы.

15

— «Исер Варгер был одним из самых видных хозяев в Цвуячице, все перед ним трепетали и гнулись в три погибели, всех бросало в дрожь при одном его слове. Ведь это, учтите, Исер, шутка ли сказать — сам Исер! Исер торговлей не занимался, палец о палец не ударял, и тем не менее в его доме всегда кипело точно в котле,— одни входили, другие выходили; все — от мала до велика — к реб Исеру. Вы, может, подумаете, что он был очень родовит, что у него были большие познания в священных книгах? Избави боже! Не то что не большие, но даже и не малые. Он едва-едва знал молитвы, был, как говорится, туговат по части текста, то есть прихрамывал в грамоте. И все же мешочек, в котором лежали его талес [1] и филактерии [2], был порядочной величины, скроен из нескольких нежных шкурок и обшит красной каймой. Там находился молитвенник «Дорога жизни», псалтырь и тому подобное. Рука у него к письму не имела сноровки, перо, как назло, ни за что не хотело ему повиноваться: он толкал его в одну сторону, а оно уползало в другую, куда вздумает, брызгало, делало кляксы, царапало, спотыкалось и вставало торчком. Ему, бедняге, великих трудов стоило каждое написанное слово, и, прежде чем из-под его руки черным по белому вырастала подпись «Исер», глаза у него вылезали на лоб, с него прямо-таки семь потов сходило. Рукавом рубахи или кафтана вытирал он лоб и сопел, точ-

[1] Талес — молитвенное облачение.

[2] Филактерии — кожаные коробочки с заключенными в них библейскими текстами. Во время молитвы филактерии надевают на лоб и левую руку.

но дрова колол. Но одно его достоинство следует отметить — к написанному им он не относился, как иные, слишком педантично, одна буква в его глазах не играла особо важной роли — стой спереди или сзади, а то и вовсе не стой, невелика беда: кому надо, тот догадается, не страшно! Если же порой кое-что и вызывало его сомнение, тут-то как раз перо и приходило ему на выручку — оно совершало рывок, спотыкалось, сажало кляксу, и тем самым устранялись все колебания.

Такова была, уж не взыщите, ученость Исера. Что же касается его родовитости, то тут и вовсе нечем похвастать. Он не происходил из высокой знати и в детстве лепешек с маслом не едал. В том-то и дело, что он, как я позднее в этом убедился, действительно был маленьким человечком и именно благодаря этому преуспел неизмеримо больше, чем иной, причастный к науке или торговле. Он был поистине душой цвуячицкого богача. Чуть что — Исер, Исер, Исер, только Исер! Исер был его душой, его ногой, его рукой, Исер был для него всем на свете, и поэтому, само собой разумеется, Исер был всеми уважаем, был первым заправилой в городе.

У этого реб Исера я научился очень многому. Он, именно он и был моим подлинным наставником. Он раскрыл мне глаза; он мне, как говорится, разжевал и положил в рот великое множество явлений, происходящих на белом свете, ответил на сложные вопросы, разъяснил диковины, загадки в нашем быту; он поставил меня на ноги, обтесал, отшлифовал, изготовил из меня законченное изделие. Короче, он указал мне дорогу и открыл секрет, как стать человечком».

Тут чтение опять прерывается. Входит жена рав-

вина и, не переставая говорить, останавливается перед мужем.

— Это не под силу выдержать,— говорит она, как бы немного сердясь,— полон дом, не сглазить бы. Все спрашивают: где раввин? Раввин, говорю, теперь занят. Никакие отговорки не помогают, всем нужно к раввину! И кого только там нет? Те двое, что вчера приходили на разбирательство,— тут! Банщик — тут! Кричит: если город не починит баню, он больше топить не будет, и где тогда возьмутся деньги на содержание раввина. Мясники опять здесь — принесли потроха на проверку! Этот — сборщик подаяний в память Меера-чудотворца [1], этот — из ешибота [2], тот — от погорельцев, тут же брошенная с тремя младенцами,— все, все тут! Не помогают никакие уговоры; к ним должен выйти сам раввин. Я даже показываться им больше не хочу.

Раввин поднимается с места и, извинившись, просит собравшихся подождать его немного.

— А, реб Менделе! Что у вас хорошего? — обращается ко мне жена раввина после того, как муж ее вышел из комнаты.— Давненько вас, реб Менделе, не было. Привезли ли вы и для нас, женщин, какие-нибудь новые душеспасительные книги?

— Для женщин — книги?! — усмехнулся один из богачей, тот, что с перекошенной кисло-сладкой физиономией.

— Мужчины полагают, что только ради них сле-

---

[1] Меер-чудотворец — один из законоучителей талмуда, живший во II веке нашей эры. В честь его памяти в религиозных еврейских домах были специальные кружки, куда бросали мелкие монеты для благотворительных целей.

[2] Ешибот — высшая еврейская религиозная школа.

дует печатать книги,— отзывается с обидой раввинша,— все ради них. У женщин нет души, они не люди, и ничего на свете им не нужно. Достаточно с них того, что они живут, беременеют, рожают детей, растят их, стряпают обеды, ухаживают за своими мужьями и сохнут от забот.

— Слава всевышнему, что привелось нам свидеться в добром здоровье,— отвечаю я,— не бойтесь: я про вас не забыл. Я привез вам новехонький молитвенник для женщин. Видите, уважаемая раввинша, вы напрасно обвиняете мужчин. Мы, право, помним о вас. Подойдите, пожалуйста, полюбуйтесь молитвами, которые понаделаны для вас. Чего вам еще надо? Мне кажется, вполне достаточно, больше чем достаточно понаделали для вас, женщин!.. Но не в этом суть.

— Ай-ай, раввинша! — подхватывает один из богачей со сладкой улыбочкой.— Вы хотите, ей-богу, восстановить жен против нас! Послушав вас, жены задерут нос, начнут требовать разных новинок и еще, чего доброго, захотят развестись с нами! Но раз уж пришлось к разговору, я вас спрашиваю, раввинша, скажите мне, дай вам бог здоровья, почему все-таки Соломон мудрый написал, что среди тысячи женщин он не видел ни одной достойной?

— Потому он ее и не видел,— нашлась раввинша,— что имел, простите, тысячу жен. У мужчин, которые хотят иметь много жен, не может быть ни одной достойной. Признайтесь, разве вы на их месте были бы лучше?

— Почему же,— вмешался в разговор еще один,— написано в наших книгах, что вся мудрость женщины заключена в веретено?

— А потому,— отвечает раввинша,— что это на-

писал мужчина. Конечно, вы мудрецы, раз вы, мужчины, властвуете и держите женщин, бедняжек, в своих руках! Сильнейший всегда и умен и прав. Как говорится: сколько смерть косит людей, а все же правота за ней. Но шутки в сторону. Спрашиваю вас: как вы объясните мне то, что мы знаем и видим своими глазами. Попробуйте опровергнуть! Разве мало мудрых женщин, пророчиц было у нас, евреев, когда-то в давние времена, и разве мало у нас, в наши времена, женщин умных, деловитых, стоящих гораздо выше иных мужчин? Мне кажется, что даже в нашем городе можно насчитать много женщин, уму и деловитости которых мужья обязаны всем — и почетом и богатством. Ничего бы путного из них не вышло, если бы не их жены. И тем не менее, приходится ли решать дело, касающееся общины, иное ли важное дело, выступают вперед именно те хозяева, которые на большее, чем, прошу прощения, держаться за женин подол, не способны. Женщины не ставятся ни во что, всему указчики — мужчины. Всюду мужчины, на собраниях — мужчины, в синагоге — мужчины, даже в баню, простите, и то закликают: мужчины, милости просим в баню!..

— Вы что-то сегодня, раввинша, очень взволнованы,— произносит все тот же богач,— в вас, похоже, говорит досада; вы, видимо, чем-то расстроены, вот и изливаете свой гнев на бедных мужчин!

— Что делать? — отвечает раввинша со вздохом, идущим из самой глубины сердца.— Когда речь заходит о нас, женщинах, и я задумываюсь о нашей тяжелой, горестной участи, во мне закипает кровь.

— Возьмите, пожалуйста,— улучив минуту, я подаю раввинше книгу жалобных молений, которую на-

щупал и вытащил из моего узла,— я знаю, вот эта жалобная молитва для вас хороша. Для вас, раввинша, эта молитва, право, очень хороша...

— Правда, правда, реб Менделе! — Раввинша покачала головой.— Книга жалобных излияний — единственное лекарство для нас, бедных женщин, для наших израненных сердец; это единственная возможность иногда выплакаться, излить свое горькое сердце в горячих потоках слез... Ведь это же такая боль, такая обида, что мужчины не понимают и не хотят сочувствовать нам; они насмехаются, высмеивают слезные молитвы женщин, не видят, что это наше единственное лекарство. Загляни они когда-нибудь в женскую синагогу, в субботу или в праздник, они увидели бы там множество несчастных женщин, которые еле вырвались из дому: этой досталась черная доля с мужем, та, горемычная, мужем брошена, у одной тяжелая беременность, другая удручена хилостью грудного младенца, который ночами ей спать не дает и изводит бедняжку, эта — с отекшими, обожженными за бесконечной стряпней руками, та — с исхудалым озабоченным лицом от тяжелой панщины, от вечного ярма. Все они, скорбные, пришибленные, стоят, бедняжки, вокруг чтицы, рыдают, плачут, подняв глаза к милосердному отцу небесному, умываются горькими слезами, всю душу в слезах изливают. Если бы вы, мужчины, увидели это своими собственными глазами, право, вы не посмели бы открыть рот, чтобы подтрунивать над жалобными молитвами женщин... Благодарю вас, реб Менделе! Спасибо, что не забыли меня. Я сейчас же пришлю вам стоимость этой книги.— Этими словами, обращенными ко мне, раввинша закончила разговор и тихо вышла.

Все мужчины в комнате притихли, словно язык у них отнялся. Речи раввинши погрузили и меня в мрачное раздумье. Я сидел, грустный, в уголке и вспоминал ее слова. Они были пропитаны острым горьким чувством, которое щемило мне сердце тем больше, чем больше я размышлял о них. У меня было такое ощущение, словно на моих глазах вскрыли живого человека, вынули теплое, еще трепещущее сердце и разрезали, пытаясь увидеть, что там внутри творится. Признаюсь, впервые в жизни довелось мне всерьез задуматься над печальным уделом женщин, понять и пожалеть их. Нечто подобное, кажется мне, должен испытывать каждый гуманный, образованный человек, когда он вдумывается в положение евреев, оценивает их по достоинству и сожалеет о муках, которые они, беспомощные, терпят от народов мира — сильных своих хозяев...

Собравшиеся в комнате приходят в движение и отвлекают меня от моих мыслей.

— Что вы так вздыхаете, реб Хоне? — произносит один из богачей и сам издает нечто похожее на вздох.

— Так, пустое, реб Бериш,— говорит реб Хоне, поморщившись,— не знаю, право, чего хочет от нас Ицхок-Авром своей историей. Тут попадаются такие слова, которые вообще ему не к лицу. Что скажете, реб Бериш, по поводу его колкостей? Вы же догадываетесь, куда они метят? Кто знает, сколько еще продлится это чтение, а у меня сегодня совсем нет времени,— сижу как на иголках.

— И я тоже сижу как на иголках,— отвечает реб Бериш,— насколько я могу догадаться, реб Хоне,— фу, фу! Такого я от Ицхок-Авроma не ждал! Он был, кажется, не глупым человеком и понимал дело... Быть

может, правильнее будет, если мы сейчас уйдем. Ведь мы занятые люди. Право же, послушайтесь меня, давайте уйдем.

— Избави боже, избави боже! — откликаются несколько богачей,— это будет означать, что мы сочли себя уязвленными. Наоборот, надо сидеть и выслушать все до конца. Самое верное сделать вид, что нас это не касается.

Реб Хоне снова вздыхает, а реб Бериш прикрывает рукою нос и ворчит про себя, как человек, который чем-то очень недоволен.

— Добрый день, добрый день! — весело и развязно произносит, войдя в комнату, реб Файвуш. Лицо его багрово, как у человека, который малость нализался.— Я был занят и никак не мог вырваться сюда раньше. В чем дело? — добавляет он, взглянув на богачей.— Чем вы так расстроены?

— А что случилось такого, реб Файвуш, что вы так веселы? — спрашивают в ответ богачи, словно не догадываясь, что он изрядно хлебнул со своими друзьями из погребального братства.

— Тут уже, по-видимому, все прочитали без меня,— говорит реб Файвуш,— жаль, право, что я не слышал. Это, должно быть, очень интересно.

— Всей вашей жизни такой бы интерес,— под нос себе ворчит реб Бериш.

— Не огорчайтесь, реб Файвуш, и для вас, думается, еще достаточно осталось,— утешает его с горькой усмешечкой тот, что с перекошенной кисло-сладкой физиономией.

— Добрый день, рабби! — торжественно обращается реб Файвуш к раввину, подошедшему к столу,— простите, рабби, что опоздал. До сих пор мотался из-за

Ицхок-Аврома. Братство только сейчас счастливо срядилось по поводу уплаты за его погребение. Обе стороны немного упирались, упрямились. Но правда была на стороне братства, и оно добилось своего. Чем же братству еще поживиться, если не таким жирным покойником? Жаль, право, рабби, что вы читали, а я ничего не слышал. Ах, ах, такая история, право, слаще меда! Я вчера просто наслаждался, слушая ее из ваших праведных уст. Конец, должно быть, совсем чудо из чудес. Жаль, право, что я немного опоздал, ах!

— Конечно, реб Файвуш,— отвечает раввин, усаживаясь на стул,— конечно, мы тут без вас довольно много прочитали, но ничего, еще осталось. Сейчас мы примемся за чтение и дочитаем все до самого конца.

16

Раввин не стал мешкать и начал читать далее:

— «Исер был по натуре замкнутый, скрытный человек, никогда нельзя было хоть сколько-нибудь догадаться, о чем он думает и как надо держаться с ним. Он не говорил того, что думал, и думал не то, что говорил. Жена и та ничего не знала о его делах: он всегда держался отчужденно от нее и детей. Все в доме ему повиновались,— он мало говорил, никого подолгу не убеждал, все должно было исполняться по первому его слову, без промедления, в ту же минуту. Его лицо во всякое время и при любых обстоятельствах выражало неизменно одно и то же: оно всегда было серьезно и как будто задумчиво. Никто никогда не слышал, чтобы он громко смеялся. Редко-редко на его сжатых губах появлялось какое-то подобие улыб-

ки, но эта кислая улыбка представляла собой не более чем едва заметное движение в уголке рта; на всем же лице не было даже и намека на улыбку; оно оставалось холодным как лед, а глаза — стеклянными, как и прежде.

Но был у Исера добрый друг, к которому он был привязан всей душой. С ним он разговаривал без тени притворства. С ним любил он проводить время за стаканом вина и подолгу беседовать. С ним Исер будто весь менялся и становился совсем непохож на себя. Перед ним ворота сердца Исера были распахнуты настежь, и этот добрый друг мог туда в любое время свободно войти, проникнуть во все тайны Исера. А что говорить, когда Исер бывал малость под хмельком, тогда он и вовсе обнажал свою душу и становился до конца откровенен — что на уме, то на языке. Обычно он забирался со своим другом к себе в комнату; там они уединялись, беседовали, и Исер изливал перед ним свое сердце. Но для меня все это не было секретом. Я уже давно пристрастился стоять за дверью и подслушивать все, о чем говорят.

Я хочу передать вам отрывки из разговоров Исера со своим другом, которые мне довелось подслушать. Это хоть немного объяснит вам жизненные установки Исера, его взгляды, которые я полностью перенял.

— Послушай-ка, братец! — заговорил однажды Исер Варгер, придя со своим другом малость навеселе и уединившись с ним в своей комнате,— послушай-ка, глупец ты этакий! Уверяю тебя, такого милого, такого доброго народа, как евреи, не найти на всем белом свете. Поистине прекрасный народ, золотой, честное слово! Из него можно вышибить копеечку...

— Скажи уж лучше, Исер,— глупый народ, таких дураков, как евреи, не найти на всем белом свете!

— Ты прав, друг мой! Что правда, то и впрямь правда. Такого милого, такого доброго, такого полезного, такого золотого, такого глупого народа, как наши божьи избранники, вовсе нету, нету, нету!

— С чего это ты, Исер, пустился восхвалять паству израилеву? Хватит болтовни! Расскажи лучше, чем окончилось сегодняшнее собрание?

— Какое собрание? Что ты болтаешь, друг мой!

— Развяжи язык, Исер! Что с тобой, забыл ты, что ли, о сегодняшнем сходбище касательно мяса?

— Ты сам не знаешь, что лопочешь, дурень этакий! Тоже нашел важное событие — сходбище! Подумаешь, оно имело такое же значение, принесло такие же плоды, как и все другие их собрания!.. Тебе бы там быть и полюбоваться на эту красоту. Я вошел туда и застал суматоху. Народ жужжал, жужжал— страх! — точно мухи! Я поразмыслил: к чему разводить церемонии с этим сборищем идиотов, и, недолго думая, громко проговорил, ни к кому не обращаясь: «Зачем шуметь? Что страшного, если мясо будет дороже на несколько грошей? Не такое уж несчастье! Поверьте мне, евреи, гораздо хуже, если откупщик сборов рассердится и, не дай бог, совсем откажется! Верьте мне, евреи, это так!» Ты думаешь, я знал, что говорю? Что нужно именно так, а не иначе? Ни-ни! А посмотрел бы ты, как несколько уважаемых хозяев, опытные люди, слывущие умницами, напустили на себя серьезность, ухватились за бородки и с глупой ужимкой откликнулись: «И вправду так, не о чем спорить, это так, несомненно так...» Все собравшиеся не нашли, что возразить, восприняли это как само

собой разумеющееся, как решенное дело, и остались стоять проглотив язык. Пусть бы отдали себе отчет, самих себя спросили: почему это так? Только один, отъявленный плут, редкостный мошенник, на которого я уже давно имею зуб, все не хотел поддаваться, все твердил: «Не такое уж несчастье, пожалуйста, пожалуйста... Подумаешь, откупщик сборов! От бога он, что ли? Ничего, можно прожить на свете и без откупщика». Но умницы, опытные хозяева, понимающие дело, смотрели на него, как на мальчишку, как на малосведущего человека, с которым и считаться нечего; его и словом не удостоили. Тем не менее, слышишь, этого наглеца я хочу проучить. Тебе придется, друг мой, написать на него доносец, подложить ему перцу под хвост, чтобы его нажгло, хорошенько нажгло... Ты ведь знаешь, у меня на это рука тяжеловата...

— Это потом, Исер, все будет, надо думать, как полагается... Я сгораю от нетерпения: хочется узнать, чем же кончилось сегодняшнее сходбище.

— Чего ты не понимаешь, дурень? Разве сыщется еще где-нибудь такой добрый, золотой народ, как евреи? Во всем уступили, набавили еще несколько грошей, даже больше, чем мы сами того желали, и разошлись, очень довольные. А уж я, дурень ты этакий, тем более доволен...

— Конечно, Исер, ты можешь быть доволен, но...

— Что «но»? Дурень ты этакий! Что «но»? «Но жалко!» — хочешь ты, быть может, сказать? А? Жалко целого города бедняков! Не совался бы ты уж лучше, дурачок, со своим глупым пустым словом «жалость»! Жалость, говорю тебе, выдумали только слабые, неудачники, овцы, чувствующие свою сла-

бость, свою никчемность, свое бессилие, неумение осуществить свои желания, взять все, чего им хочется. Они чувствуют, что нет у них ни когтей, ни зубов, чтобы драться и победить, вот они, эти овцы, и выдумали слово «жалость», вооружились им, чтобы кричать, поучать, молить о жалости, строить жалостливые мины, и надеются этим чего-нибудь добиться... Но это плутовство, братец, чистое плутовство! Ничего, нам понятно их притворство. Нам понятны эти нравоучения, понятны и любители читать нравоучения... Я уже, братец, тертый калач, и кое-что, слава богу, смыслю в устройстве этого мира, хоть и не великий знаток талмуда. Да и нет особой нужды в учености — чтобы знать жизнь, достаточно, право, иметь немного здравого смысла, трезвый рассудок, и тогда уже нетрудно уразуметь, в чем сущность этого мира. Он делится на два лагеря: сильных и слабых, волков — хищников и овец — честной скотинки; первые сдирают, а вторые отдают свою шкуру. Иначе быть не может. Измени этот порядок, и все равно получится то же самое. Пусть слабый, к примеру, войдет в силу, о-го-го! Он всплывет наверх, станет барином, а его руки начнут грабастать. Пусть овечка обретет когти и зубы, как она тут же станет царапать, рвать, пускать в ход клыки, сдирать с других шкуру. Попробуй, к примеру, кому-нибудь из этих вечно взывающих к жалости неудачников и любителей читать нравоучения дать какую-нибудь должность в общине. Едва только он окажется у власти, ощутит в себе силу и поймет, что в его руках кнут, как начнет стегать им, жесткой рукой будет властвовать. Возьми самого жалкого человека и дай ему откуп — он начнет делать то же самое, измываться

над народом, грызть его, рвать в клочья, высасывать из людей последние соки. Есть поговорка: «Не дай бог из Ивана пана!» Очень верная, правдивая поговорка. Сойти с ума, рехнуться надо «пану», прежде чем своему Ивану передать кнут. Оставайся с твоим жалостливым личиком, ты, чистая святая душа, ты, невинная овечка, читай нравоучения, брани, кричи сколько твоей душе угодно. Твои когти и зубы, появись они у тебя, причинили бы, право же, в тысячу раз больше зла!..

— Избави боже, Исер, что тебе на ум взбрело? У меня и мысли не было о жалости. Вот еще, жалость! Я имел в виду нечто совсем другое. Ты, Исер, говорю, может быть, конечно, доволен, я — не против. Но мне что с того?

— Так бы ты, глупец, и сказал!.. Вот так! Ты, значит, тоже хочешь быть доволен? Ступай же, пожалуйста, будь любезен, ко всем чертям туда... Засунь свою лапу, тогда и тебе достанется лизнуть меда. Ты не хвор, право же, и сам можешь твердо стать на свои собственные ноги. Ничего, черт тебя не возьмет. Завтра, братец, начнется великое множество новых общинных затей и придется, понимаешь ли, кое-что людям вдолбить...

Как-то в другой раз, когда Исер сидел за стаканом вина и в прекрасном расположении духа беседовал со своим приятелем, у него развязался язык, и он заговорил так:

— Ты очень хорошо поступил, дурень этакий, что сегодня пришел ко мне. У меня голова распухла от мыслей, я ношусь с ними, как корова с полным выменем, во мне урчит, бурлит, и я не могу больше сдерживаться. Мне иногда необходимо хоть втихо-

молку излить сердце. Столько видеть, столько слышать — и всегда молчать, носить все в себе — свыше человеческих сил. Не будь у меня, черт побери, так туга рука к письму, я разошелся бы когда-нибудь и написал на бумаге прекрасную комедию, право... Распробуй-ка вино, братец! А? Что ты про него скажешь? Это я сегодня получил в подарок за одно дельце.

— Очень хорошее вино, Исер... За дельце, говоришь? За какое такое дельце?

— Так, пустое дельце! Какой-то суд у Барана. Этот глупец Баран давно просил меня оказать ему услугу в этом деле, будто я имею влияние в суде. Глупцы в нашем городе полагают, что все зависит от меня. Стоит мне захотеть, и я могу помочь. Если несколько писарьков иногда в субботу угощаются у меня рыбой, потому что они подыхают по еврейской рыбе, наши глупцы поверили, что я со всеми там от мала до велика за панибрата. О-о-о, не шутите, с самим прокурором — на короткой ноге, с полицмейстером — душа в душу, прямо-таки родные братья! Все зависит от меня. Пусть будет так, дуралей ты мой! Пусть они, глупцы, верят в это и приходят ко мне молить об услуге. У меня для них всегда один ответ: посмотрим, увидим! Я говорю это, понимаешь ли, рассуждая так: если он выиграет, значит, я, Исер, кого надо повидал и получу за это недурной куш, хотя видеть я видел кого-нибудь так же, как вижу собственные уши. Если же тот в проигрыше, и тут ничего не убывает ни от моего достоинства, ни от моей силы. Тот размышляет так: я проиграл потому, что реб Исер не захотел помочь; если бы реб Исер и в самом деле захотел приложить старание, я, несомненно,

выиграл бы. Ну и что же? Он на меня будет в обиде,— так пусть во сне явится меня душить, пусть кусает собственный локоть! Однако своей славы «всесильного» я не теряю. Пустое, он посердится-посердится и опять придет ко мне с поклоном, а я и на этот раз ему опять-таки отвечу: посмотрим, увидим! Понял, братец? Барану я тоже так ответил: увидим! И в порядке совета намекнул, что надо сунуть тому, другому, понял? Там, где нужно... Я очень хорошо видел, что мои старания ему помогут, как мертвому припарки. Баран, этот идиот, был вполне уверен, что я усердствую, что я просил моего патрона последить за этим делом. Сегодня днем на улице — стоило бы тебе посмотреть — Баран и его жена в присутствии большой толпы бросились ко мне с великой радостью и ликованием, со слезами на глазах. «Реб Исер, отец родной, благодетель! Сначала надо благодарить бога, а потом — вас, спаситель наш, за дело, которое мы сегодня выиграли. Если бы вы, реб Исер, не вмешались в это дело, нам никогда бы не выпутаться. Мы говорим и будем говорить это перед всем миром: только реб Исер, один только реб Исер! Понял я из этого, что помог тут, собственно, мой намек,— Баран, очевидно, хорошо подмазал, кого надо, как следует выполнил мое указание. Посмотрел бы ты, братец, какую гримасу я состроил, когда они меня благодарили. Лицо мое выражало: ах, сколько жизни и здоровья стоило мне ваше дело! Сколько труда я положил, пока своего добился! Немного позднее Баран прислал мне домой некую мзду и несколько бутылок хорошего вина в придачу. Ну, дуралей мой, а? Какого ты мнения об этом вине?

— Дай бог, Исер, чтобы все были такого мнения

о тебе, о твоих дураках и обо всех твоих махинациях... Лехаим! [1]

— Подавись, остолоп! Махинации, говоришь, махинации! Почему ты называешь это махинациями? Разве все дела, все сделки, весь этот тарарам сверху донизу не махинации? Я говорю тебе: все дела! Все! Даже царствие небесное — туда же. Понял? А на чем держатся все торговые дела: как они начинаются, как ведутся и чем кончаются? Уж не думаешь ли ты, что они правдой держатся? Нет, братец! Правда — это не больше чем словечко такое, которое каждый понимает по-своему, на свой манер и как ему удобней, выгодней для дела. Взаправдашней правды нет и быть не может. Для нашей торговли она совсем неподходящий товар: она принесла бы ущерб нашим делам. Тысячи контор, тысячи лавок, тысячи других подобных предприятий, которые ты теперь видишь у нас, разлетелись бы вдребезги, от них не осталось бы помину, следа бы не осталось. Многие наши богачи пошли бы по миру. Один бог знает, что еще могло произойти... Но ты, может, думаешь, что все держится трудом? Если так, ты осел! Трудится ремесленник, дровосек, водовоз, грузчик и им подобные. Трудом ты много не заработаешь,— хоть надорвись на работе, все равно будешь десять раз в день подыхать с голоду. Попробуй займись, к примеру, работой какого-нибудь Барана,— будешь трудиться, обливаться потом, умаешься, мотаясь, испишешь до оснований пальцы и в конечном счете, если тебя даже и постигнет удача, надолго ли хватит заработка? Будешь перебиваться с

---

[1] Лехаим! — За жизнь! Будем здоровы! *(евр.)*

хлеба на квас! Если же, упаси бог, удачи не будет, пропал весь твой труд, и ко всему вдобавок станешь в глазах у всех посмешищем, никудышным, ни на что не способным, ни аза не смыслящим человеком. И будешь сидеть на гнилой рыбе и вонючей селедке... Не морщь, братец, лоб! Я не философию развожу перед тобой, а говорю простые, ясные слова. Философия тоже ни к черту не годится. Мало хорошего в том, что слишком мудрено, мир этого не любит, остерегается пуще огня, и, конечно, он прав. Великие умники, ученые люди ходят в рваных сапогах с отлетевшими подошвами. Гораздо лучше живется на свете маленькому человечку. Вовсе нет нужды быть кому-нибудь полезным, быть большим мудрецом, искусным в работе. Главное, что необходимо, это — иметь роток на шарнирах, который вертелся бы, когда нужно, куда угодно; язычок без костей, который кидался бы туда-сюда, лизнул этого, лизнул того; спину, способную, при надобности, согнуться, скрючиться в три погибели... Значит, скажешь ты, скорчив при этом святую рожу,— надо льстить, лицемерить, лгать! Ну и что ж,— пусть так, что поделаешь? Необходимы деньги, без денег ты и вовсе пустое место, в тысячу раз меньше самого маленького человечка,— и мал и ничтожен. А что такое на свете, братец, бедняк? Ты, по-моему, и вообразить не можешь, как богачи ненавидят бедняка! Они вроде иногда и разговаривают с ним, иногда якобы жалеют его, на самом же деле терпеть его не могут; он торчит у них бельмом на глазу, и они думают: «Зачем только мотается это существо на белом свете?» В их представлении он — наваждение, горб, дикий нарост; при одном взгляде на него им становится не по

себе. Богачам все мерещится, что он посягает на их жизнь,— на их мошну; что он тянется за их душой,— за их деньгами. И слов у меня таких нет, чтобы в полной мере высказать это. Раз ты бедняк, братец, ты умер для мира. Твои прежние друзья, если они богаты, держатся от тебя подальше. А если они иногда и наносят тебе визит, то только чтобы показать себя. Так новоявленная богачка нет-нет да съездит иногда в маленький городишко на могилы предков, навестить покойника отца, бедняка, и нарядится при этом в жемчуга, бриллианты,— пусть в полное свое удовольствие любуется ею бедное маленькое местечко. В пятикнижии или в Песне песней, кажется, сказано, что бедняк подобен покойнику. Понимать это надо так: бедняк попахивает кладбищенской травой... В деньгах, братец, заключена вся мудрость, в них — все и вся... Есть у тебя деньги — тебе принадлежит и царство земное, и царствие небесное. Но в наши дни добывать деньги означает — как и во все времена — быть человечком, а быть человечком означает,— пусть даже так, как ты, братец, говоришь,— льстить, лицемерить, быть способным на всякую мерзость... Лехаим, друг мой!

— За наше здоровье, Исер, и пусть никогда не переведутся бараны! Ну, Исер, а твой богач, чьей душой ты утвердился, что он собой представляет?

— А вот о нем, братец, я говорить не хочу. Понимаешь? Не хочу о нем говорить. С тех пор как я его арендовал, не хочу о нем говорить.

— Как так, Исер, арендовал? Вот те новость! Как это понимать — ты арендуешь своего богача? Что он, мельница, черт побери, или корчма, что ты его арендуешь?

— Какая разница, глупец? Разве это меняет дело: богач, мельница, корчма, черт, дьявол, да мало ли еще что? Все едино, только бы аренда!.. Эге-ге, братец! Ты же чистый меламед, то есть дурак, недотепа: все на свете тебе нужно растолковывать. Ну, лехаим! Выпей же, братец, еще рюмку... Теперь я попробую как-нибудь разъяснить тебе. Это будет трудновато, но ничего, мозги у тебя не высохли,— поймешь! А начать начнем-таки с мельницы.

Ветер или вода — это большая сила на свете. И приходит слабый человек, который хочет ею воспользоваться, воздвигает строение с колесами, с камнями и делает так, чтобы вода или ветер вращали колеса. Колеса, в свою очередь, приводят в движение камни, и мельница мелет. Понял? Пойдем же, дурачок, далее. Значит, перво-наперво — сила, на ней держится мир со всеми его причиндалами. Богач, как тебе известно, тоже большая сила на свете. Перед богачом все робеют, все его обожают; все из кожи лезут вон. Перед богатым снимают шапку даже те, которым от него ничего не перепадает, которым не было от него пользы раньше, нет пользы теперь и не будет пользы потом, которым не доведется от него поживиться даже глотком воды; но они это делают просто потому, что богачу полагается воздавать почести, даже без всякой корысти, просто потому, что богачу полагается все. А я, Исер, говорю: нет! Главное, что надо ценить в богаче, это его деньги, то есть ту пользу, которую можно извлечь из его денег. Понял? Его деньги — это номер один, а сам он — номер нуль, то есть ничто. Такой богач, говорю, который тебе ничем не полезен, должен быть для тебя пустым местом. А раз не он самое главное — ко всем чертям,

не следует с ним церемониться! Не оглядывайся на него и прислушивайся к его словам не более, чем к надоедливому жужжанию мухи... Далее ты должен знать, что умный должен пользоваться всем на свете. Понял? А теперь я это с тобой повторю еще один раз. Возьми же в руки рюмку и говори за мной, да с верой, дурень, говори: все держится на силе. Богач и его деньги — это великая на свете сила, а умный человек должен всем на свете пользоваться; значит, надо уметь извлечь из богача пользу. Ты думаешь, просто грубо брать у него деньги, одни лишь деньги? Нет! Надо суметь поставить возле него ветряную мельницу, пусть он своей дикой силой вращает ее колеса,— пусть мельница мелет! Или надо быть возле него чем-то вроде комедианта у балагана, или цыганом при медведе. Отмерил ты мне, мельнику, полную мерку твоей ржи, тогда и мели себе на здоровье на моей мельнице! Уплатил ты мне, комедианту, за билет, так иди в мой балаган и смотри прекрасные представления! Дал ты мне, цыгану, несколько грошей, и я прикажу моему медведю плясать перед тобой! Понял? Я заарендовал моего богача, заарендовал! Ты хочешь попасть к богачу, к моему ветряку,— давай же мне «мерку», я — арендатор! Хочешь, чтобы перед тобой разыграли комедию, чтобы тебе в «поддержку» давали представления,— уплати мне сначала за билет: я — комедиант! Или тебе, быть может, хочется, чтобы мой богач стал перед тобой на задние лапы, рычал, распластывался и усердствовал ради тебя,— гони монету, дай мне, будь любезен, что мне заблагорассудится назначить: — я цыган!.. Понял наконец, дуралей? Ну, на сегодня хватит науки!.. Лехаим, друг!

— Лехаим, Исер, за твою ветряную мельницу! Лехаим, лехаим, за твою комедию и за твоего медведя! За то, чтобы твои колеса вращались, твой театр имел успех, а твой медведь плясал, плясал, плясал!..

17

Разумеется, мысли Исера, его взгляд на мир были для меня вначале непостижимы, смысл многих слов темен, всю его науку мне трудно было раскусить. Но слова о том, что иметь деньги означает быть человечком, а быть человечком означает — льстить, лицемерить, лгать,— это я воспринял сразу же. Тут-то я и постиг подлинный секрет. Но что такое льстить и лицемерить, я тогда еще не вполне понимал.

Должен здесь заметить, что я тогда еще вообще толком не различал, что можно, а чего нельзя. Грехом у меня считалось глядеть на когенов [1] во время богослужения; не совершать обряда капорес [2]; не ходить к ташлих [3]; стричь свои ногти подряд без пропусков, не прикладывать к остриженным ногтям

---

[1] Коген — якобы потомок жрецов. В праздники во время синагогальной службы благословляет прихожан.

[2] Капорес — религиозный обряд, имевший символический характер. В канун Судного дня набожный еврей вертел вокруг головы птицей, произнося слова молитвы: «Пусть будет она моим искуплением и пойдет на смерть, а я приобрету долгую счастливую жизнь». Искупительную птицу резали и употребляли в пищу.

[3] Ташлих — религиозный обряд. В день Нового года верующие евреи собирались у реки, произносили библейские стихи и отряхивали края своей одежды, что символизировало очищение от грехов.

трех маленьких щепок, срезанных со стола в синагоге, чтобы они на том свете были твоими праведными свидетелями; не верить в существование обладателя тайного слова; не верить в беса; не верить, что в главной синагоге молятся по ночам покойники; не верить в мир хаоса, то есть не верить, что среди нас, здесь, на этом свете, мечется множество людей, которые, кажется, торгуют, обделывают дела, разъезжают по ярмаркам, покупают, продают — суетятся! — а на самом же деле они мертвецы, покойники, обитатели мира хаоса; не верить, что к безлюдовскому ребе являлись на суд покойники в сопровождении ангела дознания и команды ангелов истязателей; не верить, что «он», мир праху его, знал тайну «кратчайшего пути» — махнуть в небо было для «него» раз плюнуть, что «он» был там в почете, что «его» руке были доверены ключи от детей, снега и дождя; не верить в переселение душ, то есть не верить, что люди могут превратиться в скотов, зверей и птиц, что известный богач, как о том написано, превратился когда-то в свинью; некий ловкач, не про нас будь сказано,— в осла, а еще один, какой-то крупный подрядчик,— в птицу, которая, не про евреев будь сказано, многим насвистала; а какой-то «гласный» превратился, бедняга, в рыбу, с «голосом», точно у линя... Короче говоря, не верить в подобного рода вещи почиталось у меня грехом. Но льстить, лицемерить, быть человечком — в моем списке грехов не числилось. Значит, что тут особенного, почему бы мне не быть человечком? Становишься богатым и счастливым, а ведь это хорошо. Человечка не смеют бить, колотить; ведь когда бьют, почему-то бывает так больно! Ведь темнеет в глазах, когда портной или его

жена закатывают тебе затрещину. А что уж говорить, когда кантор принимается так драть тебя за уши, что можно забыть все на свете, даже поминальные дни усопших родителей. А растянуться на полу, чтобы надеть или снять с кого-нибудь галоши, когда тот, упершись в бока, разглядывает потолок, тоже, право, занятие не из сладких. И мне, конечно, хотелось стать человечком, избавиться единым разом от всех горестей и жить, как все они, счастливо, в богатстве и почете. Поэтому-то я всегда с великим усердием подслушивал за дверью, когда Исер Варгер беседовал со своим приятелем. Наслушался я много, а потом стал хорошо понимать и смысл его речей. Со временем я стал куда лучше понимать Исера, чем меламеда в талмудторе.

Правда, в юности я и в самом деле был весьма придурковат, но, как позднее выяснилось, я не был глуп от природы. Меня таким сделали. Всегда, с самого детства, я был загнан, заброшен и забит. Меня взрастили проклятиями, сквернословием, поркой, тумаками, побоями. Кому только не лень было, тот всыпал мне, пересчитывал мои худые ребрышки. Как говорится: «От покаянного бития в грудь не прибавишься в теле ничуть»; «Кто многажды был бит, тот становится прибит». Шутка ли сказать, сколько мое тело, мое исхудалое, изможденное тело, приняло мук! Терплю, бывало, голод, холод, чувствую — кончаются мои силы, ноет каждая косточка, и так мне плохо! — а вместо того чтобы сказать: жаль, бедное дитя угасает, человеческое существо, или пусть даже просто божья тварь, тает, точно свеча, он уже — кожа да кости! — люди злобствуют и рвут на части мое жалкое, тщедушное тело; люди злобствуют и причи-

няют мне дикую боль, муки; люди злобствуют и семь шкур с меня спускают!.. Я был оглушен, пришиблен, заморочен. К тому еще надо помнить, что родился я в Безлюдове, который был по сути дела маленьким местечком, а местечковый человек остается местечковым человеком. Местечковые люди — это какая-то совсем иная порода людей, с иными чувствами; они иные на вкус, от них иной аромат, они иначе шевелят мозгами — ни богу свечка, ни черту кочерга, ни рыба ни мясо, какие-то ни на кого не похожие твари... Я говорю все это затем, чтобы вас не особенно удивляло: как могло случиться, что такой недоумок, такой дурак, как я, все же иногда верно схватывал и толково размышлял. Правда, глуп я действительно был и глупостью своей бросался каждому в глаза, но был я таким не от природы, а просто заморочен, пришиблен и прибит. У меня не то что не хватало клепки в голове, эта клепка просто еще не была обработана, обстругана. Таков я был. Поэтому я еще мог кое-чему научиться, кое о чем догадаться, и поэтому-то я оказался способным воспринять науку реб ИсераВаргера.

У Исера Варгера я прослужил много лет. В течение этого времени я обтесался и научился делать все, что должен уметь делать человечек; я был весьма старателен и прилежен. Я уже умел, используя свое положение, обделывать всякие дела, корчить из себя святую простоту, прибегать к хитрости и коварству. Самое большое удовольствие доставляло мне подложить кому-нибудь свинью, словно я искал мести, хотя никакого повода для нее не было. Подложить свинью, а потом вывернуться так, что не придерешься,— это само по себе доставляло мне



такое же наслаждение, как бедному ешиботнику[1] сделанное им открытие в талмуде. Даст это плоды, не даст ли — неважно, была бы только удачна сама мысль, свидетельствовала бы она о гибкости ума!.. Чувства справедливости, жалости не успели во мне и зародиться.

«Справедливость — это резинка, которая дает себя растягивать сколько угодно, она «как глина в руках творца»: человек может ее повертывать и так и этак, делать из нее все, что отвечает его желанию. Жалость — это выдуманное слово, сплошное плутовство. Если ты слабее меня, если ты неудачник, никчемный человек, ты стараешься убедить меня, что якобы существует жалость!» — так сказал Исер Варгер.

Я был преданным учеником Исера, старался, усердствовал, только бы мой учитель был доволен мной. Я делал все в его вкусе, по его нраву, и добился таким образом его благорасположения и благосклонности, он никому не уступил бы меня, как говорится, за мешок ботвы.

Став старше, я все чаще начал задумываться и самого себя спрашивать: «Когда же я буду работать для дома своего?» — то есть когда наконец я начну что-нибудь делать, чтобы самому стать на ноги? «А я вошел в пору свою» — я был уже, слава богу, молодой человек с заметными признаками бородки! Правда, науку Исера я уже постиг досконально, знал ее во всех тонкостях, но «не в толковании суть,— говаривал, бывало, мой меламед в талмудторе, вся штука не в науке, главное дело — пороть».

---

[1] Ешиботник — слушатель ешибота.

Я все думал, думал до тех пор, пока меня не осенило: ах, дурак ты этакий, сказал я себе, мой учитель Исер Варгер говорит: «Умный человек должен всем на свете пользоваться. Богача нужно снять в аренду, играть с ним комедию, на нем и зашибить копеечку». Так ведь Исер Варгер уже и сам богач, возьми же его, глупец, в аренду, стань, осел, арендатором Исера, душою Исера! Исер уже сам — сила, вот и поставь возле него ветряк, и пусть Исер вращает твои колеса! Жареные голуби сами летят к тебе в рот, а ты, осел, есть просишь!..

Не буду вам долго толковать! Я начал Исеру льстить, нашел тысячи путей подобраться к нему, пока не влез в самое сердце, утвердился в нем и стал, в добрый час, душою Исера!.. Ведь Исер тоже был простой смертный; он тоже любил, чтобы ему льстили; поддакивали, чтобы на него дивились, любовались; тем более, что он очень хорошо знал истинную суть и подлинную цену лести. Сам он, к примеру, говоря кому-нибудь: ведь вы умница, добряк, щедрый жертвователь, благочестивый, праведный, честный человек,— всегда думал обратное: ведь вы глупец, бессердечный человек, скряга, ханжа, ворюга, жулик! Так уж, видимо, ведется на свете: каждый готов дать себя уговорить, каждый не прочь самообольщаться... Не думайте только, что мне это далось легко. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много времени прошло, прежде чем мне удалось оказаться в чести у Исера. Вам покажется, может, непостижимым: слуга, да чтобы оказался в чести? Вы уж на меня не обижайтесь: не знаете вы света! Почти всякий слуга — в чести и почти любой, кто в чести,— слуга...

И когда мир заметил, что я в чести, что я стал душою Исера, его почитаемым слугой, ко мне начали ластиться, с уважением мне кланяться, как ведется на белом свете и как, очевидно, повелось с первых дней творения и в верхах и в низах. Так уж принято в мире: когда нужно чего-нибудь от барина, то прежде всего подбираются к его любимому слуге, стараются во что бы то ни стало понравиться ему — пуститься с ним в какой-нибудь разговор, ублажить сладкими речами, прикинуться закадычным другом, в то же время незаметно сунуть что-нибудь в руку, думая про себя: заткнем ему рот, пусть не ворчит, не мешает, не тявкает. Или иначе: пусть барину мимоходом проронит на ухо доброе слово. Слуга, если он твой ходатай, может иногда немало помочь. Слуга может добиться у своего владыки того, чего не добьются подчас сановные особы,— слуга знает сердце своего владыки и умеет ублажить его такими вещами, о которых нельзя распространяться... Если у кого-нибудь было дело к Исеру,— а у кого только не было дел к Исеру? — тот прежде всего заискивал передо мной, старался расположить меня к себе, только бы я попросил за него, замолвил словечко, помянул добром в разговоре с реб Исером. Что уж говорить о деньгах и дарах,— одними молитвами, конечно, не обходилось. Проситель верил: стоит ему добиться, чтобы я замолвил за него словечко перед реб Исером, и его ждет удача, хотя я-то прекрасно знал, что усилия Исера ему столько же помогут, сколько, по словам самого Исера, «мертвому припарки». Но что мне было за дело? Пусть он думает, что хочет, только бы раскошелился. Тогда же, когда у Исера была надобность помочь, он делал свое дело

вовсе без моего ходатайства. Как бы то ни было, так или иначе, Исер ведь все равно возьмет деньги и будет, по своему обыкновению, твердить: «Посмотрим, увидим, посмотрим!» К чему же, спросите, я тут путался? А почему бы и нет? Жалко, что ли? Пусть думают про себя что хотят и раскошеливаются.

Таким образом я начал понемногу возвышаться, изрядно раздобрел и сколотил недурное состояние.

18

Наряжаться, франтить стало самым большим моим удовольствием — черта всех преуспевающих слуг, любящих напяливать на себя все, что только можно, увешивать себя поблескивающими цепочками, пуговицами, носить перстни, сапожки, начищенные до зеркального блеска, только бы бросаться всем в глаза, только бы все поражались и дивились. По субботам я, обычно одетый с иголочки, прохаживался со своими приятелями, чтобы показать себя миру во всем великолепии, а заодно присмотреться к прогуливающимся стайками девушкам и женщинам. Я знал в городе почти всех служанок. Мне были известны случаи, разные истории о многих женщинах, в том числе и моих знакомых.

В одну из суббот гулял я с друзьями по городу в час, когда улицы были запружены девушками в шелковых и бархатных нарядах, увешанных жемчугами и всякими иными драгоценностями, и мне навстречу попалась девушка, одетая в простое ситцевое платье безупречной чистоты. Лицо ее светилось, точно утренняя звезда, затмевая всех других с их жемчугами и

бриллиантами, они перед ней были не более, чем свеча перед солнцем. Рядом с девушкой шел молодой человек, статный, рослый. Ее красота ослепила меня, и я некоторое время стоял ошеломленный, не видя и не слыша, что вокруг меня творится. Когда я немного позже пришел в себя и огляделся, ее уже не было. Она смешалась с толпой и исчезла, точно звезда, пролетевшая летней ночью по небу. Но ее облик глубоко запечатлелся в моем сердце. И с той поры она ни на миг не выходила у меня из головы. Передо мной неизменно вырисовывалось ее лицо, ее стан, и ночью, в темноте, мерцали, светились жгучие глаза, словно две светлые звезды в черной бездне далеких-далеких небес. Мне все казалось, что я давно знаю ее, казалось, что я уже видел ее однажды, но когда и где, никак не мог припомнить. Упорные, но безуспешные попытки что-либо вспомнить — это такая мука, которой сочувствовать может лишь тот, кто испытал нечто подобное. Меня это терзало, сверлило голову, почти сводило с ума. И я дал себе слово непременно дознаться, кто эта девушка, и выяснить, где она живет.

Однажды в вечерний час я проходил по какому-то глухому переулку. Края чистого синего неба затянуло черной тучей, время от времени там змеились огненные вспышки молний. В переулке было тихо, безлюдно. Я был в мрачном настроении и шел глубоко задумавшись. Вдруг я услышал истошный крик, пронзивший мне сердце. Гляжу — навстречу бежит человек с узлом в руках, бежит быстро-быстро, точно вор, стремящийся улизнуть. «Стой!» — крикнул я, решительно встав на пути субъекта, и поднял мою толстую трость. Тот перепугался, выпустил из рук узел, а сам свернул куда-то и быстро исчез. Поодаль от меня, у

забора, лежал на земле какой-то человек. Когда я подбежал к нему с узлом, он даже не шевельнулся. Пока все это происходило, кругом стало темно: черная туча застлала небо. Не мешкая, приподнимаю я голову человека и пытаюсь привести его в чувство. Вдруг засверкали яркие и частые молнии, вспышка за вспышкой, и я увидел перед собой широко открытые жгучие глаза. Меня точно ударило в сердце, голова закружилась, и я остался стоять в растерянности. Я узнал ее,— это была она!

Она рассказала, что шла одна по переулку, вдруг подскочил какой-то субъект и, сильно ударив ее по руке, быстро выхватил узел с полотном, который она, белошвейка, несла от заказчика. Не подоспей я и не отними узел у вора, сказала она со слезами на глазах,— лишиться бы ей куска хлеба и потерять доброе имя среди людей, никто бы ей больше не дал работы. Она благодарила меня от всего сердца; лицо девушки горело румянцем и каждый взгляд огненных глаз меня обжигал, опалял. Я чувствовал, что сердце мое вот-вот растает, точно воск.

— Награди вас бог! — проговорила она дрожащим голосом, собираясь продолжать свой путь.

— Нет, нет! — воскликнул я горячо,— ни за что не пущу вас дальше одну, я провожу вас до дому.

Она замялась,— было видно, что ей неловко так поздно идти с посторонним молодым человеком. Но я не дал девушке и слова произнести, быстро взял узел и пошел вместе с ней переулками к ее дому. Всю дорогу мы не произнесли почти ни слова. Я только то и дело взглядывал на нее и дрожал как в лихорадке. Когда она прикасалась ко мне рукой, желая забрать узел, чтобы не утруждать меня ношей, по моему телу про-

бегал озноб, кровь останавливалась в жилах, захватывало дыхание. Так мы оба шли, пока не оказались у дома, где на калитке висела маленькая белая вывеска. Черными буквами на ней было выведено: «Здесь живет белошвейка Голда Якобзон».

— Якобзон! — воскликнул я в изумлении, вспомнив о Якобзоне, который когда-то кормил меня два дня рош-гащоно после истории с кантором и выручил, когда я был брошен на произвол судьбы.

— Да,— подтвердила она,— я и есть Голда Якобзон. Почему это вас так удивляет?

— Мы с вашим отцом очень давно знакомы,— ответил я,— он мне когда-то помог в трудное время.

— Уже несколько лет, как мой отец умер,— проговорила она с глубоким вздохом.

— Вас я помню еще совсем маленькой девочкой,— с улыбкой сказал я и как старый знакомый уже смелее заглянул ей в лицо.

— Вот как! Очень приятно, право!

Мы не успели попрощаться, как раздался сильный удар грома и начался страшный ливень, затопивший все кругом. Она предложила зайти в дом, чтобы переждать грозу. Разумеется, я с радостью согласился и был очень благодарен ливню. По мне, пусть бы начался потоп и длился без конца, лишь бы остаться с ней вместе в этом доме, как в ноевом ковчеге.

Дом, куда я вошел, состоял из одной комнаты, разделенной посередине ширмой. Одна половина комнаты служила спальней, другая — гостиной. С первого взгляда можно было легко заметить, что тут живут люди бедные, но не ленивые, не опустившиеся. Здесь стояло несколько старых стульев, маленькая кушетка, обитая желтоватым выцветшим ситцем. У стены стоял

комод, покрытый белоснежной скатертью и уставленный различными безделушками: тут пара маленьких фарфоровых чашечек с красными цветочками, две синие граненые рюмки, черепаховая шкатулка, зеркальце, маленькие флаконы из-под духов и иные подобные мелочи, составлявшие все убранство комнаты. Сюда еще можно прибавить несколько горшков с цветами на подоконниках и вышитый шелком портрет пророка Моисея со скрижалями в руках. У окна находился стол, заваленный полотном, мотками ниток и другими принадлежностями швейного ремесла.

Войдя в дом, Голда представила меня своей матери, худой, хилой женщине лет пятидесяти, рассказав ей вкратце историю нашей встречи в переулке. Мать радушно меня приняла и пригласила сесть. На табурете у края стола примостилась маленькая девочка лет восьми; она притворялась, будто шьет, и время от времени искоса украдкой поглядывала на меня лукавыми глазенками. Голда тоже села за стол и развязала принесенный узел. Я не произносил ни слова и сидел точно жених. На сердце у меня было радостно, я следил, как двигаются в работе белые пухлые ручки Голды, и испытывал какое-то необычайное наслаждение.

Несколько минут мы молчали, потом зашел разговор о погоде, о том, как необходим этот дождь. Старушка раз десять повторила, что это не дождь льет, а хлеб идет, выразила надежду, что после дождя мука станет дешевле на несколько грошей. Голда переглянулась с матерью и вышла. Старушка сидела рядом со мной и без конца говорила. Вспомнила мужа, как он, да будет ему светло в раю, долгое время хворал; как они истратили все до последнего гро-

ша, как он умер и оставил ее, горькую вдову, с двумя детьми без средств. Но бог, благодарение ему, подарил ей дочь, подобной в мире не сыскать. Голда добра, чиста, все достоинства в ней. Она трудится, бедняжка, и днем и ночью, вяжет, слепнет над шитьем ради своего скудного заработка. Живется тяжело, нужда одолевает, горького заработка Голды едва-едва хватает на самое необходимое, но, грех жаловаться, ведь как-никак, а все же живется. Один бог знает, что с ними сталось бы, если б не Голда.

— Конечно, я должна радоваться, считать себя счастливой, что всевышний подарил мне такую дочь, но сердце мое плачет,— проговорила она с глубоким вздохом, и слезы выступили у нее на глазах,— ой, как болит мое сердце, когда гляжу, как Голда работает на всех нас до седьмого пота, портит здоровье, укорачивает свою жизнь, а на себя не расходует ни гроша, себе во всем отказывает. Сколько я иногда ни молю: Голда, душенька, пожалей ты себя, купи что-нибудь себе в усладу, дай себе немного отдыха, душенька. А она все смеется: не нужно мне никакой услады, меня, избави боже, не мутит. Пусть услаждают себя те, что сидят сложа руки и сами не знают, чего им не хватает. А чтобы отдохнуть, есть у нас долгий субботний день. Так она мне всегда отвечает поговоркой, шуткой и делает свое дело спокойно, благородно, как тихая голубка, на мою бы голову все зло, предназначенное ей!..

При этих словах вошла Голда и поставила на стол поднос с четырьмя стаканами чаю.

Пока мы пили чай, прекратился дождь. Голда велела своей сестричке идти спать.

— Поди, Шейнделе,— сказала она, погладив ее по

головке,— тебе пора спать, ты лучше пораньше встанешь. Твой учитель уже сегодня не придет.

Шейнделе поцеловала мать, сестру, пожелала всем доброй ночи и ушла спать. Настало время и мне уходить. Я поднялся со стула, попрощался и ушел.

Месяц сиял и, точно золотое суденышко, плыл по огромному синему воздушному морю, тихий покой которого не нарушал ни малейший ветерок. Небо тысячами светлых звезд, как влюбленный жених, глядело вниз на любимую землю, одетую в зеленое платье трав, украшенное множеством дивных цветов, источавших сладкий, нежный, опьяняющий аромат. Лягушки весело квакали в речушках, и в каком-то саду заливался соловей — единственное создание в мире, затмевающее всех канторов!.. Пелось почему-то и мне.

Я шел, напевал и сам не слышал, что напеваю. Но уже подойдя близко к дому, словно очнувшись, услышал я напев портного Лейзера — провожание невесты. «Ах, провались ты сквозь землю, портняжка!» — бранил я в шутку Лейзера и с веселой усмешкой послал его ко всем чертям...

Скажите на милость! После такой радостной встречи мне всю ночь только и снились какие-то печальные сцены: то меня оплакивают, заливаясь слезами, то человеческие вопли несутся из преисподней: «Пощадите! За что нам такая участь?..»

19

В доме Голды я стал частым гостем,— и меня точно магнитом тянуло туда. Меня влекли к девушке не ее достоинства, не ее благонравие, не то, что она так праведно зарабатывает свой хлеб и содержит старушку

мать и сестренку. Нет! Ученик Исера не мог оценить такие вещи. Деньги — вот та мера, которой я измерял человеческие достоинства, те весы, на которых я взвешивал все виды человеческого благонравия. Молодчиной, умницей — человеком я считал того, кто имел деньги и жил в довольстве. Как он их получил и за чей счет жил, значения не имело. В эти мелочи вникают только бедняки, неудачники из чувства зависти и досады, а еще чтобы очернить другого и тем самым загладить свои собственные недостатки, являющиеся причиной того, что они неудачники, никчемные люди. Этим они хоть немного утешали свое сердце, пытались оправдаться перед миром, твердя, что их бедность якобы плод мягкого характера, плод того, что они не умеют, как другие, быть лживыми, низкими людьми. Нет! Не благородство, не душевные достоинства Голды нравились мне, мне нравилось только ее красивое лицо, меня влекло к ней низменное плотское чувство. Чего я добивался этой своей любовью, мне тогда еще самому не было ясно,— пока я посещал Голду. Сначала я дал ей заказ — сшить мне сорочки, манишки, потом приходил уже без всякого предлога, просто как хороший знакомый.

Бывая у Голды, я каждый раз заставал у нее в доме молодого человека, которого видел с ней, когда в ту субботу впервые встретил девушку. Он вел себя в их доме запросто, как родственник, как член семьи, занимался с маленькой Шейндл, помогал по дому, иногда приносил что-нибудь с базара и поддерживал семью при особенно стесненных денежных обстоятельствах. Никто в доме не обращался к нему на «вы», все звали его просто по имени — Михл.

Михл занимался тем, что обучал мальчиков и дево-

чек письму, на эти заработки он и жил. Однажды из разговора со старушкой я узнал, что Михл часто им помогает, что он прямо-таки опора их семьи, без него им приходилось бы иногда очень туго. Он ее родственник и почти жених Голды. Для всех это пока секрет, но пройдет еще немного времени, надеется она, бог даст, состоится помолвка, и будут бить горшки. Слова старушки меня оглушили, но я сделал вид, что меня это совершенно не касается.

С тех пор я относился к Михлу как к врагу, стоящему на моем пути, и все думал, как его устранить. С кошачьей нежностью ластился я к Голде, к ее матери, старался обворожить их милыми сладкими речами, играл с маленькой Шейнделе, приносил ей то конфетку, то игрушку — в надежде завоевать таким образом их сердца и вытеснить Михла, убрать его с пути. Однажды, заметив, что они в стесненном положении, я даже попытался дать им денег, но Голда велела взять их обратно с какой-то такой усмешкой, которая поставила меня на место и была гораздо хуже пощечины. Это в тысячу раз усилило мою ненависть к Михлу: она горела во мне пламенем; но чем сильнее я ненавидел его, тем больше скрывал это, говорил с ним приторно сладко, с неизменно веселым лицом. Притворяться я уже умел в ту пору отлично,— это первое, что обязан уметь человечек. Когда Исер решал кого-нибудь угробить, он принимал его очень дружелюбно, радостно спешил ему навстречу, лобызал его в самые губы, нес ему смерть в поцелуе, то есть поцелуем вынимал из него душу и таким образом выбирал для милого друга, по словам некоего мудреца, красивую смерть, тихую смерть, чтобы ни одна собака не завыла... Так сказал Исер Варгер!

Я приходил к Голде расфранченный, сильно напомаженный, чтобы этим понравиться ей и унизить в ее глазах убого одетого Михла. Но одежда не производила на Голду никакого впечатления. Однажды она деликатно намекнула мне, что запах разогретой на голове помады может вызвать у собеседника насморк. Михл при этом улыбнулся; у меня же внутри все клокотало, я пылал враждой к нему. Шейнделе однажды заявила:

— Фу, Михл, как ты выглядишь! Вот реб Ицхок-Авремл прямо-таки сияет: он разодет, причесан, у него красные щечки и пунцовые губки, точно у красивой девушки.

— Глупенькая! — довольно спокойно ответил ей Михл.— Что же мне делать, если я беден и нет у меня такой службы, которая покрывала бы любые расходы.

Мне показалось, что в словах Михла скрывается колкость, упрек в том, что я слуга, желание унизить меня. Но я проглотил обиду, закусил губу и не ответил ни единым резким словом.

Между тем прошло все лето и большая часть осени. Я из кожи лез вон ради своей большой любви, но ничего не мог добиться. Михл сидел у меня костью в горле. Я видел, что, если не поспешу вырвать эту кость, то подавлюсь ею. Дело шло к тому, что Михл должен был вот-вот стать женихом Голды. Старушка любила его, как родное дитя, и жаждала дожить до того дня, который навеки свяжет его с дочерью. Она несколько раз заводила разговор о необходимых приготовлениях, и все в доме радовались. Шейнделе весело прыгала, шалила, дразнила Михла, потом, обняв обеими ручонками, вешалась ему на шею. Голда, за-

горевшись ярким румянцем, глядела на них влажными, жгучими, полными счастья глазами. В ту минуту лицо ее сияло и ослепляло меня, точно солнце; так красива она была! Я тоже изображал на лице радость, как близкий человек, которому доставляет удовольствие, когда в доме веселье. Но в душе у меня пылал ад. Уйдя оттуда, я скрежетал зубами и поклялся, что найду, и немедля, верное средство расчистить себе путь к Голде.

Прошло немного времени, и это средство подвернулось. Когда в нашем городе был рекрутский набор, я через Исера без шуму обделал дело — и Михла забрили в рекруты!..

Придя к Голде, я застал всех в глубокой скорби, точно в день девятого аба. Старушка лежала в кровати, больная, обессиленная, на голове ее был платок, смоченный холодной водой. Голда, мертвенно-бледная, с растрепанными волосами и красными опухшими глазами, хлопотала возле матери, поникшая, озабоченная, пришибленная. Вовсе не узнать было маленькую Шейнделе, так изменилась она: понуро сидела в уголочке, сложа ручки и уставившись глазами в пол. Когда я вошел, они, не говоря ни слова, расплакались, залились горючими слезами, как обездоленные люди при виде своего лучшего друга.

— Что случилось? — простодушно спросил я и остановился, якобы потрясенный.

Несколько минут никто не отвечал, потом старушка плачущим голосом, давясь слезами, еле выговорила:

— Горе, горе мне! Михл... Нет Михла!.. Схватили, горе мне, забрили Михла!

Она снова разразилась потоком слез. Голда сидела возле нее на кровати, закрыв лицо руками. Больная

мать гладила ее по голове, и все рыдали, точно оплакивали покойника. Я придал лицу грустное выражение, притворно вздыхал, стонал, а сердцу моему было так отрадно: на моем пути к Голде теперь никто уже не стоит. Я пожирал ее глазами, оглядывал с ног до головы. Так волк глядит на ягненка, оскалив хищную пасть. И думал я про себя: «Ничего, будешь моей, из моих лап ты уже не выскользнешь...»

20

Несколько месяцев минуло после этой сцены. Михла забрили и увезли далеко — туда, откуда не скоро возвращаются. В доме Голды царило запустение, все там скорбело и утратило свой прежний вид, цветы в горшочках засохли: их вовремя не поливали, всем было не до них. Безделушки на комоде не были, как прежде, со вкусом расставлены, на портрете пророка Моисея лежал толстый слой пыли. Он выглядел как-то мрачно и смотрел сквозь стекло, словно гневался. Так по крайней мере казалось мне, и я избегал глядеть на него... Шейнделе перестала учиться, не с кем было ей больше играть. Она худела, таяла, как свеча, неузнаваема стала. Голду задавило горе: на лице не появлялось и тени улыбки, как будто жизнь ей стала не мила. Старушка смотрела на своих детей, качала головой и умывалась слезами. Она все хирела, пока наконец болезнь не свалила ее в кровать.

Я все чаще посещал их дом, сидел, пока Голда работала, подбадривал ее ласковыми, сладкими речами, говорил слова утешения и тем самым старался все глубже и глубже проникнуть в ее сердце. Позднее я

обратил внимание на царившую в доме горькую нужду. Заработки Голды были так малы, что, как она ни надрывалась, сколько ни билась, они не могли покрыть все жизненные потребности семьи. Только теперь стало видно, как недоставало им Михла, как он был нужен этим бедным людям, как не хватало им теперь его помощи. К тому же еще было мало работы, и однажды, когда понадобилось купить лекарство для старушки, в доме не оказалось ни гроша. Я решился и предложил Голде взять у меня немного денег. Голда покраснела, опустила глаза и ни слова не ответила. Было видно, какая буря горьких чувств бушевала в ее сердце. Я убедил Голду, что даю ей эти деньги взаймы, что она обязана принять их ради больной матери, нуждающейся в лекарстве, от которого, возможно, зависит ее жизнь. Старушка в это время сильно застонала. Голда затрепетала, дрожащей ледяной рукой взяла у меня деньги, накинула на себя шаль и быстро выбежала из дому.

Однажды поздней ночью лежал я в кровати у себя в каморке и не мог глаз сомкнуть; сон меня не брал. Любовь к Голде невыносимо мучила, не давала покоя, и я принялся размышлять о том, что из всего этого выйдет. До каких же пор мне страдать? Надо довести дело до конца. Однако каким образом? Жениться? Но мне это невыгодно по многим причинам: во-первых, я буду вынужден оставить службу у Исера, а уйти от Исера означает ни много ни мало — отказаться от легкого заработка, от счастливой жизни без мук, без труда, без забот, отказаться от всех моих надежд на будущее; во-вторых, что принесет мне Голда? Ничего! Она гола и нага, в чем мать родила, она наплодит мне множество детей, голышей, которые заморочат

мне голову: мы проедим все деньги, и я останусь нищим, никчемным, ни на что не годным человеком, буду мучиться, почернею от забот, как это было со мной когда-то в юности. И ради чего? Ради любви!.. Исер, думал я, несомненно поднял бы меня на смех.

«Любовь — это не больше чем смазливое личико, мыльный пузырь, пленяющий глаз переливающимися радужными красками, который внезапно лопается и исчезает. Это игрушка, пустяк, который нужно приобрести за пустяк, и можно легко купить его за пустяк, только бы не быть глупцом. Любовь — это покров, которым легче привлечь к себе другого на некоторое время, искусно выделанная сеть, чтобы ловить в нее слабеньких людишек, тающих словно снег, едва их слегка обдают теплом...» Так сказал Исер Варгер.

Значит, не быть глупцом и достигнуть моей цели простейшим способом?.. Однако это совершенно несбыточно. Насколько я знал Голду, об этом нечего было и думать. Она как-то всегда умела держаться так, что внушала к себе уважение и язык не поворачивался произнести при ней нехорошее слово. Однажды у меня вырвалось не очень благопристойное словечко, которому другие, может быть, и не придали бы особого значения; она же сделала такую мину, что я оробел и холод пробежал по всему моему телу. Нет! Такие, как Голда, не дают себя ни купить, ни заманить, будь ты даже хитер, как десять чертей. Что же делать? Плюнуть и забыть ее? Это было, как я чувствовал, свыше моих сил; я скорее отказался бы от своей жизни, чем от нее. Пусть любовь и в самом деле, как говорит Исер, не более чем игрушка, но эту игрушку я никоим

образом не мог забросить. Я размышлял, размышлял и приходил все к тому же — исход один, жениться! Но ведь это может помешать мне в моих делах? Что ж, тогда придется изыскать какой-нибудь фортель, найти какое-нибудь решение, которое и так и этак было бы мне на руку. Жениться надо, и чем скорее, тем лучше: больше мучиться у меня уже нет сил. Надо кончать с этим делом. Голда должна быть моей!.. С этой мыслью я уснул и видел приятные, сладкие сны.

Встал я поздно и решил про себя — что бы ни случилось, обязательно сегодня же вечером объясниться с Голдой. Было это как раз накануне пасхи, и Голде, стесненной в средствах, не на что было готовиться к празднику. Для моей затеи это была самая подходящая пора. Придя к Голде, я застал ее одну за работой. Старушка лежала в кровати за ширмой, а Шейндл сидела возле нее. Оттуда доносился кашель,— кашляли и мать и дочурка: то поочередно, то обе разом, они словно состязались, кто из них сильнее кашляет. К тому же еще пел сверчок, и вместе у них получался какой-то дикий, страшный концерт. Голда была озабочена, все работала — водила иглой, ни на миг не позволяла себе оторваться от работы.

Я начал с упреков. Я укорял Голду за то, что она работает через силу, тратит здоровье, не жалеет себя, не жалеет свою семью, которая только на ней и держится, не жалеет друзей, которые очень дорожат ее здоровьем и готовы жизнь отдать за нее. При этих словах Голда взглянула на меня, и было в этом взгляде что-то такое, что трудно передать. Я заговорил еще сердечнее, чем дальше, тем с большей горячностью, и наконец разразился тирадой, что люблю ее больше жизни, что я счел бы себя величайшим счастливцем,

если бы она вышла за меня замуж. Из рук Голды выпала игла; она осталась сидеть, растерянная, уронив голову на руки. Я на несколько минут замолчал; меня прошиб пот, а сердце билось так сильно, точно я перевалил через высокую гору.

Хрип и кашель за ширмой становились все сильнее и сильнее. Разбитое стекло в окне уныло дребезжало под ударами ветра в такт кашлю. Я опять разверз уста, говорил с жаром, все уговаривал, убеждал Голду. Расписывал, какие тяжелые у нее теперь сложились обстоятельства, как они давят ее со всех сторон, напомнил, как страдают, мучаются ее хилая мать и Шейнделе. Ради них одних она обязана так поступить. У меня ведь им всем, бог даст, будет хорошо; мы будем жить в довольстве и счастии на радость богу и людям. Голда пытливо заглядывала мне в лицо, и горячие слезы крупными, как жемчужины, каплями катились из ее глаз.

— Оставьте меня в покое на некоторое время,— обратилась она ко мне голосом, полным мольбы, как человек, попавший в западню,— я немного подумаю, посоветуюсь с мамой и дам вам окончательный ответ.

Когда я назавтра пришел к Голде, я застал ее сидящей за ширмой возле больной матери. Старушка взяла меня за руку и, кивнув головой на Голду, сказала, что согласна вручить мне свой дорогой бриллиант, свое сокровище, дивный дар самого всевышнего, только бы я дорожил ее дочерью, ценил. При этом она поставила условие, чтобы я отказался от своей должности,— как бы ни был я уважаем, я все же только слуга; а отдать Голду за слугу не делает чести ей и ее мужу, отцу Голды, мир праху его, не делает чести всей их семье. Я возражал против этого, доказы-

вал, как это нехорошо, неумно — отказаться от такой доходной должности, благодаря которой я могу со временем стать человеком в полном смысле слова, видным человеком.

— Очень много знатных людей, право,— сказал я с важностью,— лежат иногда у моих ног, завидуют мне, а будет время, даст бог, они станут мне завидовать еще больше. Ничего! Я уже сейчас знатен не менее, чем все они. Но как бы то ни было, отказаться теперь от места — нелепость, просто великий грех. В любом случае куда вернее, чтобы я и после свадьбы оставался у Исера. В чем дело? Допустим, я — лавочник и сижу целыми днями в лавке, или я — купец и всю неделю разъезжаю. Свободное время, а также субботу и праздники я буду проводить у себя дома. Пока должно быть так, а там что бог даст... Вероятно, все уладится... Но если вас коробит, что я слуга, если вам неприятно перед людьми, мы устроим свадьбу тихо, без помпы, без шума, без треска, прекрасно обойдемся без всей этой знати. Да и о ком тут, собственно, может быть разговор!..

Кончилось тем, что мои доводы были приняты, и мы ударили по рукам.

— Смотри же, береги мой бриллиант, уважай мою дочь, цени ее золотое сердце! — снова повторила старушка и расплакалась.

Голда и Шейндл тоже плакали навзрыд, а я был на седьмом небе от радости, что удалось гладко обстряпать это дело, так, как мне и хотелось.

В праздник лаг-боймер [1], в погожий день, мы с

---

[1] Лаг-боймер — тридцать третий день после второго дня пасхи; считается полупраздником у религиозных евреев.

Голдой вместе с матерью и Шейндл поехали в ближнюю деревушку и там в присутствии десятка евреев справили тихую свадьбу.

21

Первое время после свадьбы наша жизнь с Голдой текла как нельзя лучше. Все в доме были довольны и рады. Я, как и прежде, служил у Исера, цепко держался за него и действовал в своих интересах с большим азартом, с гораздо бо́льшим, чем раньше. Меня ни на миг не покидала мысль, что я женат и мне нужны деньги. Я прилежно повторял в голове «приемы человечка» со всеми комментариями реб Исера к ним, приемы, обогащенные моими собственными коррективами, необычайно хитроумными плодами высокой изощренности ума, которые я, как пытливый ученый, внес в это дело. Пусть весь белый свет отныне чувствует, какой я дотошный человек, какого полета я птица, что я за штучка, пусть он хорошенько-таки почувствует, что у меня есть жена, что у меня большие потребности и мне многое нужно, пусть дает деньги и покрывает мои расходы. «Ничего, это миру по силам, черт его не возьмет!» — так решил я про себя и взвинтил цены на все мои затеи, которые я принялся выполнять с величайшим прилежанием.

Богач Исера, этот крупный медведь, плясал в главном представлении Исера, а сам Исер, как медвежонок, плясал в моей второстепенной комедии, и у нас обоих было обширное хозяйство. Глупая публика по всякому поводу шла к нам просить, чтобы мы похлопотали, чтобы мы помогли, и вовсю расплачивалась

чистоганом. Мы вели свою игру и оба были довольны. У меня появилась страсть к деньгам. Сколько бы я ни зарабатывал, мне все было мало, я дрожал над каждой копейкой.

Дом свой содержал я очень скромно. Я старался экономить, скупился как только мог и очень сердился, когда тратили лишний грош. Старушка дулась и иногда говорила, что я готов считать крупу в горшке и жалею о каждом проглоченном куске. В отместку дулся и я, отвечал ей колкостями, вроде того, что всякий щедр на чужое; если бы меня, мол, даром кормили, так и быть, я тоже не был бы скрягой. Голду все эти разговоры изводили, она менялась в лице, и не раз из-за этого между нами происходили размолвки. Одна из стычек зашла так далеко, что я непристойно обругал Голду, грубо оскорбил ее, бранил так, как умеет только слуга, в бешенстве выбежал из комнаты, сильно хлопнув дверью, и с неделю не возвращался домой.

Моя прежняя горячая любовь остывала чем дальше, тем больше. Красивое лицо Голды стало для меня обыденным, я в нем уже ничего особенного не видел,— лицо как лицо, с носом, с глазами. Голда потеряла для меня свою прелесть,— просто женщина, как и всякая иная. В душе я уже жалел о своей женитьбе. К чему мне было, размышлял я, надеть на себя такое тяжелое ярмо,— целую семью, которая объедает меня, разоряет. Какое-то злое наваждение нашло на меня, что я поддался чарам красивого личика, дал себя опутать и потратил на это столько денег! Где был тогда мой рассудок, мой разум? Я диву давался: как я оказался способным на такую глупость? Я все прикидывал про себя, во сколько мне обошлась моя глупость и насколько был бы я сейчас богаче, если бы не совершил ее.

И все это меня так расстраивало, что я постоянно раздраженно ворчал, глядел на всех в доме косо, с мрачным видом, и никому доброго слова не говорил. В течение нескольких лет Голда немало натерпелась от меня, я жестоко ее допекал, но она все кротко переносила, тихо плакала, ни единым звуком не выдавала свою боль.

И должно же было случиться, что большой богач, великий и могущественный, чьей душой являлся Исер, ни с того ни с сего скоропостижно скончался, и ветряк стал — колеса больше не вертелись!.. Со смертью этого богача его душа — мой реб Исер — потерял свое прибежище, а раз Исер уже не был чьей-то душой, то я и подавно,— все рассыпалось в пух и прах. Народ понемножку осмотрелся, стал сдержанней, а со временем и вовсе перестал обращаться с просьбами к Исеру. К тому еще на Исера ощутимо надвинулась старость, он как-то выдохся, оскудел рассудком,— не тот облик, не тот разум, не та мудрость, что были некогда. Ну, а раз Исер утратил свой авторитет, то, разумеется, и я потерял всякое значение, я был больше не нужен, как упраздненная монета. Правда, у Исера я все еще был в чести, не потерял цены в его глазах; но раз я больше не мог извлекать из него пользу — какого черта он мне был нужен? И я прислушивался к его словам не более, чем к «надоедливому жужжанию мухи». Так сказал Исер Варгер! Подлинные его слова. От него самого я их и воспринял. Я не долго размышляя, отступился от Исера, который в моих глазах был уже падалью.

Дохлая тварь не производит на человека такое тяжелое, такое грустное впечатление, как тварь, которая как бы «дохлая», но все еще имеет какие-то при-

знаки жизни. Говорю это по поводу себя и еще многих существ, таких, как потерявший свое положение откупщик сборов, ходатай, от услуг которого отказались, отстраненный от плутней воротила, отрешенный от синагоги служка и всякие иные оскверненные, отвергнутые общинные деятели. Что ж, труп — это по крайней мере труп: он не живет и ему ничего не нужно; но те людишки, те твари, лишаясь опоры и теряя доход, от которого в течение многих лет зависело их благополучие, становятся необычными трупами, живыми, трепещущими трупами, трупами, которые хотят есть, пить, хлебнуть хмельного, им решительно все нужно! Но что же им делать, когда они совершенно беспомощны, когда они, не про вас будь сказано, увечные горемыки, у них есть, казалось бы, и рот, и руки, и ноги, а ни на что они не годны!..

Сердце, право, разрывается, когда глядишь на эти живые трупы, на эти жалкие, прошу прощения, протухшие существа.

Таким существом был и я, когда покинул Исера. Я не знал, что делать, за что взяться,— я ничего не умел и ни к чему не был пригоден, я был только человечек. Мое положение было тогда очень скверное. Я жил за счет накопленного: разменяю целковый, и проедаем его. Каждый целковый, что, бывало, разменяю, я отрывал от себя, как кусок живого мяса, что-то словно отмирало во мне. Я был постоянно зол, никому в доме не давал покоя, к каждому придирался. За каждый грош, что давал Голде на расходы, я жилы из нее выматывал, попрекал: «Чего все от меня хотят? Я не могу содержать такую семью».

Старушке я отравлял жизнь: она извелась от душевных мук и опасно заболела. Видно было, ей

приходит конец, она недолго протянет и, признаюсь, я жаждал ее смерти, сердцу моему было отрадно, что вот-вот избавлюсь от лишнего рта и расходы станут меньше. И я притворился, будто ее болезнь волнует меня до глубины души, что я вне себя от огорчения, я не скупился на врача, на аптеку, а в то же время лелеял мечту — только бы она скорее убралась... Я ходил за ней, как преданный сын, ночами не смыкал глаз, подносил лекарства и думал при этом: «Когда смерть наконец приберет тебя?» Благодаря этой моей «преданности», неутомимому уходу за больной я вырос в мнении домашних и мне простили все муки, что я раньше причинял им. Голда часто гнала меня от постели матери, настаивая, чтобы я шел немного отдохнуть, но не могла этого добиться.

— Отдохни ты,— отвечал я ей,— иди, бедняжка, приляг, ничего, я и один здесь посижу.

Я с ужасом вспоминаю теперь ту зимнюю ночь, когда старушка лежала почти без сознания, с бессмысленным взором, и бредила. В груди у нее страшно хрипело; эти звуки разносились по всему дому, точно визг пилы. Голда, ни жива ни мертва, с покрасневшими заплаканными глазами сидела на стуле возле кровати и ломала руки. Шейнделе, осунувшаяся, похудевшая, изможденная Шейнделе, с потемневшим лицом, глядела на умирающую мать, всхлипывала и закатывалась кашлем. Вдруг старушка села, посмотрела на своих детей и глубоко, от всего сердца, вздохнула.

— Прошу тебя,— обратилась она ко мне слабым голосом после того, как с минуту молча смотрела на меня взглядом, пронизавшим меня насквозь,— прошу тебя, пожалей моих детей! Они остаются, бедняжки,

одни-одинешеньки, сироты без отца-матери, без родного, без заступника... Я спокойней уйду со света, спокойней буду лежать в могиле, если ты мне это свято пообещаешь и выполнишь свое обещание...

Она снова вздохнула, положила одну руку на голову Голды, другую на голову Шейндл и тихо благословила их; ее голос был едва-едва слышен. Обе дочери затряслись в рыданиях и припали к матери, которая обнимала, целовала, прижимала их к груди. Затем она без сил снова упала на свое ложе, повернулась лицом к стене, захрипела и уснула навеки...

Голда и Шейндл разразились таким горестным плачем, что даже камень был бы растроган. Я закрыл лицо обеими руками и — больно, стыдно, страшно признаться — улыбнулся, довольный, точно сбросил с себя тяжелую ношу.

Старушка была пока еще только второй павшей по моей вине жертвой. Немного позднее должна была подойти очередь третьей жертвы — худой, изможденной Шейнделе!..

22

Вскоре я стал тяготиться тем, что сижу сложа руки дома и даю плесневеть милому дару, жившему глубоко во мне, дару быть человечком. Грех, право, чтобы такая страсть гибла напрасно, чтобы пропадал такой милый дар, стал лежалым товаром, когда я еще молод, полон сил, могу обделывать блестящие дела и ходить в золоте! Неужели, думал я, свет клином сошелся на Цвуячице? Не стало, что ли, больше городов, заселенных евреями, где я мог бы пустить в оборот

мой товар? Свет, слава богу, велик. Есть еще еврейские города, евреи везде евреи — и по натуре и по характеру. А евреи-воротилы, евреи-богачи, не сглазить бы, имеются и там, хоть отбавляй, и можно будет, вероятно, взять их в аренду и начать с ними ту же игру! К чему мне губить свою жизнь, пропадать без толку дома, пока не проем без остатка все свои денежки, а потом снова терпеть нужду, невзгоды и муки, как когда-то, в те времена, при одном воспоминании о которых дрожь проходит у меня по коже и волосы встают дыбом? Нет, принял я решение, нельзя мне больше здесь отсиживаться! Пока я еще молод, пока у меня еще водится немного денег, я обязан пуститься на поиски удачи, испытать свое счастье.

— Будь здорова! — заявил я в одно прекрасное утро Голде — она была тогда беременна — и отправился куда глаза глядят.

Глупск — прекрасное место, оно мне сразу же понравилось. Это большой еврейский город со множеством глупцов, которые любому охотно дают водить себя за нос. Каждый несет свой нос тебе навстречу, суется с ним вперед, дабы за него за первого ухватились: он считает, что дать водить себя за нос — это долг еврея, это в еврейском духе, иначе оно и быть не может. Глупск — это город с огромным количеством братств, со всякими старостами, со всякими разновидностями божьих прислужников и разными почтенными евреями. И бог прокармливает всех — от рогатых буйволов до гнид,— всем этим существам с почетом ниспосылает их доходы. Короче, Глупск мне пришелся по нраву, он был точно судьбой мне предназначен, был для меня тем, чем является для жабы топкое болото, где она может квакать и вольно дышать.

Было мне тогда года двадцать три — двадцать четыре, а впрочем, кто знает, быть может,— двадцать пять — двадцать шесть или даже двадцать семь лет. Я своих лет не считал, как и многие наши евреи в те времена, не знал, когда я родился, да это и нигде не было записано, потому что так, понимаете ли, было вернее... И кроме всего, к чему это надо было знать? День рождения у меня, как и у иных евреев,— не праздник. Годовщину дня смерти — это еврей помнит, но годовшину дня рождения — к чему? Это даже както странно, дико. Деньги у меня были, и поэтому мне легко было познакомиться с видными людьми Глупска. Говорил я всем, что собираюсь здесь затеять какое-нибудь дело, на самом же деле я только присматривал себе аренду, потому что, если не считать аренды, я ни на что не был способен. Все мое усердие было направлено на то, чтобы взять в откуп самого крупного богача и разыгрывать с ним комедию так же, как некогда реб Исер со своим богачом.

Как вам известно, глупский богач имел большое влияние во всей губернии. Сила была у него нешуточная. И вместе с тем он был простодушный человек — любил заниматься всякими пустяками, хотел знать обо всех происшествиях в городе, был падок на всякие сплетни. А все это было как раз по мне, именно такой, как он, был мне жизненно необходим. С такой силой, какой обладал он, чувствовал я, можно вращать колеса, ворочать миры. Но как, однако, добраться до него? Как прибрать его к рукам? Этого можно добиться, убедился я, не иначе как став истым глупским жителем, став своим человеком среди слуг божьих, связавшись с ними тесными узами. Я начал основательно обмозговывать это дело.

Прошло некоторое время, и чем дальше, тем больше мне открывалось мое будущее поле деятельности. Мне не давали покоя сваты: они вились вокруг меня, точно пчелы. Им нравилось считать меня вдовцом. Откуда они это взяли, я и сам не знаю, для них, очевидно, достаточно было того, что я мужчина и долгое время живу без жены, следовательно, мне необходимо жениться и, значит, я хочу жениться. Иное у них и в мыслях не укладывалось. Поэтому они налетели на меня как саранча, предлагали мне разные партии. Я всегда с улыбкой их выслушивал, а про себя думал: что мне до того, пусть говорят, совсем неплохо, даже приятно говорить о невестах, проводить время в беседах о красивых девушках, а главное, с кем? С набожными евреями, которые, говоря о девушках, с восторгом расписывают и превозносят их красоту, их порядочность, с великой страстью и воодушевлением расхваливают их достоинства... Пусть говорят, думал я, пусть надсаживаются хоть до одурения, кого это трогает?.. Сваты между тем повсюду раззвонили обо мне, своими толками создали мне добрую славу во всем городе: я, мол, очень богат,— денег куры не клюют, знатен родом, умница, удачливый делец, а как поет — заслушаешься, к тому еще хороший человек, с открытым сердцем, добряк и со многими иными золотыми качествами, Недурно, думал я про себя, говорите, говорите, милые люди, вот вам глоток водки и говорите, где только можете!.. Один из сватов напоследок предложил сосватать меня — деньгами, правда, не пахло, но зато там — прославленный знатностью большой аристократ, каких мало на свете.

Великий аристократ, с которым меня хотели породнить, носил четырехэтажное имя — реб Иойсеф-

Маркл реб Мониш-Лэйбелес. Он был необычайно знатен родом, происходил из старинной фамилии глупского раввина. Всю свою жизнь он палец о палец не ударил, но благодаря своей родовитости всегда прекрасно жил, выдавал замуж и женил всех своих отпрысков. Бог облагодетельствовал его множеством худых, чернявых, некрасивых дочерей, вдобавок ко всем этим достоинствам они были еще и растяпы, но он всех их пристроил, они даже шли, как говорится, нарасхват. Крупные богачи, нажившиеся выскочки-лакеи, неожиданно разбогатевшие человечки неутомимо домогались родства с реб Иойсеф-Маркл реб Мониш-Лэйбелес, чтобы таким образом втереться в знать. Едва какой-нибудь из его дочерей исполнялось четырнадцать — пятнадцать лет, на нее уже отыскивался охотник, спешивший опередить других, вырывал из рук отца эту великую ценность, да еще и раскошеливался, приплачивал ему. Девушка, которую мне сватали, была чернявей и некрасивей всех остальных своих сестер, с бескровным личиком, маленькая, сухая, точно фига, высохшая фига!.. По сравнению с Голдой она выглядела, как обезьяна рядом с человеком. Сват не находил в ней, однако, ни единого недостатка; по его словам, она была полна еврейского обаяния.

— Что такого,— сказал он,— что там такого, если она лицом темновата или еще что-нибудь в этом роде, подумаешь, велика важность! Зачем присматриваться к подобным глупостям, и какое значение имеют такие мелочи? Велика ли для человека разница — немного чернее или немного белее? Пустое, все одно, право! Главное — это происхождение... Вот на что надо смотреть. А то, что род, с которым вы свяжетесь, превосходен, это, кажется, может и слепой нащупать.

Разумеется, я смеялся над словами свата. Тем не менее мне доставляло удовольствие выслушивать эти разговоры, и дело со сватовством чем дальше, тем глубже проникало в мое сознание. У меня раскрылись глаза, и я увидел, что единственный путь, который приведет к аренде и создаст мое счастье, это именно такое сватовство. Реб Иойсеф-Маркл реб Мониш-Лэйбелес — деятель синагоги, воротила, староста многих братств, пользуется благосклонностью богача, который оказывает ему большой почет, с ним советуются по поводу общинных дел,— следовательно, если я стану его зятем, я смогу очень легко стать душою богача, и он будет на диво плясать под мою дудку. Тогда у меня было бы всего в изобилии, я нажил бы немалые деньги и жил счастливо, гораздо лучше, чем когда-либо мог себе представить! Но, скажете, она некрасива? Ну, а какое это, в самом деле, имеет значение? Вот Голда — красива, а что мне с того, что она красива? Все на свете вкусно с хлебом...

Я вспомнил о Голде, и стало мне тошно, что она камнем висит на моей шее и счастью моему мешает. Я в сердце проклинал ее и думал о том, как от нее избавиться.

Сват между тем делал свое, долбил и долбил мне мозги, говорил, что, если я не поспешу, подвернется другой охотник и выхватит это счастье, вырвет из моих рук такую удачную находку и я об этом потом, несомненно, пожалею. Я дал себя уговорить, и этот сват, как расторопный человек, сразу же свел меня с реб Иойсеф-Маркл реб Мониш-Лэйбелес, перед которым расхвалил меня до небес и приписал мне достоинств больше, чем пишут обычно на еврейских надгробьях. Все обстояло хорошо, прекрасно, но отец невесты тре-

бовал, чтобы у меня не было ребенка от первой жены. Он ни за что не хотел обременять свою дочь чужими детьми. Я заверил его, что у меня нет детей, а сват, со своей стороны, клялся в этом всем святым, клялся своей долей царствия небесного и другими подобными клятвами. Мы ударили на счастье по рукам и назначили на ближайшее время помолвку. Я принялся усиленно размышлять о том, как найти способ освободиться за это время от Голды,— тихо, мирно, так, чтобы комар носу не подточил.

23

Недели три спустя после рукобитья в один из вечеров по Цвуячицу проехала кибитка и остановилась возле дома Голды. Было холодно, ветер сдувал с деревьев желтые листья, и они, устилая землю, о чем-то грустно шушукались между собой и навевали на сердце глубокое уныние. Из крытой кибитки вылез человек, который медленно подошел к дверям и стоял около них некоторое время с таким видом, точно не мог преодолеть чувство отвращения и взяться за ручку. Этот самый человек и был я, своей собственной персоной.

Когда я вошел в дом, меня что-то поразило в самое сердце, и я остался безмолвно стоять у дверей. Голда одиноко сидела на полу в уголке, уронив голову на стул. Она будто дремала и не заметила, как я вошел. На окне красным огоньком горела сальная свечка, рядом стоял стакан воды с обрывком полотна. Я сразу понял, что все это значит, и во мне заклокотали противоречивые чувства. Я вспомнил свое первое появ-

ление здесь. Как весело, как красиво все выглядело тут; как счастливо жила здесь когда-то бедная семья! Все в этом доме любили друг друга, были полны светлых надежд на будущее, и эта надежда наполняла их радостью. И вдруг я вторгся сюда, словно кошка в гнездо безмятежных, веселых голубей, и каждого из них прикончил. Михл где-то скитается, неизвестно куда и след его канул, старушку мать и Шейнделе я загнал в могилу, а теперь собираюсь безжалостно покончить с Голдой,— навсегда разрушить ее жизнь...

Я сделал шаг вперед. Голда встрепенулась, словно очнувшись от сна, и мгновение растерянно смотрела на меня. Своим бледным лицом, носившим следы больших страданий, перенесенных ею, своими красными опухшими глазами, в которых отразилась безутешная скорбь, она на секунду пробудила во мне человеческое чувство жалости, и у меня невольно вырвалось:

— Как ты поживаешь, Голда?

— Дорогой гость, право! — ответила Голда с глубоким горестным вздохом и отвернулась,— после долгого молчания он все же вспомнил и явился утешить свою жену в скорби!.. Вот как я поживаю, у меня траур... Ах, Шейнделе, Шейнделе!..

— Голда! — Я бормотал, сам не зная, что говорю: настолько потрясли меня слова, произнесенные ею с такой мукой, что они и камень могли растрогать.

— Пуста и темна моя жизнь. Я бы смерти себе желала, если б не он... Идем! — уже немного мягче сказала Голда, поднялась с полу, проводила меня за ширму и подвела к колыбели, в которой лежал спя-

щий ребенок, прижав к щечкам кулачки; сладкая улыбка временами пробегала по его личику.— Вот ради кого я хочу жить! — сказала она, показав на ребенка, и лицо ее при этом оживилось, осветилось радостью.

Ребенок вдруг раскрыл глазенки, принялся сосать пальчик, залепетал, по-детски смешно морщась. Мать заулыбалась, забыв в эту минуту все свои горести, точно сама стала ребенком.

— Посмотри-ка, сын,— говорила она игриво младенцу,— смотри-ка, кто здесь стоит: тя-тя! Поздравляю тебя с гостем! Вот это твой тя-тя, тя-тя!..

Во мне вдруг закипела кровь,— ведь я заверил моего будущего тестя, что у меня нет ребенка, и вот — передо мной лежит мой наследничек, который путает мне всю игру. Чувство жалости во мне тотчас погасло, я стоял с сердитым лицом и зло глядел на несчастного ребенка, бедняжку, который, жалобно сморщившись, громко раскричался.

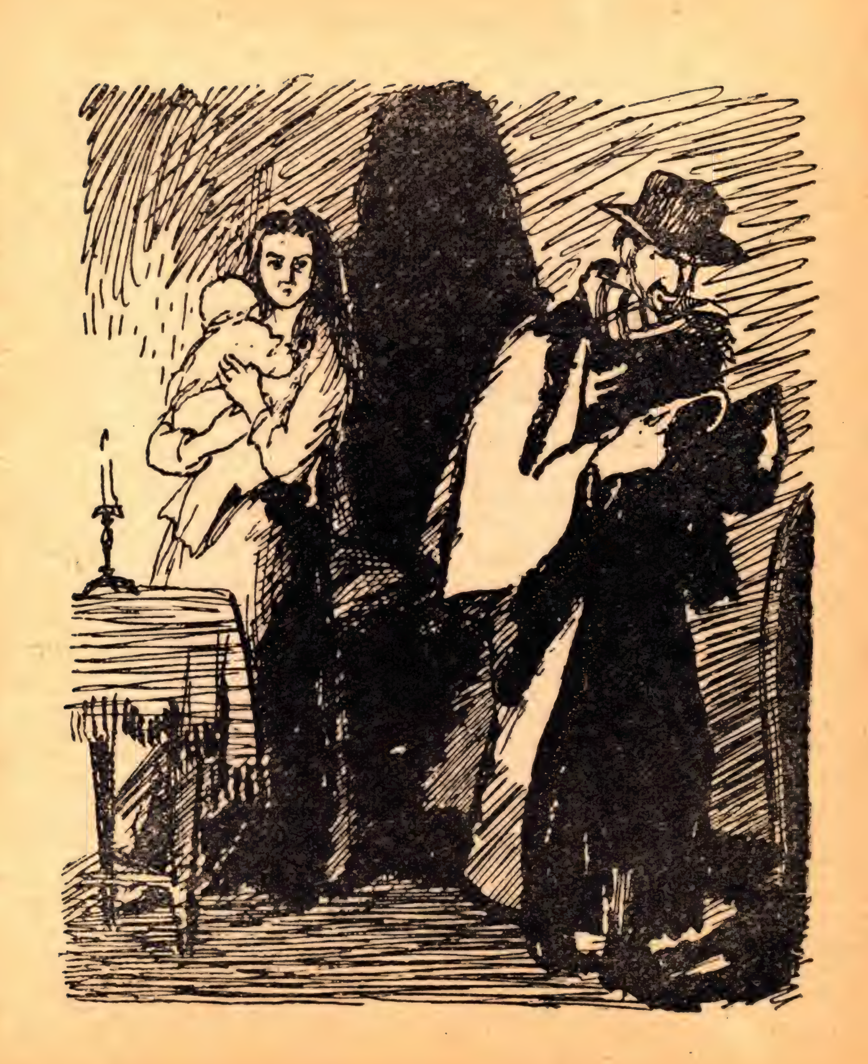
— Ша, ша! — унимала его Голда.— Тише, глупенький, почему ты боишься своего тяти?

Пока она стояла, нагнувшись к ребенку, я вынул из-за пазухи бумагу и резко швырнул ей в руки со словами:

— Вот тебе от меня развод!..

Голда застыла, ошеломленная, ее точно ударили обухом по голове, она глядела остекленевшими глазами, не произнося ни слова.

— Выслушай меня, Голда! — обратился я к ней.— Как бы там ни было, но ты мне больше не жена, мы друг к другу больше никакого отношения не имеем. И вот, если ты не будешь дурой, не поднимешь шума и оставишь при себе ребенка, я тебя, конечно, под-



держу: буду время от времени присылать немного денег.

В ответ на мои слова Голда разразилась таким странным диким смехом, что у меня не оставалось сомнений — она сошла с ума. Этот дикий смех перешел в горестный вопль.

— Вон! — крикнула она, гордо выпрямившись.— Ты недостоин, душегуб, даже на миг оставаться в этом доме, где жили когда-то честные люди, которых ты сжил со свету! Будь спокоен, за таким негодяем, как ты, я не стану гоняться. Подумать только — кто был моим мужем! Какой позор! Можешь спокойно жениться! Мне и моему ребенку не нужна твоя помощь! Пока я жива, я сумею своими руками честно заработать нам на жизнь. Вон отсюда, говорю тебе, и забудь, что у тебя где-то есть ребенок. Вон, вон!..

Я выбежал стремглав из дому и, не мешкая, той же ночью уехал.

24

Мой тесть реб Иойсеф-Маркл реб Мониш-Лэйбелес оказался волшебным ключиком, открывшим передо мной двери домов крупнейших глупских дельцов, открывшим мне множество секретов всей шатии городских заправил. Его знатность, заслуги его предков сопутствовали мне и помогли стать почитаемым человеком, старостой братств, сунуть свой нос в городские дела и взять наконец в аренду глупского богача. Тогда-то я и начал путь видного деятеля в городе, выделывал с моим медведем штуки согласно закону Исера Варгера, а евреи щедро оплачивали все представления. Я ощутимо убедился в справедливости слов

Исера, что «такого милого, такого доброго, такого золотого и такого глупого народа, как евреи, не найти на всем белом свете...»

Моя исповедь даст вам понять ничтожную долю моих помыслов, моего поведения на всем жизненном пути.

Каюсь в грехе, коим согрешил, став человечком. К черту, сказал я, все работы на белом свете. Они вовеки не дадут тебе головы поднять: останешься униженным, забитым, задавленным, всегда — козлом отпущения. Пусть другие работают, по мне пусть хоть костьми лягут, а я хочу жить, быть бездельником и хорошо жить.

Каюсь в грехе, коим грешил, арендуя. Аренда, приносившая мне легкую наживу, обратила мое сердце в камень. Я не верил в правду, в честность, в милосердие, в дружбу и во все иные добрые человеческие чувства. Я знал лишь то, что было нужно мне, что было полезно мне, и вырывал это у всякого — у бедняков, у вдов и сирот, где и как только мог. Когда бедняк плакал передо мной, заливался ручьями слез, это меня ничуть не трогало. «Что мне в твоих причитаниях,— думал я в такие минуты,— ты лучше дай мне денег! Свое состояние отдай мне, а слезы оставь при себе»,— а означает это на языке человечка: «Жид, давай гроши!» или: «Давай деньги, собака, а слезами давись сам!..»

Каюсь в грехе, коим грешил, губя. Заповедано — не губи, а я губил. Я присасывался к богачу, к божьей твари на двух ногах с обликом человечьим, и обращал его в медведя.

Каюсь в грехе, коим грешил, обращая людей в скотину. А означает это вот что: все у нас, как пра-

вило, глядят богачу в рот, поддакивая ему и одобряя все, что он делает. Во всем его поведении: в благочестии, в делах веры, в воспитании детей, в домашнем быту и повадках на рынке — воочию виден нрав богача, его вкус, его характер. Все черты воротил города — добрые ли, дурные ли, умные ли, глупые ли — в значительной мере зависят от того, что за человек тамошний богач. Благодаря тому что мы с моим скотиной-богачом корчили глупые гримасы, полезные для нашего дела, многие становились скотинами и, бедняги, постыдно дурачились. Чем глупее все было, тем благопристойнее оно казалось. Глупцу везло, а что уж говорить о невежде,— этот поднимался на самую высокую ступень... А я, горе мне, глядел и наслаждался моими глупцами. Я глядел на них, как торговец скотом на своих быков, и с радостью в сердце определял прибыль, которую они мне сулят.

Каюсь в грехе, коим грешил, измышляя законы. Судей, наставителей я держал в своих руках, и они были вынуждены делать все, что я им приказывал, издавать такие странные, невероятные законы, о которых никто никогда не знал, не слышал. Они запрещали такое, что вполне было дозволено, объявляли праведное неправедным, делали все, что было выгодно мне, потому что не могли мне перечить из страха, что я лишу их, упаси боже, куска хлеба. К примеру, судьи, бедняги, были вынуждены запретить к употреблению в пищу крупных голландских кур потому якобы, что они из породы орлов. Судьи на это пошли, повинуясь мне, а я тут играл на руку откупщику сборов, которому невыгодно было, чтобы люди питались такими крупными курами,— они дают слишком много

мяса, тогда как резнику платят поштучно, то есть столько же, сколько за малых кур.

Каюсь в грехе, коим грешил, занимаясь доносами. Если кому-нибудь не нравилось, как я ворочаю делами в городе, если он не мог спокойно видеть, как страшно обманывают и ослепляют народ, как ему морочат голову, как его водят за нос, держат по горло в зловонной грязи,— таких я и мои подручные успокаивали наговором, обеспечивали «охранным талисманом», то есть писали доносец и отсылали туда, куда следовало. Таким образом мы заткнули немало ртов.

Каюсь в грехе, коим грешил, применяя фокус-покус, то есть, вращая волшебный обруч, высасывал деньги из воздуха, изготовлял из снега творожники, вгрызался людям в горло, стоя в отдалении умудрялся укусить, превращал черное в белое, ни с того ни с сего делал из человека чучело, ловил рыбу в мутной воде, безудержно клеветал и делал многие другие подобные фокусы, которые даже Пьенете, самому знаменитому фокуснику, были не под силу.

Каюсь в грехе, коим грешил при выборах. Достоинства, которыми должен обладать человек, чтобы быть избранным на какую-нибудь должность — честность, разум, незаурядность, дар слова и пера,— все эти достоинства, с которыми приличествует предстать перед миром и которыми можно принести много пользы городу, для меня и для моей шатии были недостатками. Мне нужны были только такие люди, которым не приличествует предстать перед миром, которые не могут принести пользу городу,— то, что годилось городу, ни в коей мере не годилось мне. Мне нужен был только послушный лоботряс, только никчем-

ный человек, которого я мог бы, точно кожаное дышло, гнуть куда хочу, который продал бы за грош свою душу, раболепствовал, льстил бы мне и всей моей свите. И так как глупские обыватели, доверчивые, как дети, давали себя дурачить, водить за нос, они при выборах гласного или раввина всегда выбирали того послушного лоботряса, тунеядца, глупца, которого я хотел и от которого они же потом корчились в коликах. Разве может несмышленый ребенок рассчитать заранее, что произойдет потом? Он готов охотно делать все, только бы смочили его губки вином, дали в ручки медовый пряник, заткнули рот пирожком... А то, что потом от всего этого у него начнутся рези в животике и все это ему выйдет боком... Ну что ж, ему таки больно будет! Да, не впрок шел этот пирожок обывателю, глупому ребенку моему, долгой хворью он расплачивался за него позднее, на нем, бедняжке, потом лица не было.

Каюсь в грехе, коим грешил, любя благотворительные братства ради великой пользы, которую я извлекал из них... Участников этих братств величали и милостивцами и святыми людьми, и вдобавок к этому титулу им втихомолку перепадал, и притом весьма нередко, порядочный куш. У моего тестя был титул «действительный тайный габай», то есть староста, в руках которого в строжайшей тайне хранятся средства братств, и никто, кроме него, не знает, куда эти деньги расходуются... Я вступил во множество братств и дослужился до титула «доверенного», то есть такого деятеля, которому верят на слово: он делает все, что хочет, и не обязан перед кем-либо отчитываться... Все мы, каждый по-своему, запускали руки в общинные кассы, и все оставалось шито-крыто...

Каюсь в грехе, коим грешил, устанавливая таксы на мясо[1]. «Такса» — это самое грязное, самое зловонное место, где кишмя кишат клопы, черви и прочая подобная нечисть; это оттуда выходят те людишки, те вампиры, которые сами обжираются, а народу причиняют только горе; «такса» — это напасть, проклятие, которое ощущается во всем и является источником многих бед. Из-за «таксы» евреи хворают, они худы, изможлены и страдают от болезней, переходящих по наследству из поколения в поколение. При помощи «таксы» у нас всегда находят способ обдирать народ. Каждый грош «таксы», как магнит, притягивает к себе еще и еще — много народных денежек, грош к грошу, и кучка все растет, растет, пока не вырастает в заметный холм. Благодаря «таксе» у нас рождаются и становятся на ноги целые оравы таких существ, которые всяким плутовством морочат народ, одурачивают его. Из «таксы» выползают и с ее помощью получают пропитание все эти божьи стряпчие, воротилы, распутники, разного рода благодетели, которые попросту душу выматывают своей добротой и благочестием. Короче, благодаря «таксе» многие людишки приобретают у нас силу, влияние, право творить все, что им выгодно, все, что в их воле. Я и сам, горе мне, был одним из тех людишек. Я сам сосал из «таксы» и стоял за нее горой, потому что знал главное: пока у евреев существует «такса», они будут находиться под пятой у таких людишек, как я с моей шатией, их можно будет держать в страхе, как

[1] Такса на мясо, или коробочный сбор, — налог на кошерное мясо, который сдавался царским правительством на откуп, и откупщик выколачивал его из еврейской бедноты.

маленьких детей, толкать на всякие глупости, делать с ними все, что заблагорассудится. Я отстаивал «таксу», и «такса» служила мне опорой. Я даром ел самое лучшее, самое упитанное мясо, а бедняки платили дорого и грызли кости, они, бедняки, были овцами, а я — волком, я загрызал, душил и немало высосал за свой век еврейской крови...

Каюсь в грехе, коим грешил, во зло обращая страх перед небом. Во всех моих плутнях я пользовался этим страхом. Всегда почему-то получалось так, что я делаю все только во имя неба, что я заступаюсь за бога, оберегаю его народ, дабы остался он таким, какой есть. А так как для меня и моей шатии было куда выгоднее, чтобы евреи оставались глупцами, забитыми людьми, нетрудно понять, как не по душе мне было всякое подлинно умное слово, которое могло бы раскрыть им глаза. Как усердно я, якобы во имя бога, благословлял всякий вздор, старался изо всех сил поддержать малейшую глупость; как бесконечно фальшив я был и как ничтожна была подлинная цена моему страху перед небом! И если случалось событие, благоприятное для евреев, я объявлял его напастью и вместе с моими людьми принимал все меры, чтобы эту напасть устранить. К примеру, позволить еврейским детям учиться писать и считать, чтобы они потом могли честно зарабатывать свой кусок хлеба, у нас называлось напастью. Если евреи красиво одевались, а не носили постыдные одежды, в которые некогда заставили их обрядиться враги, это опять-таки называлось напастью. Если возникало предположение, что будет упразднена «такса», это тоже называлось напастью... Мы и при этих «напастях» не оказывались в накладе, наоборот, многие сделали из них

доходную статью, нажились и живут где-то там... Совсем недурно живут по сей день. Мне, грешному, от этих святош в ермолках немало денег в карман перепало.

Каюсь в грехе, коим грешил, создав свою шатию, людей, способных на всякую мерзость, каюсь в злоязычии, махинациях и доносах, помыкании слабыми, устранении недовольных, хранении в тайне темных дел, наглости, лицемерии и мошенничестве; в разыгрывании комедий в местах общинных сходбищ и конторах, клевете и злодействе; одурачивании, лжи, вымогательстве и плутовстве; притворстве и насилии. Смысл всего названного лежит на самой поверхности, и мне не к чему вам все это объяснять.

25

Выше мною уже было сказано, что от природы я не был ни тупицей, ни глупцом, а только забит и загнан, теперь же я должен еще заметить, что, по всем признакам, я от природы не был также ни черствым, ни жестоким: на дурной путь меня толкнули. Причиненные мне некогда жизнью большие страдания в соединении с «наукой», пройденной у Исера, ожесточили мое сердце и озлобили меня. После того как я совершал преступное деяние, во мне иногда возникало какое-то неприятное чувство, которое, точно булавочный укол, длилось мгновение, одно только мгновение, и тут же исчезало. Возьмите, к примеру, такого человека, как Гутман! Такого хорошего, честного человека, с таким добрым сердцем, как Гутман, его, который так по-дружески обошелся со мной, послушайте только: его и ему подобных я чурался, как чумы! Когда подобные ему приносили мне с поклоном книжки,

я издевался над ними, как над злейшими врагами. Это было преступлением с моей стороны, и я иногда это чувствовал, но ненавидеть их я должен был, иначе я не мог.

«О, будь они прокляты, те людишки, что сочиняют книги! Ненавидеть их надо! Они только и норовят влезть другому в душу, натворить бед своей писаниной, своими колкостями. Все у них получается «возвеселимся и возликуем»,— и гладко и занозисто. Это чудо, что ослу не даны рога; что такие злыдни, как они, не имеют денег, ни гроша за душой, что они, благословен господь, попрошайки, последние бедняки. Им все-таки приходится ради гроша нам кланяться, иначе было бы плохо! Единственное средство, чтобы эти клопы не кусались, это грош,— надо заткнуть им рот и вместе с тем исподтишка опутать их и угробить!» — так сказал Исер Варгер!

А слово Исера было для меня святым законом!

Но обо всем этом уже говорено раньше. Дьявольская страсть к деньгам очень крепко засела во мне. Я, точно губка, все вбирал, вбирал, а страх перед нищетой со всеми ее бедствиями и страданиями, всегда стоявшей перед моими глазами, ни на миг не покидал меня,— какое же место оставалось в моем сердце для добрых чувств? В лучшем случае они пробегали молнией и тут же исчезали. Но позднее, когда я уже сверх всякой меры насосался крови, когда пришло пресыщение и страх перед нищетой отступил куда-то в сторону, а дьявольская страсть к деньгам ослабла,— тогда только во мне зашевелился скованный сном дух добра, вышел из потаенного уголка в глубине моего сердца и сначала немногословно, сдержанно, тихо, с робким упреком, но чем дальше, тем

громче и громче возвышал голос, говорил мне все злее и злее. Недобрые события последних лет были для меня тяжелым испытанием, подлили масло в адский огонь, пылавший во мне.

Жена, говорят,— это зеркало дома. Какова жена, таков и домашний уклад. И, как я смог убедиться, это действительно правда. Ладно уж, о своей жене я здесь говорить не хочу. Бог с ней... Речь идет о моем доме. Мой дом был без присмотра, не имел вида. Казалось бы, богатая обстановка, безделушки, украшения, но все было неопрятно, грязно, уродливо,— смотреть противно. Во всем царило уныние, пахло запустением, все было совсем не так, как должно быть в доме. В молодости, когда я всем существом отдавался наживе, был захвачен суетой, я притворялся безразличным,— ладно уж, так и быть, пустое! И когда мне хотелось насладиться жизнью, доставить себе удовольствие, я искал его вне дома. Но в старости, когда хочется покоя, хочется посидеть у себя дома, среди близких, я глубоко почувствовал свое одиночество, свое несчастье,— нет у меня дома! И это чувство привело к тому, что жизнь мне стала не мила. Обдумывая свои прежние деяния, я сильно печалился и говорил: великий творец, ой и грешил же я! И сам себя вопрошал: к чему, ответь, все это нужно было, к чему весь твой труд, все твои затеи? К чему богатство,— ради кого?.. Двое детей моих, хилые, болезненные, недавно умерли, и это разбило мое сердце. И, точно пораженный громом, я с горечью спрашивал себя все о том же: к чему все это богатство, когда ты так одинок, когда нет у тебя того самого... дома, домашнего очага, значит? О боже мой, сколько я грешил, и — кто мне скажет? — ради кого?!

И вставал перед моими глазами добрый и тихий Гутман. Как приветлив, как он ласков был со всеми людьми! Он был бедняк бедняком, но как сияло, как все блестело в каждом уголке его дома! Сколько радости доставляла ему жена, красивая, любимая, золотая хозяйка, его добрые, образованные дети, которые искренне уважали и любили его! Он терпел нужду, но как же он был всегда благодушен и весел!..

Одажды, помню, жена его, бедняжка, сильно плакала. Уже близилась пасха, до нее осталось всего несколько дней, а в доме еще не было и признаков праздника. Он целый день посылал меня с книжками, но никто их и в руки брать не хотел. Каждый, кому я приносил его записку, воротил нос и не отвечал ни единым добрым словом. А мадам, добрая милая мадам, верная жена, которая так любила его, плакала, бедняжка, и очень сокрушалась.

— Ах,— утешал ее Гутман,— ты, право, грешишь, душа моя, проливая слезы! Нам ведь гораздо лучше, чем иным, разбогатевшим при помощи плутней, справляющим праздник на заработанные нечестным путем деньги. Мы же, упаси боже, ни у кого ничего не отняли, никому не причинили зла. Мы страдаем?.. Но страдать за правду куда прекрасней и благородней, чем быть счастливым с помощью лжи! Душа моя, не горюй, право, не надо горевать! Бог нам помогал, бог нам поможет и впредь. Что иное ему останется? Он ведь будет вынужден как-нибудь помочь нам. В самом деле, к чему мне два сюртука и шуба? Ведь носят-то один сюртук, а не два, да и шуба теперь, пожалуй, тоже вещь лишняя: дело идет к лету, а в сундуке ее, чего доброго, еще побьет моль. А ну-ка, Абрам, не поленись, пожалуйста, и немедленно отнеси эту шубу

и этот сюртук в заклад или продай их, сделай с ними что хочешь, и будет у нас маца на пасху, горькие и сладкие приправы, все, что душе угодно.

Эта сцена часто возникала перед моими глазами. Я видел, что Гутман был счастлив и без денег. Отсюда, видимо, следует, что счастье совсем не в деньгах, а в чем-то ином,— только честные люди бывают счастливы и довольны. При этом в моей памяти всплыли слова, сказанные Гутманом однажды Якобзону: «Страдать — означает льстить, лицемерить. Льстец, лицемер вынужден всегда бояться, остерегаться, точно вор». Только теперь я стал понимать, как справедливы, как верны были его слова. Гутман лишь рассудком постиг, что льстецу, лицемеру плохо, как вору: ему всегда приходится бояться, остерегаться, как бы его не разгадали, как бы не разоблачили его дурных дел,— а жить вечно в страхе, быть вынужденным вечно скрывать свое истинное лицо — это штука далеко не из приятных. Я же теперь ощущал это сердцем, чувствовал, что фальшивому человеку всегда как-то не по себе, даже без всяких причин. Что-то его гнетет, что-то камнем лежит на его сердце, что-то будоражит его кровь, голова чуть не раскалывается, в груди бушует ад, беснуется огонь, ему почему-то тесен мир, и он не знает куда деваться. Он готов выпрыгнуть из самого себя, с радостью бежать от себя куда-то далеко-далеко, куда глаза глядят, к черту на рога!

Меня часто мучили злые кошмары. Мне мерещилось, что в руках у меня нож и я вонзаю его в горло своих жертв. Мне чудилось, будто я слышу стоны, вздохи, хрипы умирающих, будто вся моя одежда забрызгана кровью. Михл, добрый тихий Михл, мертвенно-бледный, часто мелькал перед моими глазами.

Он скорбно глядел на меня, показывал на опутывавшие его цепи и с печальным лицом все спрашивал: «Ответь, Ицхок-Авром, что я тебе сделал?..»

Старушка и Шейнделе вырастали словно из-под земли, обе задыхались в кашле, впивались в меня красными пылающими глазами и кричали: «Вот он, наш убийца! Вот он — злодей, душегуб!» Вдруг они превращались в груду костей, из костей вылезали черви и ядовитые змеи, которые, раскрыв пасть, бросались на меня и кусали, жалили, кололи, точно иглами...

Больше всех донимала меня Голда. Мне казалось, будто я вижу ее, одинокую, подавленную, скорбную, за работой. Игла колет ей пальцы, она же ничего не чувствует, даже не скривится от боли, а продолжает машинально шить и качает, качает ногой тяжелую скрипящую колыбель, тихо напевая при этом «баю-баюшки-баю!» И голос ее невыразимо печален. А колыбель пуста, никого в ней нет. «Голда! — кричу я.— Где он? Где ребенок?» Голда качает и продолжает петь, не отвечая мне ни единым словом:

Баю-бай, сыночек мой,
Мать склонилась над тобой!

Колыбелька чуть скрипит,
Козочка-белянка спит,—
Козочка мэ! Козочка мэ!

Ты не плачь, не кричи,
Одинокий мой, молчи! —
Козочка мэ! Козочка мэ!

Пуст и темен белый свет,
Ни тепла, ни пищи нет,—
Козочка мэ! Козочка мэ!

А на улицу — не сметь! —
Воет волк, рычит медведь,—
Козочка мэ! Козочка мэ!

Горе мне, не доглядела я,—
Козочка пропала белая;
Где мне, где искать ее?
Горе мне, дитя мое!..

С этими словами Голда встает: кровавые слезы катятся из ее глаз; она смотрит по сторонам, протягивает руки и кричит диким голосом: «Ой, не стало моей белой козочки!» Я в диком страхе выбегаю из дому, мне всюду мерещатся волки, медведи!.. На зубах у волков и медведей хрустят нежные косточки, и издали слышатся отчаянные вопли бедной, несчастной козочки...

26

Если человека гнетет горе, гласит изречение, пусть выговорится. Таить про себя горести, не высказывая их, это — боль, которую трудно вынести: ведь и кипящий железный котел может взорваться, если стиснутый в нем пар не находит себе выхода. А у меня в сердце клокотало сильнее, нежели в котле,— там пылал ад!.. Мои прежние грешные дела, тяжелые чувства и мрачные жестокие кошмары — все вместе, точно густое пламя в огнедышащей горе, сплелось и металось во мне, изводя до смерти. Гораздо легче грешнику нести муку в аду, чем нести ад в себе.

Тогда-то я и увидел, убедился, что человек несет свой ад и свой рай в себе. Его судья сидит на судейском троне в нем самом. О, если бы я мог излить мое

сердце, чтобы облегчить немного свои страдания! Мне некому было открыться. Серебра и золота нажил я на этом свете много, но верных друзей — ни одного.

Великой милостью всевышнего считаю я, что он надоумил меня высказаться если не устно, то хоть с помощью пера.

Сам бог, указавший на дерево в Мерре, способное сделать горькую воду сладкой[1], указал мне на перо, чтобы с его помощью облегчить мои страдания.

В эти мучительные, трудные минуты, когда на сердце у меня бывало очень тяжело, я как умел изливал на бумаге свою наболевшую душу. Вначале это давалось мне нелегко: непривычно мне было; потом пошло как будто само собой, словно я доброму другу своему рассказывал, раскрывал перед ним свое сердце. С течением времени мои рукописи выросли в полное жизнеописание, и — послушайте только! — когда я прочитал их от начала до конца, у меня немного полегчало на душе! Грехи мои уже не казались мне такими тяжкими. То есть грехи отдельной личности, мои грехи оказались не только моими личными, но и грехами общества, доля вины, а может быть, и наибольшая доля вины, лежит на общине с ее порядками.

Возьмите, к примеру, еврейские талмудторы!

Обездоленных детей, бедняжек, сирот, загоняют в какой-то полуразрушенный сарай, где они, голодные, оборванные, проводят дни в грязи и мусоре; бьют и секут их сколько влезет, а учить — ничему их там не

---

[1] Согласно библейской легенде, древние евреи после долгих поисков воды нашли ее в Мерре. Однако пить эту воду нельзя было, потому что она была горькая. И бог сотворил чудо: он указал на дерево, которое следовало бросить в воду, после чего она стала сладкой.

учат. Делают из них бездельников, превращают в несчастные, никчемные существа — ни богу, ни людям. Не лучше необузданных меламедов талмудторы и, с позволения сказать, старосты, собирающие пожертвования, дерущие с живых и мертвых якобы для бедных еврейских детей. Они твердят об одном: надо вырастить из бедных детей добрых евреев. А растят из них существа, лишенные человеческого облика!..

Шутка ли сказать, что я, одинокий сирота, вынес в детстве в талмудторе! Я уже не говорю о том, как истязали мое изможденное тельце, ведь на то я и был нищ, чтобы терпеть голод, холод и побои, но, помилуйте, за что они — боже, боже! — изуродовали мою душу? Унизили в ней все человеческое! Мало того, что меня не научили жить человеком среди людей, во мне убили чувство чести, человеческое достоинство грубым обращением — бранью, сквернословием.

Вот оно, еврейское вероучение, которое жалостливые люди несут бедным детям!

А каково у нас, к примеру, с ремеслом?

Ремесло, как известно, низко оценивается среди евреев. Насколько бездельник, просиживающий все дни в синагоге, является предметом гордости, настолько ремесленник — позорное пятно в семье. Всякий, считающий себя порядочным человеком, хоть он и пухнет с голоду, не хочет обучать своих детей какому-нибудь ремеслу. На это имеются беспризорные сироты, дети низов, простонародья. Этих отдают в учение к ремесленникам, и никто не позаботится проследить за тем, как они учатся, как с ними там обходятся. Обучение ремеслу начинается обычно с того, что детей заставляют выполнять всякую работу по дому: выносить помои, таскать воду, нянчить хозяйских детей,

сопровождать хозяйку при покупках, приносить и относить заказы, вечно хлопотать по хозяйству, выполнять любые капризы, терпеть побои и оскорбления; вдобавок, дети слышат от подмастерьев похабные разговоры, всякие любовные истории, рассказанные так, что если в детях тлела искра человечности, то и она гаснет. Вот чем начинается обучение ремеслу, а кончается оно тем, что выходит никудышный мастеровой, одно только слово, что работает.

Обвинять во всем ремесленников тоже нельзя. Ведь и они, бедняги, в свое время изрядно намучились и, как тысячи других обездоленных детей, тоже начинали с помойных ушатов и иной подобной работы. До сих пор печально звучит в моих ушах песенка сапожника, которой он, бывало, в шутку напутствовал меня, когда я выносил помои: «Воздайте почести Ицику! Тащи, тащи, милейший Иценю-Авременю! В твои годы я достаточно помойных ушатов перетаскал!»

Я грешен, создатель, но мой грех падает не только на меня. Благодарю тебя, что ты раскрыл мне глаза!

Ты раскрыл мне глаза, создатель, и не напрасно. Я желаю совершить такое, что могло бы оградить других от зла и показало бы евреям прямой путь избавиться от своих заблуждений, искупить свою вину перед обездоленными детьми.

Согласно моему завещанию, копию которого я посылаю вам, рабби, мой большой дом предоставляется под талмудтору для обездоленных детей и школу для обучения ремеслам. Прибыли от лавок и часть процентов с оставляемого мною благотворительного фонда пусть идет на содержание обеих этих школ. В талмудторе — таково мое желание — пусть обучают

детей не только иудаизму[1] и древнееврейскому языку, но и языку нашей страны и светским наукам, дабы вырастить из них настоящих людей, угодных богу и полезных ближним. В другой школе — таково мое желание — пусть обучаются науке и ремеслу одновременно; пусть там воспитываются ученики, не знающие позора, оскорблений и унижений, пусть они выйдут оттуда хорошо обученными ремесленниками, знающими себе цену, и тем самым заставят других ценить их по достоинству.

Чтобы осуществить это мое желание, необходимо собрать в этих школах хороших учителей, людей с чувством и разумом, с сердцем и головой, любящих и знающих свое дело. И главное — это любовь к детям, потому что они ведь будут иметь дело с обездоленными, загнанными, одинокими детьми, жаждущими той любви, какой хочется юному сердечку любого живого существа и которой они, бедняжки, еще не видели.

Доброе слово проникает в детей глубже, действует на них лучше всяких в мире угроз, упреков и поучений, и они готовы за него идти в огонь и в воду. Это я испытал когда-то в детстве на самом себе.

Однако это дело потребует хороших руководителей, под чьим наблюдением все выполнялось бы наилучшим образом, а такими, желаю я, чтобы были вы, рабби, и герр Гутман. Благодаря вам обоим в новосозданных школах сольются воедино наука и мудрость. Вы, рабби, будете следить за тем, чтобы занятия по еврейским предметам проводились как должно, а Гутман, со своей стороны, пусть наблюдает за всем,

---

[1] Иудаизм — термин, принятый для обозначения религии, распространенной главным образом среди евреев.

что касается общего просвещения. Зная хорошо вас обоих, я надеюсь, что вы будете довольны друг другом. Оба вы желаете добра нашему народу, и каждый из вас будет делать для него все, что может, будет стараться быть ему полезным, чем может. Оплата за этот труд определена в моем завещании.

Остальные поступления от благотворительного фонда вы вдвоем с Гутманом употребите на всякие благие дела в городе, такие, какие вы оба сочтете необходимыми. Быть может, неплохо было бы учредить большой хедер для множества детей с настоящими хорошими меламедами и учителями, где изучались бы еврейские священные книги и светские науки; где дети научились бы быть не только евреями, но и полезными, разумными людьми. Мне было бы очень желательно, чтобы на такой городской хедер вы ежегодно отпускали известную сумму из поступлений от благотворительного фонда, но при условии, если вы с Гутманом будете постоянно опекать этот хедер.

Я знаю, такой хедер, которым руководили бы вы и Гутман, явился бы счастьем для еврейских детей. Но вместе с тем — именно потому, что такой хедер явился бы счастьем для еврейских детей, я знаю, он окажется не по нутру всякого рода человечкам, и они будут сопротивляться, плутовать, прикрываясь страхом божьим и грозя карой господней, утверждать, что это противно духу еврейства. Они будут изыскивать всяческие средства, только бы не допустить подобного. И тем не менее вы, рабби, со своей стороны попытайтесь сделать все, что только возможно. Авось бог явит вам свою милость.

Однако все, что будет по моей воле сделано для бедных детей здесь, в моем городе, еще недостаточ-

но. Одна ласточка не делает весны. Нужно подвинуть на это и других, чтобы нечто подобное было создано во всех местах еврейских поселений. Поэтому желаю, чтобы моя исповедь вмесге с этим завещанием были напечатаны. Пусть они звучат в ушах богачей, дельцов, в ушах всего еврейского народа. И если даже слова мои не воздействуют на них, не сделают их лучше при жизни, не заставят их понять, что делать для облегчения доли своих бедных братьев, творить добро и праведно жить, они по крайней мере научатся умирать... Сколько богачей довелось мне знать за мой короткий век, и все они до последнего своего дыхания оставались такими, какими были, и умерли глупцами. Пусть же богачи услышат эту исповедь, эти слова мои, и, глядя на меня, научатся хотя бы умирать, уходить из этого мира людьми.

Умирайте, богачи, умирайте! Умирайте как люди!..

Но до той поры, пока моя исповедь достигнет ушей всех, вы, рабби, до моего погребения прочтите ее перед нашими местными богачами. Для меня это будет искуплением грехов, а для них — поучительно. Ничего, пусть знают!..

Привести в должный порядок все эти бумаги, исправить мои грубые ошибки, добавить немного перцу, немного пряностей, чтобы щипало, чтобы приобрело вкус, напечатать отдельными книжками и распространить их потом в мире — на все это мастак один только Менделе Мойхер-Сфорим. Я помню его по Цвуячицу, когда он был еще молодым человеком и ходил в молодоженах. Ему передайте это, и он, надеюсь, поймет все и проникнется моей волей наилучшим образом. Разумеется, его труд должен быть щедро оплачен».

27

Когда раввин кончил читать и отложил в сторону бумаги, среди собравшихся в каморке разгорелись страсти. Богачи были в невероятном гневе. Одни с досады кусали губы и молчали, другие жужжали, точно мухи, третьи вздыхали, охали, ойкали.

— Что вы так вздыхаете, реб Хоне? — обращается один богач к другому и при этом сам вздыхает.

— Те-те-те! — ворчит реб Хоне, покачивая головой.— Так вот оно что... Вот куда его занесло! Поди и верь после этого людям... Мир стал уже не тот, право же, мир оскудевает... Поистине оскудевает, какой срам! Такое... а, что? Ужас, честное слово!.. Ведь что же это, в самом деле, получается, реб Бериш... Ну, и история, какая история!..

— Я уж и раньше понял,— отвечает Бериш,— куда пуля метит. Ай-ай, у меня нюх, реб Хоне... К чему нам, глупцам, понадобилось сидеть тут и, подобно ослам, дожидаться, пока пуля нас настигнет? Разве я не говорил: тьфу, тьфу!.. Уйдемте! Почему же вы остались, а? Чтобы до конца услышать все колкости?.. Но с другой стороны... Пусть так... Так и быть! Что особенного?.. Правда, это немного того... Досадно... Но ладно, ничего, реб Хоне, мы уже и не такое слыхивали. И что особенного, в самом деле, случилось?.. Конечно, поначалу вы, быть может, и были правы, это и в самом деле... того... Как бы это сказать?.. Но по сути дела — вздор, пустое!.. Глупец остается глупцом, а все на свете как шло, так и идет, все остается-таки по-прежнему...

— Нет, нет, рабби! — кричал кое-кто из богачей в сильнейшем возмущении.— Это неслыханно...

С какой стати? Собрать людей и говорить им в глаза такое... Как так? С какой такой стати? Превратить людей, превратить всех нас, простите, в это самое... Кто его просил такое говорить?.. Про себя самого говори, пиши, но при чем тут посторонние? Кто тебе дал право соваться в дела другого? Нет, рабби! Это большая несправедливость!

— Ну, реб Менделе,— обратился ко мне раввин после того, как все богачи разошлись,— скажите, пожалуйста, прошу вас, кто такой у вас там в Цвуячице этот герр Гутман?

— Из Цвуячица, рабби, я уже давно выехал. Когда я сделался продавцом книг, я с семьей сразу же выехал оттуда в Кабцанск. И по сей день я кабцанский еврей!

— Но Гутмана вы знаете, реб Менделе?

— Да, рабби, я очень хорошо помню его — этакий «немец» с холеной бородкой, но очень хороший, честный человек. Недаром говорят: лучше человек без бороды, чем борода без человека.

— Вот я и прошу вас, реб Менделе, потрудитесь, пожалуйста, съездить, не мешкая, завтра же в Цвуячиц, передать герру Гутману мое письмо и, как вы это умеете, убедить его поскорее и во что бы то ни стало приехать сюда, дабы мы смогли тотчас же выполнить волю покойного. И еще прошу вас, милейший реб Менделе, возьмите на себя труд, напечатайте все эти бумаги, сделайте множество книжек, распродайте их во всех еврейских поселениях, да по дешевой цене, чтобы народ больше покупал. Об оплате вашего труда говорить не стоит, все будет, бог даст, как быть тому и надлежит.

* * *

Возвратившись назад к синагоге, я застал свою лошадку в очень бедственном положении. Озорники, сорванцы вырвали у нее почти все волосы из хвоста на струны, оставив в нем что-то около сорока волос. Жрать ей было нечего. Она стояла серьезная, свесив нижнюю губу, глядела на тележку с книгами и размышляла. О чем может размышлять лошадь, глядя на книги, это нашему уму непостижимо. Знаю только, моя злополучная глядит и размышляет; пусть лошадиный, но это все же взгляд... Но не в том суть. «Ну, умница моя,— восклицаю я, ухватив мою злополучную за пейс, то есть за чуприну,— тебе я задолжал сегодня много овса. Ты поступила как разумница, что привела меня в Глупск. Своей мудростью ты принесла пользу и мне и литературе. Да понимаешь ли ты, лошадка, что ты такое совершила? Какое прекрасное сочинение мне теперь суждено издать, и только благодаря тебе, благодаря твоему уму, подсказавшему тебе двинуться на Глупск! Отныне ты веди меня, лошадка, ты, умница моя, я отпускаю вожжи и складываю перед тобой мой кнут!..»

Назавтра я закончил все необходимые приготовления и двинулся в путь.

Прибыв в Цвуячиц, я узнал, что Гутман оттуда выехал, и неизвестно, где он теперь находится. Я принялся за свое дело, поспешил поскорей напечатать эту книгу, не жалел труда, чтобы она получилась, как сказано, «возвеселюсь и возликую», то есть гладко и занозисто... Пользуюсь возможностью и печатаю здесь еще и вот это:

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Почтеннейшие! Тот из вас, кто знает, где находится герр Гутман или встретится с ним где-нибудь, пусть потрудится попросить его во что бы то ни стало немедленно прибыть в Глупск, где его дожидается раввин, чтобы вместе с ним учредить образцовую талмуд-тору и школу для ремесленников, а также затеять много других полезных нововведений.

Евреи, сыны милосердия, сжальтесь и сделайте это ради бедных еврейских детей!..

1864—1879.





ПОВЕСТЬ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВЕНИАМИНА ТРЕТЬЕГО,

или краткое описание того, как проник он в Горы Мрака, что видел и слышал в дальних странах; описание всех его приключений, изложенное на языках народов мира, а ныне и на нашем еврейском языке

МЕНДЕЛЕ-КНИГОНОШЕЙ.

Вступление Менделе-книгоноши

Так говорит Менделе-книгоноша: благословен создатель, предначертавший пути светил в высях небесных и всех его тварей в низинах земных! И травинка из-под земли не пробьется, покуда ангел легкокрылый не ударит по ней и не повелит: пробивайся, расти!.. Тем паче человек! У него-то, наверное, имеется ангел-хранитель, который подгоняет его и повелевает: ну-ка, выползай на свет божий!.. А уж о людях почтенных, о людях уважаемых и говорить не приходится! Их, конечно, охраняют сонмы херувимов, подстрекающих каждого и нашептывающих ему примерно так: «Ну-ка, Хайкеле, душа моя, пойди-ка займи деньжонок, сколько сможешь! Ступай-ка нахватай товаров у купчишек короткополых! Вылезай, Хайкеле, выбирайся, шельмец этакий, из болота! Вытащи потихоньку весь товар из своей лавки, а кредиторам кукиш покажи!.. А ты, Ицикл, пройдоха этакий, потрудись явиться к своему помещику-покровителю, выкинь какой-нибудь фокус-покус, обведи его вокруг пальца, шепни ему на ушко про одного, про другого,— про кого вздумается...» И еще наставляют ангелы: «Плоди-

тесь и размножайтесь, нищие, подобно траве и крапиве. Таскайтесь, сыны израилевы, таскайтесь по миру!.. А вы, хозяева достопочтенные, все равно зря небо коптите, делать вам нечего, в баню пожалуйте, париться!..»

Но не то разумею. Намереваюсь я рассказать вам, высокочтимые, об одном из братьев наших, о том, как забрел он в дальние края и тем самым снискал себе славу нетленную.

Все английские и немецкие газеты в прошлом году не переставали писать об удивительнейшем путешествии, совершенном неким польским евреем Вениамином в восточные земли. «Помилуйте,— восклицали они в изумлении,— еврей, польский еврей, без оружия, без снаряжения, с одной лишь сумой за плечами, с молитвенником и филактериями под мышкой, проник в такие дебри, до которых даже великие и знаменитые английские путешественники добраться не могли! Должно быть, не человеческими усилиями совершено это, а силами, кои разуму нашему постичь не дано. Это означает, что разум в такой же степени бессилен, в какой и сила наша разуму непостижима. Но во всяком случае, как бы там ни было, весь мир обязан Вениамину теми открытиями и великими деяниями, которые он совершил и благодаря которым карта мира обрела совсем иной облик. Вениамин по праву заслужил медаль, присужденную ему Лондонским географическим обществом...»

Еврейские газеты тут же подхватили эти рассуждения и, как известно читателям этих газет, носились с ними и раздували их в течение всего прошлого лета. Они перечисляли всех еврейских мудрецов от Адама до наших дней, дабы показать, как велик и мудр

еврейский народ. Они даже сочинили подробный перечень путешественников всех времен, начиная от Вениамина Первого[1], жившего семьсот лет тому назад, и Вениамина Второго[2] и кончая бесчисленной оравой бродяг, странствующих у нас и по сей день. И дабы возвеличить путешествия нынешнего Вениамина, газеты, как это водится у евреев, перво-наперво смешали с грязью его предшественников, присовокупив, что все теперешние путешественники — попросту скопище попрошаек, не имеющих пристанища и крова... Все их, с позволения сказать, странствия — это не что иное, как хождение из дома в дом за подаянием; куда им, обезьянам этаким, до нашего Вениамина, Вениамина Третьего, подлинного путешественника! Это о нем, о трудах, описывающих его странствия, твердили газеты, повторяя на все лады известное изречение: «Столь благоуханных кореньев, столь ароматных трав среди евреев никогда еще не произрастало. Благословен и осыпан алмазами да будет тот,— провозглашали они,— кто драгоценный клад путешествия Вениаминова, воспетый на всех языках мира, прославит и на языке священном:[3] пускай и евреи отведают патоки, сочащейся из еврейского улья, и да воспрянут они духом!..»

---

[1] Вениамин из Туделы — знаменитый путешественник XII века; оставил книгу под названием «Путешествия рабби Вениамина».

[2] Вениамин Второй (1818—1864), настоящее его имя Иосиф Израиль. Питая склонность к скитальческой жизни, он принял имя путешественника Вениамина из Туделы. Книга Вениамина Второго «Пять лет на Востоке» была издана на древнееврейском языке в 1856 году.

[3] То есть на древнееврейском.

И я, Менделе, всегда исполненный желания приносить в меру сил моих пользу нашим братьям евреям, не смог удержаться и решил: «Покуда еврейские сочинители, мизинец коих толще моего бедра, соберутся издать свои фолианты о путешествии Вениамина на священном языке, попытаюсь-ка я хотя бы вкратце рассказать о нем на нашем простом еврейском языке». И вот, уподобившись ратоборцу, препоясал я чресла свои и, невзирая на дряхлость и немощь свою, немало потрудился и извлек из обильного сего клада то, что будет на пользу детям Израиля, чтобы поведать об этом со свойственной мне чистосердечностью. Я как бы внял грозному велению свыше: «Пробудись, Менделе, проснись, вылезай из-за печи! Набери полные пригоршни благоуханных трав из сада Вениаминова и приготовь яства для братьев твоих по вкусу их». И вот я с божьей помощью выбрался из-за печи и приготовил пряное блюдо, которое и ставлю перед вами. Вкушайте, почтенные, на доброе здоровье! Да послужит вам повесть сия поучением: пусть преуспевает в делах своих всяк по своему желанию, всяк по своему разумению. А если, упаси бог, кто-нибудь ошибется, пусть изловчится и извернется, да пребудет неизменно прав и да сопутствуют ему все блага, как желает вам того ваш верный слуга

смиренный *Менделе-книгоноша.*



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кто такой Вениамин, откуда он родом и как он ни с того ни с сего стал путешественником

«Всю свою жизнь,— рассказывает о себе сам Вениамин Третий,— то есть вплоть до того, как я задумал совершить свое великое путешествие, я провел в Тунеядовке. Здесь я родился, здесь воспитывался, здесь же в добрый час и сочетался браком с женой своей, благочестивой Зелдой,— да пошлет ей господь долгие годы».

Тунеядовка — маленький городок, заброшенный уголок, в стороне от почтового тракта, почти отрезанный от мира. Случится, попадет туда кто-нибудь,— жители распахивают окна, двери, и с удивлением разглядывают нового человека. Соседи, высунувшись из

окон, спрашивают друг у друга: «Кто бы это мог быть? Откуда он к нам свалился?.. Что ему нужно?.. Спроста ли это?.. Нет, не может быть! Так просто, ни с того ни с сего не приезжают! Видимо, здесь кроется нечто такое, что надо разгадать...»

При этом каждый пытается блеснуть смекалкой и житейским опытом. Догадки, одна другой чудовищней, сыплются, как из дырявого мешка.

Старики рассказывают истории, приводя в пример подозрительных «гостей», которые в таком-то и таком-то году приезжали сюда. Шутники норовят сострить, и иной раз не совсем пристойно. Мужчины пощипывают бородки и ухмыляются. Пожилые женщины полушутя, полусердито бранят остряков. Молодухи переглядываются исподлобья, прикрывают рот рукой и давятся, едва сдерживая смех. Рассуждения по этому поводу катятся от двора к двору и, словно снежный ком, разрастаются, набухают, пока не докатятся до самой синагоги — за широкую печь, куда обыкновенно доходят всевозможные слухи и толки о всяких делах и событиях,— будь то семейные тайны или же политические суждения насчет Стамбула, насчет турка или австрияков; будь то дела денежные, как, например, о размерах капиталов Ротшильда по сравнению с достоянием крупных окрестных помещиков или других известных богачей; или будь то последние новости о гонениях на евреев, о племени красноликих израильтян[1] и тому подобное. Каждый из этих вопросов обсуждается особым комитетом, состоящим из благообразных пожилых людей, просиживающих в си-

[1] Красноликие израильтяне — мифические еврейские племена.

нагоге с утра до полуночи, покинувших на произвол судьбы жен и детей своих и всецело бескорыстно, безвозмездно, спасения души ради отдавшихся нескончаемым беседам и спорам. Отсюда все эти спорные вопросы частенько перекочевывают в баню, на верхний поло́к, и там при полном сборе местечковых обывателей получают окончательное, не допускающее возражений разрешение. После этого никакие властители Востока и Запада, хоть становись они на голову, ничего не изменят. Турецкий султан на одном из таких заседаний чуть было не попал в беду. Не будь среди почтенных хозяев нескольких ярых его приспешников,— кто знает, что бы с ним стряслось!.. Бедняга Ротшильд чуть было не лишился там десяти — пятнадцати миллионов. Впрочем, несколько недель спустя, когда в бане было не очень холодно и веники беспрерывно взмывали кверху, публика, что называется, расщедрилась, и Ротшильду сразу накинули миллионов полтораста чистой прибыли...

Что касается самих обитателей Тунеядовки, то они, не про вас будь сказано, люди бедные, можно сказать — нищие. Но нужно им воздать должное — бедняки они веселые, жизнерадостные, неунывающие. Если спросить невзначай тунеядовского еврея, как и чем он перебивается, бедняга в первую минуту не найдет что ответить, растеряется. А придя в себя, проговорит смиренно:

— Я? Как я живу? Да так... Есть на свете бог, скажу я вам, который печется обо всех своих созданиях... Вот и живем... Авось он, скажу я вам, и впредь не оставит нас своими милостями...

— Чем же вы все-таки занимаетесь? Знаете какое-нибудь ремесло или другим чем кормитесь?

— Грех жаловаться... Господь бог одарил меня голосом. По праздникам я молюсь у амвона, обрезание делаю, мацу раскатываю мастерски, иной раз молодого человека с девицей сосватаю... У меня и место постоянное в этой вот синагоге имеется. Кроме того, я, между нами говоря, содержу шинок, который «доится» помаленьку, а коза у меня, не сглазить бы, и вовсе неплохо доится. К тому же здесь неподалеку есть у меня богатый родственник,— и его на крайний случай подоить можно... А помимо всего прочего, скажу я вам, есть на свете бог, да и евреи — народ жалостливый, сердобольный... Так что, скажу я вам, нечего господа гневить!

И еще нужно воздать должное тунеядовцам — люди они без причуд: в нарядах неприхотливы, да и в еде не слишком привередливы. Истрепался, к примеру, субботний кафтан, расползается по швам, порван, грязноват,— ну, что поделаешь! Все-таки он, как-никак, атласный, блестит. А что местами сквозь него, как в решето, голое тело видать, так кому какое дело? Кто станет приглядываться? Да и чем это зазорнее голых пяток? А пятки разве не часть человеческого тела?!

Кусок хлеба с кулешом — были бы только,— чем плохой обед? А уж о кисло-сладком мясе с булкой в пятницу, если есть у кого,— и говорить нечего. Это ведь достойно царского стола! Лучше этого, пожалуй, и на свете нет! Если бы кто-нибудь стал говорить тунеядовцам об иных блюдах, кроме фаршированной рыбы, жаркого, тушеной моркови или пастернака, на него посмотрели бы как на дикаря и отпустили бы по его адресу немало язвительных словечек, высмеяли бы: с придурью он, что ли, или рехнулся и пытается заморочить тунеядовцам голову всякими небылица-

ми — пролетала, мол, корова над крышей и яичко снесла...

Сладкий рожок — ведь это плод, радующий душу! Глядя на него, вспоминаешь землю израильскую! При этом закатывают глаза и вздыхают: «Ах, веди нас, отец милосердый, в радости в страну нашу родную, где козы питаются сладкими стручками рожкового дерева!»

Случилось однажды, что кто-то привез в местечко финик. Посмотрели бы вы, как сбежались глазеть на это чудо! Раскрыли пятикнижие и удостоверились, что финик упоминается в библии! Поразительно! Подумать только — финик, вот этот самый финик родом из страны Израиля!.. Казалось, вот она, земля обетованная, перед глазами: вот переходят через Иордан, вот гробница праотцев, могила праматери Рахили, западная стена иерусалимского храма... Вот, казалось тунеядовцам, они погружаются в теплые воды Тивериады, взбираются на Масличную гору, едят финики и рожки и набивают себе полные карманы священной землею палестинской...

— Ах! — восклицали тунеядовцы, и слезы навертывались у них на глаза.

«В ту пору,— рассказывает Вениамин,— вся как есть Тунеядовка душою была в стране Израиля. Горячо говорили о мессии и со дня на день ожидали его пришествия. Кстати, назначенный новый полицейский пристав особенно сурово правил местечком: у нескольких евреев сорвал с головы ермолки, одному пейсы обрезал, кое-кого сцапал поздно ночью в переулочке без паспорта, забрал чью-то козу, которая сожрала новую соломенную крышу... Это, помимо всего прочего, побудило запечный комитет усиленно заняться

турецким султаном: доколе же правитель измаильтян будет властвовать? Снова пошли разговоры о десяти коленах Израилевых[1], о том, как счастливо они живут в далеких краях в богатстве и чести. Пошли толки и россказни о красноликих израильтянах — потомках Моисеевых, об их могуществе и разных подобных вещах. Им я, главным образом, и обязан путешествием, которое потом совершил...»

До той поры Вениамин был подобен невылупившемуся из скорлупы цыпленку или червяку, забравшемуся в хрен: он думал, что на Тунеядовке свет клином сошелся, что жизни лучше и слаще, чем здесь, и быть не может.

«Я полагал,— говорит в одном месте Вениамин,— что богаче нашего арендатора не к чему и быть. Шутка ли! Такой дом, такое достояние! Четыре пары медных подсвечников, висячий шестисвечник с орлом наверху, два медных котла, пять медных кастрюль, целая стопка оловянных тарелок, чуть ли не дюжина томпаковых[2] ложек, два серебряных бокальчика, посудинка для пряностей, ханукальный светильник, часы-луковица с двумя крышками и толстой цепочкой из ракушек, две коровы да еще третья стельная, два субботних кафтана и еще много всякого добра! Я был уверен, что единственный на свете мудрец — это реб Айзик-Довид, сын реб Арн-Иосла, мужа Соре-Златы. Шутка ли! Говорят, еще в молодости он знал толк в дробях! Он мог бы стать министром, улыбнись ему

---

[1] Десять колен Израилевых.— Согласно преданию, в 722 г. до н. э. ассирийцы, разрушив древнеизраильское царство, увели в плен десять колен (племен) Израилевых. Это предание служит сюжетом многих легенд и сказаний.

[2] Томпак — сплав меди с цинком.

счастье. У кого еще, казалось мне, такое благообразное обличие, такой умильный говорок, как у нашего Хайкла Заики! Есть ли на белом свете другой такой знаток своего дела, такой воскрешающий из мертвых целитель, как наш лекарь, который, по слухам, обучался искусству врачевания у некоего цыгана из египетских чудодеев».

Словом, жизнь в местечке казалась Вениамину прекрасной, замечательной. Правда, жил он в нужде: и он сам, и его жена, и дети были разуты, раздеты. Но разве Адам и Ева стыдились своей наготы в раю? Однако удивительные рассказы о «красноликих израильтянах», о «десяти коленах» запали Вениамину глубоко в сердце, и с тех пор ему показалось тесно в местечке. Что-то влекло его туда, туда — в далекие земли. Всем сердцем тянулся он в те края, как тянется ручонками ребенок к далекой луне. Казалось бы на первый взгляд, ну что такое финик, пристав, ермолка, пейсы, еврей, задержанный поздно ночью в переулке, коза да соломенная крыша? И тем не менее все это произвело в нем серьезную перемену и способствовало тому, чтобы он осчастливил мир своим знаменитым путешествием. В жизни нередко приходится наблюдать, как незначительные обстоятельства становятся причиной больших и даже великих дел. Оттого что крестьянин посеял пшеницу и рожь, оттого что мельник смолол зерно, часть которого попала на винокуренный завод и превратилась в водку, а другая часть оказалась в руках шинкарки Гитл, которая поставила опару, замесила тесто, раскатала его и испекла пироги, оттого что финикияне много тысяч лет тому назад открыли способ изготовления стекла, из которого делают рюмки и бокалы,— вот вследствие всех этих,

казалось бы, незначительных причин во многих городах появились не в меру ретивые общественные деятели и достохвальные воротилы...

Возможно, что в Вениамине тлела искра путешественника. Искра эта погасла бы, если бы события и дела того времени не раздули ее в пламя. Впрочем, если бы искра и не погасла совсем, то, не будь этих событий, она теплилась бы в нем едва-едва, и Вениамин сделался бы в конце концов водовозом, в лучшем случае — извозчиком. Я встречал в своей жизни немало извозчиков и погонщиков, которые, право же, могли бы стать путешественниками, ничуть не хуже тех, что нынче кочуют по еврейским городам и местечкам... Но не в этом суть.

С тех пор Вениамин с особым рвением углубился в описание путешествий рабби Бар-Бар-Хоны [1] по морям и пустыням. Позже он отыскал книгу Эльдада Гадони [2], книгу «Путешествия Вениамина», лет семьсот тому назад ездившего чуть ли не на край света, книгу «Достопримечательности Иерусалима» [3], с приложениями, а также книгу «Отображение мира» [4], в которой на семи страничках излагаются все семь премудростей и рассказываются чудеса обо всей вселенной и о разных ее диковинных созданиях. Все эти поч-

---

[1] Бар-Бар-Хона — законоучитель талмуда, живший в III веке нашей эры.

[2] Эльдад Гадони — еврейский путешественник IX века.

[3] «Достопримечательности Иерусалима» — древнееврейская книга Якова Баруха о Иерусалиме, опубликованная в 1785 году.

[4] «Отображение мира» — труд по космографии Gossouine «L'image du monde», переработанный польским ученым-евреем XVI века Маттатия де ла Кроти.

тенные труды раскрыли Вениамину глаза и буквально преобразили его.

«Эти поразительные истории,— говорит Вениамин в своей книге,— приводили меня в восторг. Боже мой! — не раз восклицал я.— Если бы господь сподобил меня увидеть собственными глазами хотя бы сотую долю сего! Я уносился мыслью далеко-далеко...»

С той поры Вениамину и в самом деле стало тесно в Тунеядовке. Он всеми силами старался вырваться оттуда. Так созревший цыпленок начинает долбить скорлупу, дабы вылезть из яйца на свет божий.





ГЛАВА ВТОРАЯ

Вениамин становится подвижником и покидает жену

По природе своей наш путешественник Вениамин был невероятно труслив: ночью он боялся ходить по улице, ночевать один в доме не согласился бы, хоть озолоти его. Отправиться чуть подальше за город означало для него попросту рискнуть жизнью,— мало ли что может случиться! Какая-нибудь ледащая собачонка внушала ему смертельный страх.

«Однажды,— рассказывает Вениамин,— как сейчас помню, случилось это летом, в знойный день: наш раввин с одним из своих приближенных пошел окунуться в речку, что течет за городом. Я и еще несколько мальчиков, моих товарищей, почтительно сле-

довали за ним, в полной уверенности, что мы с божьей помощью благополучно вернемся домой: мы целиком надеялись на раввина. Шутка ли, раввин, перед которым весь мир преклоняется, над которым и старшего-то нет! Человек, чей титул едва умещается на целом листке бумаги!..

Раввин, наш хранитель и защитник, уверенно шагал далеко впереди. Однако, когда он уже стал раздеваться, откуда ни возьмись налетел какой-то озорник и натравил на него свою собаку. Наш покровитель пустился бежать. Одной рукой он придерживал, извините за выражение, расстегнутые исподники, а другой — свою круглую стеганую шапку из шелкового плюша. Мы, мальчишки, и подавно перепугались. Уж если на удочку мог попасться такой кит, то о жалкой плотве и говорить не приходится! Собравшись с духом, мы ни живы ни мертвы, подобно оленям быстроногим, неслись с дикими воплями и криками, пока во главе с нашим богатырем не домчались до города. Поднялся переполох, крики: «Горим! Бьют! Убивают!..» Никто ничего толком понять не мог...»

Предпринимая путешествие в дальние края, Вениамин решил прежде всего преодолеть в себе трусость. Он нарочно заставлял себя гулять по ночам в одиночку, нарочно спал в пустой комнате, умышленно часто уходил за город. Все это давалось ему нелегко, он даже отощал, осунулся. Поведение его и дома и в синагоге, его задумчивое, побледневшее лицо, частые исчезновения из города на долгие часы,— все это многим показалось подозрительным: о нем заговорили, он стал предметом горячих споров. Одни горожане утверждали: Вениамин сошел с ума, рехнулся. Во-первых, доказывали они, Вениамин особенно острым

умом никогда не отличался: ему всегда какой-то клепки в голове не хватало; во-вторых, в Тунеядовке вот уже несколько лет не было сумасшедшего. Ну мыслимо ли такое? Ведь это же истина: в каждом городе — свой мудрец, в каждом городе — свой сумасшедший. Тем более, что и лето нынче невыносимо жаркое! Словом, все ясно: Вениамин, попросту выражаясь, свихнулся! Другие же, во главе с реб Айзик-Довидом, сыном реб Арн-Иосла, мужа Соре-Златы, твердили: «Нет! и опять-таки нет! Вениамин, правда, человек придурковатый и даже весьма придурковатый, но из этого еще никак не следует, что он неминуемо должен еще вдобавок и сойти с ума. Ибо, если бы это было так, то возникает вопрос: почему именно теперь, а не раньше? Наоборот, с гораздо большим успехом он мог бы рехнуться два года назад или в прошлом году, когда лето было не в пример жарче нынешнего. Что же касается истины, согласно которой Тунеядовка ничем не хуже других городов, то ведь опять-таки остается нерешенным вопрос: почему вот уже несколько лет город обходится без своего сумасшедшего?»

Спрашивается: ну а как же истина? На это можно возразить: «А река? Ведь река спокон веков ежегодно поглощает по одному человеку — это истина непреложная! Тем не менее вот уже несколько лет подряд, как никто у нас не тонул. Наоборот, река в эти годы до того обмелела, что в некоторых местах ее можно перейти, ног не замочив...»

Все это верно, но что же происходит с Вениамином? Этот вопрос, к сожалению, так и остался неразрешенным. Однако большая часть жителей, в том числе и женщины, говорили: «Вениамин, судя по всему, связался с нечистым... Сдружился с дьяволом... Иначе

зачем бы он стал бродить по ночам в темноте? Где это он часами пропадает? Почему спит один в чулане? Даже Зелда, жена его, утверждает, что ночью из чулана доносится какой-то стук, шум, точно кто-то ногами топает...»

Толки эти, как обычно, покатились сначала в синагогу, за печь, а оттуда в баню, на верхний полок. Столковаться относительно Вениамина так и не удалось. Порешили пока составить комиссию из нескольких благочестивых прихожан вкупе с писцом, обойти все дома подряд по списку и проверить «мезузы». А так как мероприятие это рассматривалось как дело общественное и полезное для города, то постановили: для покрытия расходов на содержание этой комиссии повысить цены на мясо...

У тунеядовцев есть такая поговорка: «О чем речь ни поведешь, на смерть перейдешь»; о чем бы ни спорили на собраниях, дело кончается объявлением новой таксы на мясо.

Иначе и быть не могло. Такова логика: человеку смерти не миновать, а еврею — новой таксы. Смерть и такса — вот две силы, от которых не избавишься и никуда не денешься. Так уж всевышний сотворил мир, значит, так тому и быть. А вопросы задают одни лишь вольнодумцы и безбожники.

Спустя некоторое время с Вениамином приключилась история, принесшая ему славу. В один из знойных летних дней он вышел в полдень, когда солнце пекло немилосердно, погулять за город и забрался в лес дальше обычного. В кармане у него с собою были книги, без которых он теперь и шагу не делал. В лесу Вениамин лег под деревом и стал напряженно думать. А думать было о чем. В мечтах своих он уносился да-

леко-далеко, на край света. Вот шествует он по горам и долам, перебирается через пустыни и всякие другие места, описанные в прочитанных им книгах,— по следам Александра Македонского, Эльдада Гадони и других, видит воочию страшного Змея гремучего, гадов ползучих и всякого рода чудовищ. Вот он наконец добрался до обители красноликих израильтян и вступает в беседу с потомками Моисеевыми... Затем, благополучно придя в себя, Вениамин стал размышлять: когда же и как ему наконец начать свое путешествие.

Незаметно подкрался вечер, наступила ночь. Вениамин поднялся, устало потянулся и направился домой. Идет, идет, а из лесу никак не выберется. Проходит час, два, три, четыре, а лесу конца краю нет. Еще глубже забрался в чащу — темень хоть глаз выколи. Внезапно поднялась буря, пошел проливной дождь, загрохотал гром, засверкала молния, грозно зашумели деревья. Жуть! Вениамин застыл на месте. Он промок, зуб на зуб не попадал от озноба и страха. Ему казалось: вот-вот на него навалится медведь, вот-вот его растерзает лев, леопард, вот-вот на него надвинется «Матул», о котором в «Отображении мира» сказано, что это огромное чудовище с длинными руками, которыми оно в силах свалить слона. Вениамина обуял страх. К тому же он был смертельно голоден: за весь день съел лишь гречневый коржик. С горя Вениамин принялся читать вечернюю молитву... Молился он горячо, от всего сердца...

Наконец-то, с божьей помощью, наступило утро; Вениамин двинулся дальше. Шел, шел, пока не добрался до какой-то тропинки. По этой тропинке плелся он часа два. И вдруг услыхал издали человеческий голос. Однако, вместо того чтобы обрадоваться этому

голосу, он, бедняга, затрепетал: Вениамин был убежден, что это разбойник. От страха он без оглядки пустился бежать обратно, подобно тому как некогда мчался впереди раввина. Но вскоре он опомнился: «Стыдно, Вениамин! Ты собираешься скитаться по морям и пустыням, где обитают дикие племена, где кишмя кишат всякого рода чудовища и звери, а тут пугаешься одной лишь мысли о встрече с разбойником! Какой позор! Неужто и Александр Македонский, как ты, пришел в отчаяние, когда у него на острие копья кончилось мясо, которое клевал носивший его на своих крыльях орел? Нет! Александр Македонский не убежал: он у себя самого вырезал кусок живого мяса и надел его на острие копья! Крепись же, Вениамин! Господь подвергает тебя испытанию. Выдержишь его,— благо тебе! Тогда ты удостоишься милости божьей, тогда исполнятся твои намерения и чаяния о встрече с потомками Моисеевыми. Ты потолкуешь с ними о судьбе евреев в наших краях, расскажешь им подробно об обычаях наших братьев, о том, как они живут и что делают. Если выдержишь это испытание, если повернешь обратно на услышанный тобою голос, тогда одолеешь все страхи и ужасы, тогда окрепнут силы твои, и прославишься ты среди сынов Израиля, и станешь гордостью Тунеядовки. Тунеядовка и Македония — вот два края, которые прогремят на весь мир по милости Александра Тунеядовского и Вениамина Македонского!..»

Набравшись духу, Вениамин повернул обратно. Уповая на лучшее, он отважно шагал до тех пор, пока не повстречался лицом к лицу с этим самым «разбойником». То был крестьянин, ехавший на возу с мешками; в упряжке была пара волов.

— Добрый день! — произнес, приблизившись, Вениамин не своим голосом, в котором слышались одновременно и крик и отчаяние: «Делай, мол, со мной, что хочешь!» и мольба: «Сжалься надо мной, пожалей мою жену и малых деток!..»

Проговорив, вернее, прокричав или даже простонав свое приветствие, Вениамин умолк, будто подавился. У него закружилась голова, в глазах потемнело, ноги подкосились, и он замертво упал наземь.

Очнувшись, Вениамин увидал себя на возу, лежащим на большом мешке с картошкой под толстым тулупом. В головах лежал связанный петух, который поглядывал на него сбоку одним глазом и царапал Вениамина когтями. В ногах стояли плетенки с молодым чесноком, луком и всякой другой зеленью. Очевидно, там лежали и яйца, так как в воздухе носилась полова, застилавшая глаза. Крестьянин, сидевший на возу, спокойно курил трубку и покрикивал на волов: «Цоб!.. Гайда!.. Цоб!» Волы еле передвигались, а колеса дико скрипели, каждое на свой лад. Получался какой-то немыслимый концерт, от которого верещало в ушах. Видно, и петуху эта музыка была не по душе: каждый раз, когда колеса при полном обороте издавали визгливую фиоритуру, петух сильнее царапал Вениамина и с озлоблением кукарекал, так что потом у него долго клокотало в горле.

Вениамин живого места на себе не чувствовал и долгое время лежал в забытьи: шутка ли, что ему пришлось претерпеть — страх, голод, холод и сырость. Ему казалось, что турок полонил его в пустыне и везет продавать куда-то в рабство. «Хоть бы продал меня еврею,— думал Вениамин,— тогда бы я еще мог кое-как душу спасти! Но что, если он меня продаст

какому-нибудь принцу или, упаси бог, принцессе из иноплеменных,— тогда я пропал, погиб навеки! Тут ему припомнилось сказание о Иосифе Прекрасном и коварной жене Потифара[1]. И он тяжко застонал от горя.

Крестьянин, услыхав стон, обернулся и, придвинувшись поближе к Вениамину, спросил:

— Ну, що, трошки легше?

В голове у Вениамина действительно немного прояснилось, и он вспомнил все, что с ним произошло. Однако он чувствовал себя прескверно — и слова по-украински сказать не умел. «Как же быть? Как ответить крестьянину, как столковаться с ним, чтобы узнать, куда он его везет?»

Вениамин попытался сесть, но не смог,— сильно ломило в ногах.

— Тобі трошки легше? — снова спросил крестьянин и единым духом выпалил: — Цоб! Гайда! Цоб!

— Легше. Только... Ай-ай-ай! — отвечал Вениамин, указав на свои ноги.

— Звідки ти?

— Звідки я? — переспросил нараспев Вениамин.— Я Нёмко, Бінёмко ув Тунеядовки!

— Ти з Тунеядовки? Кажи, що ти витаращив на мене очі і дивишся як шалений? Але, може, ти таки шалений? Трясця твоїй матері!.. Цоб! Гайда! Цоб!

— Я зразу тобі казати... Я — Нёмко ув Тунеядовки! — ответил ему Вениамин, сделав при этом жало-

[1] Согласно библейскому рассказу, сын Иакова Иосиф (Прекрасный), проданный братьями в рабство, попал в услужение к египетскому вельможе Потифару, жена которого предлагала Иосифу свою любовь.

стливое лицо и какой-то неопределенный жест.— Ув Тунеядовки жінка... тобі дам чарку водки и шабашковой булки и добре данкует тебе.

Крестьянин, видимо, сообразил, о чем идет речь.

— Добре! — И, сев на свое место, крикнул волам: — Цоб! Гайда!

Часа два спустя воз въехал в Тунеядовку и остановился на базарной площади. Навстречу ему бросились мужчины и женщины с расспросами:

— Чуєш, скільки хочеш за півень? За цибулі?..

— Може, маеш картофлі, яйца? — спрашивает один.

Кто-то из налетевших полюбопытствовал:

— Чуєщ, може, ти бачив на дорозі жидка? У нас один чоловік вчора пропав, як у воду!

Не успел еще крестьянин ответить каждому в отдельности, как женщины саранчой налетели на подводу и, приподняв тулуп, заголосили:

— Вениамин! Он здесь! Ципе-Крейна! Басшеве-Брайндл! Бегите скорее к Зелде с доброй вестью, сообщите, что пропажа отыскалась! Не придется ей покинутой женой жизнь коротать!

Поднялся шум; народ сбежался со всех сторон. Вся Тунеядовка ходуном ходила, стар и мал бежали посмотреть на Вениамина. Его расспрашивали, о нем толковали, острили. Рассказывали, что весь вчерашний день и всю ночь его повсюду искали, рыскали и порешили уже считать погибшим, а жену горемычной вдовой.

Прибежала с плачем жена Вениамина. Она ломала руки, глядя на своего мертвенно-бледного, лежащего без движения супруга. Она, бедная, и сама не знала, что делать: то ли проклинать его, выместить на нем

всю свою злобу, то ли радоваться тому, что бог избавил ее от горестного вдовства.

Спустя несколько минут Вениамина, все так же лежавшего на мешке с картофелем, торжественно повезли через базар домой. Тунеядовцы от мала до велика — упрашивать никого не пришлось — щедро воздавали ему почести, провожая шумно и возглашая: «Свят! Свят! Свят!..»

С тех пор прозвища «святой», «подвижник» так и остались за Вениамином. Его величали «Вениамин-подвижник», а жену его — «Зелда-покинутая».

В тот же день тунеядовский эскулап посетил Вениамина и принялся спасать его всеми доступными средствами и способами. Он поставил ему банки, пиявки, побрил его наголо и перед уходом заявил, что от всего этого Вениамин с божьей помощью придет в себя и уже завтра, если хватит сил, сможет пойти в синагогу, чтобы вознести благодарственную молитву.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О том, как Вениамин спелся с Сендерлом-бабой

История, приключившаяся с Вениамином, причинившая столько огорчений его жене, возбудившая так много толков и пересудов в синагоге за печкой и в бане на верхнем полке, должна была, казалось бы, навеки вышибить из головы Вениамина мысль о путешествии в дальние края. На деле же это событие возымело обратное действие: Вениамин еще более укрепился в своей заветной мечте. С этой поры он стал относиться к своей особе с уважением, как к человеку бывалому, видавшему виды; он стал высоко ценить свою храбрость, твердость, с которой он перенес столько тяжких испытаний и переборол в конце концов свою натуру. Он возомнил себя богатырем, зна-

током всех премудростей, таящихся в «Отображении мира», человеком, начитавшимся сверх всякой меры подобных книг и осведомленным во всех мирских делах и событиях. Он с сожалением думал о себе: человек, наделенный такими достоинствами, глохнет, словно роза среди терниев — и где? — в Тунеядовке, в захолустье, среди грубых и невежественных людей! Людские пересуды и отпускавшиеся по его адресу остроты только еще сильнее гнали его в путь-дорогу. Ему хотелось как можно скорее покинуть Тунеядовку. «Как бы скорей дожить до того момента,— думал он,— когда можно будет отправиться туда, вдаль, а потом благополучно вернуться с благими вестями об избавлении своих братьев, вернуться с почетом и добрым именем! Вот тогда-то Тунеядовка от мала до велика узнает и поймет, что представляет собою Вениамин!..»

Удерживали его пока от путешествия лишь кое-какие незначительные обстоятельства: во-первых, откуда взять денег на расходы? Сам он никогда и гроша ломаного за душой не имел. Он постоянно торчал в синагоге, а кормильцем в семье была супруга, женщина бойкая, добывавшая средства к существованию торговлей в небольшом трактирчике, который она открыла, после того как оставила родительский дом. Но чего стоила вся эта торговля! Если бы она к тому же не вязала чулок, не ощипывала зимними вечерами перья, не топила бы на продажу гусиный жир, не скупала бы кое-чего иной раз в базарный день по дешевке у знакомых крестьян, семье нечем было бы прокормиться.

Продать что-нибудь из домашних вещей? Но что у них было? Пара медных подсвечников, оставшихся

Зелде по наследству от родителей. Она начищала их до блеска и по пятницам любовалась ими, когда произносила молитву над свечами... Драгоценностей у нее не было, если не считать оставшегося от материнского головного убора серебряного ободочка с жемчужиной. Ободок этот был у нее всегда под замком, и лишь в особо торжественных случаях Зелда надевала его. Продать что-либо из его собственных вещей? Но у него всего-то один субботний атласный кафтан, да и тот посекся, порвался и спереди и сзади, так что виднеется желтая подкладка. Была у него, правда, еще шубейка, но низ у нее весь обтрепался, а ворот ничем не покрыт. Когда Вениамин женился, отец его — добром будь помянут! — велел не скупиться, скроить воротник подлиннее и обшить его временно куском подкладки, оставшимся от кафтана, с тем чтобы впоследствии, когда будет получен остаток приданого, покрыть воротник беличьим мехом. Однако недоданной части приданого он так и не получил, и воротник остался непокрытым и по сей день.

Во-вторых, Вениамин не знал, как ему вырваться из дому.

Потолковать о путешествии с женой, открыться ей? Рассказать все, как есть? Упаси бог! Поднимется такой шум, такой скандал! Она его заживо станет оплакивать, сочтет помешанным, ибо где уж ей, женщине, постичь такие дела? Женщина, будь она хоть семи пядей во лбу, все-таки всего только женщина. Даже наиболее смышленой и благоразумной из них никак не сравняться с самым ничтожным мужчиной!

Уйти тайком, не попрощавшись? Тоже как-то неловко. Что же? Оставаться дома, отказаться от пу-

тешествия? Но это попросту невозможно! Это все равно что отказаться от жизни.

Мысль о путешествии поглотила Вениамина. Подобно тому как правоверный еврей обязан трижды в день молиться, Вениамин считал своим долгом постоянно думать о путешествии. Думы об этом не покидали его даже во сне: путешествие снилось ему непрестанно. Сердце, глаза и уши Вениамина,— все его существо было захвачено мечтой о дальних странствиях. Он ничего и никого не замечал вокруг себя: мысль его витала где-то там, далеко-далеко, в запредельных краях. И часто в разговоре с кем-либо Вениамин не к месту вдруг приплетал Индию, Самбатьен [1], Гремучего змея, дракона, рожки, турка и т. п.

Путешествие должно было свершиться во что бы то ни стало! Но как преодолеть препятствия? Этого Вениамин никак не мог придумать. Он чувствовал, что необходимо с кем-нибудь посоветоваться.

...Жил в Тунеядовке некий муж. Звали его Сендерл, по имени прадеда реб Сендерла, человека почтенного. Однако правнук Сендерл был человек простецкий, без затей. В синагоге он занимал место под амвоном, а это уже само по себе свидетельствует о том, что ни к заправилам, ни к сливкам тунеядовского общества он не принадлежал. К разговорам в синагоге или в другом месте он обычно прислушивался молча, как человек посторонний, случайный. А если и приводилось ему словом обмолвиться, то слово это всегда вызывало хохот,— не потому, что оно отличалось особым остроумием,— нет! Просто слово,

---

[1] Самбатьен — в древней и средневековой еврейской литературе — сказочная река.

произнесенное Сендерлом, встречали смехом, несмотря на то что он, по простоте своей душевной, никого не собирался смешить. Наоборот, когда кругом смеялись, он, бывало, уставится и никак в толк не возьмет, по какому случаю такое веселье? Он не обижался, потому что по натуре был человек добрый, покладистый: попадается иной раз этакая покорная буренка... Он даже не подозревал, что следует обижаться. Люди смеются? Пускай себе, на здоровье! Вероятно, это доставляет им удовольствие.

Нужно, однако, признать, что в словах Сендерла таилось подчас много здравого смысла, хоть он и сам об этом не догадывался, говорил просто так, без задней мысли. Над ним любили подтрунивать. Мальчишки в день Девятого аба, бывало, забрасывали его колючками репейника; в день Хошайно рабо [1], когда всю ночь бодрствуют, в него больше, чем в других, швыряли подушками. Зато при угощении водкой и гречневым коржом его постоянно обделяли.

Словом, всегда и везде Сендерл бывал козлом отпущения. Его так и прозвали: «Сендерл — козел отпущения». Сендерл по натуре своей не был упрямцем, как некоторые другие. Он всегда со всеми соглашался, не вступал в пререкания с теми, кто навязывал ему свою волю, никогда никому не перечил и просто-напросто делал то, что прикажут.

— Мне-то что?— говорил он, по своему обыкновению.— Эка важность, подумаешь! Тебе непременно хочется так? Ну что ж, пусть будет по-твоему.

С мальчишками Сендерл был мальчишкой. Он ча-

---

[1] Хошайно рабо — седьмой день осеннего еврейского праздника Куши.

сто гулял вместе с ними, беседовал, затевал игры, и это доставляло ему большое удовольствие. С детьми Сендерл и вовсе уподоблялся покорной коровке, позволяющей ездить на себе верхом и почесывать ей морду. Озорники взбирались к нему на плечи, теребили бороду.

Иной раз посторонние покрикивали на мальчишек:

— Как вы смеете, сорванцы!.. Уважать нужно старшего! Что это вы его за бороду таскаете?

— Ничего, ничего! — отзывался Сендерл.— А мне-то что! Подумаешь, беда какая... Пускай таскают!..

Жизнь в своем доме Сендерлу тоже была не мед. Тут верховодила жена, и участь мужа была незавидна. Жена держала его в черном теле, в страхе, иной раз и тумаком угощала, а он все это принимал с покорностью и смирением. Накануне праздников она повязывала ему бороду тряпкой и заставляла белить стены. Он чистил картошку, раскатывал и крошил лапшу, фаршировал рыбу, таскал дрова и топил печь,— совсем как женщина. Вот его и прозвали «Сендерл-баба».

Вот этого-то Сендерла-бабу наш Вениамин и избрал своим наперсником и советчиком. Почему именно его? А потому, что Вениамин всегда питал к нему симпатию. Многое в этом человеке ему нравилось, во многом он соглашался с ним, а беседа с Сендерлом обычно доставляла Вениамину большое удовольствие. Возможно, что Вениамин рассчитывал и на покладистость своего друга: Сендерл безусловно одобрит все его планы и ни в чем не станет ему перечить. Если же Сендерл и будет возражать против кое-каких пунктов, Вениамин с божьей помощью и силой своего красноречия сумеет склонить его на свою сторону...

Когда предстал Вениамин пред очами друга своего, Сендерл восседал на кухонной скамье, для приготовления молочной пищи предназначенной, и снимал кожуру с яблока земляного, сиречь картофеля. Одна щека у него пылала, а под глазом багровел кровоподтек, да еще с царапиной, точно по синяку ногтем провели. Унылый и пришибленный, сидел он подобно молодухе, покинутой мужем, получившей от мужа затрещину...

Жены Сендерла не было дома.

— Здравствуй, Сендерл! Что это ты, сердце, так пригорюнился? — сказал Вениамин и указал пальцем на́ его щеку.— Что, снова она? Где она, твоя молодица?

— На базаре.

— Очень хорошо! — чуть не вскрикнул от радости Вениамин.— Брось, дорогой, свою картошку и пойдем со мной туда — в каморку. Там никого нет? Я хочу поговорить с тобой наедине, без свидетелей, хочу тебе душу открыть. Не могу больше сдерживаться,— кровь кипит во мне. Скорей же, сердце, скорее, а то «она», чего доброго, нагрянет и помешает.

— Ну, что ж, если тебе так не терпится, пусть будет по-твоему. А мне-то что! — ответил Сендерл и вошел в каморку.

— Сендерл! — начал Вениамин.— Скажи мне, знаешь ли ты, что́ находится по ту сторону Тунеядовки?

— Знаю. Там находится корчма, где можно иной раз хватить добрую рюмку водки.

— Ты глупый! А дальше, гораздо дальше?

— Дальше корчмы? — удивился Сендерл.— Нет, дальше ее я ничего не знаю. А ты, Вениамин, знаешь?

— Знаю ли я? Что за вопрос! Конечно! Там толь-

ко и начинается мир! — горячо проговорил Вениамин, словно Колумб, когда открыл Америку.

— Что же там такое?

— О, там... там...— разгорячился Вениамин.— Там... Гремучий Змей... Дракон!..

— Тот самый дракон, с помощью которого царь Соломон дробил камни для священного храма? — несмело вставил свое слово Сендерл.

— Да, душа моя, да! Там — страна Израиля, там заветные места. Хотелось бы тебе там побывать?

— А тебе хотелось бы?

— Вопрос! Хочу, Сендерл, хочу и вскоре буду там!

— Завидую тебе, Вениамин! Ну, и наешься же ты всласть рожков и фиников! Го-го!

— И ты, Сендерл, сможешь есть то же, что и я. И тебе в стране Израиля причитается такая же доля, как и мне.

— Доля, может быть, и причитается, да как туда попасть? Ведь там султан хозяйничает...

— Есть одно средство, Сендерл. Скажи мне, дорогой, знаешь ли ты что-нибудь о красноликих израильтянах?

— Наслушался я разных историй о них у нас в молельне за печкой, но где они живут и как до них добраться, этого я не знаю. Если бы знал, сообщил бы, конечно, и тебе. Жалко, что ли? Пожалуйста!

— Хе-хе! А вот я знаю! — с гордостью сказал Вениамин и достал из кармана «Достопримечательности Иерусалима».— Видишь, что тут написано? Сейчас прочту:

«По прибытии моем в Бейрут,— говорится здесь,— я встретил четырех евреев из Вавилона. Я беседовал

с одним из них, по имени реб Мойше, понимавшим по-древнееврейски. Он сообщил мне весьма правдивые сведения о реке Самбатьен, которые он получил от измаильтян, видевших эту реку, рассказал также о том, что там имеются потомки Моисеевы...»

И дальше говорит он: «Местный вождь рассказывал мне, что лет тридцать тому назад у него гостил человек из колена Симеонова, и тот говорил, что в его краях живут четыре колена Израилевых. Одно из них — колено Исахорово — посвятило себя изучению торы, а властвует над ними царь из того же колена».

Кроме того, в книге «Путешествия Вениамина» сказано буквально следующее: «Оттуда двадцать дней пути до гор Нисбон, что на реке Гозан. В горах Нисбон проживают четыре колена — Даново, Зовулоново, Асирово и Нефталимово. У них в горах расположены крупные города и государства. С одной стороны их омывает река Гозан. Они никому не подвластны. Лишь один правитель над ними — царь по имени рабби Иосиф Амаркело Галеви. И состоят они в союзе с Койфер-ал-Турехом [1]. Немало рассказывается там и о сынах Рехавитов [2] из страны Темоновой, которые подчиняются царю израильскому и постоянно постятся и молят бога за евреев, пребывающих в изгнании».

— Ну, Сендерл! Как ты думаешь, что было бы, если бы они вдруг увидели меня, брата своего Вениамина из Тунеядовки, прибывшего к ним в гости? Скажи, прошу тебя, что ты об этом думаешь?

---

[1] Койфер-ал-Турех — арабское племя.

[2] Рехавиты — племя, которое упоминается в библии.

— Они бы, конечно, просто ожили! Шутка ли, такой гость, такой желанный гость! Каждый приглашал бы тебя к себе на трапезу. Даже сам царь Амаркело! Передай им от меня хотя бы самый сердечный привет! Если бы только было можно, я бы, право, отправился туда вместе с тобой!

— А! — воскликнул Вениамин, вспыхнув от неожиданно осенившей его мысли.— А! А может быть, и в самом деле, Сендерл, нам вместе отправиться в путешествие? Глупенький, ведь сейчас тебе удобнее всего это сделать. Я все равно туда направлюсь, вот я и возьму тебя с собой! Глупенький, вдвоем-то ведь веселее! Да и мало ли что, а вдруг я там королем стану,— тогда ты у меня правой рукой сделаешься. Вот тебе мое честное слово! С какой стати ты, чудак этакий, будешь тут терпеть унижения от твоей разбойницы! Погляди, какая у тебя щека! Подумай, какая горькая, разнесчастная доля досталась тебе! Право же, Сендерл, пойдем! Не пожалеешь!

— Ну что ж,— ответил Сендерл,— если тебе непременно так хочется, пусть будет по-твоему. А что касается «ее», так не все ли мне равно? Дурак я, что ли, рассказывать, куда я собираюсь!..

— Душа моя! Дай я тебя расцелую! — радостно воскликнул Вениамин и, не будучи в силах сдержать свои чувства, обнял Сендерла-бабу.— Ведь ты одним своим словом помог мне разрешить такой трудный вопрос! Скажу теперь так же, как и ты: «А что до «нее» (я разумею свою жену), так не все ли мне равно? Есть, однако, еще одна заминка: где взять денег на расходы?

— На расходы? Ты хочешь приодеться, Вениамин, или перелицевать свой кафтан? А я бы сказал, что

это ни к чему. В дорогу лучше отправиться в старом, а там мы, надо полагать, достанем новое платье.

— Это верно! Там у меня забот уже не будет. Но пока что нам нужны ведь кое-какие деньги хотя бы на еду.

— Что значит, Вениамин, на еду? Ты намереваешься возить за собой кухню? Разве не будет по пути ни постоялых дворов, ни жилых домов?

— Не понимаю, Сендерл, о чем ты говоришь? — в недоумении спросил Вениамин.

— Я говорю,— спокойно ответил Сендерл,— были бы на пути дома: можно ведь заодно и по домам ходить! А чем занимаются все наши евреи? Сегодня одни просят у других, а завтра те побираются у них. Дело это нашему брату привычное: попросту одолжение...

— Честное, слово, ты прав! — обрадовался Вениамин.— Теперь для меня все прояснилось! В таком случае я совершенно готов и обеспечен всем необходимым. Завтра же на рассвете, когда все будут спать, мы можем уйти. Жалко время терять. Согласен, Сендерл?

— Хочешь — завтра? Пускай будет завтра. Не все ли мне равно?

— Завтра пораньше, слышишь, Сендерл! Я потихоньку выйду из дому и буду ждать тебя возле заброшенного ветряка. Помни же, Сендерл: завтра на рассвете ты придешь туда. Не забудь! — еще раз повторил Вениамин, собираясь уходить.

— Погоди-ка, Вениамин, погоди минуточку! — сказал Сендерл, копаясь в боковом кармане тельника. Он вытащил оттуда какой-то пропотевший сверток, обмотанный со всех сторон шнурками, завязан-

ными чуть ли не двадцатью узлами.— Видишь, Вениамин, вот это я успел накопить тайком от жены с самого дня нашей свадьбы. Пригодится на первых порах, не правда ли?

— Ну, сердце, тебя и расцеловать мало! — воскликнул Вениамин и горячо обнял Сендерла-бабу.

— Ах, чтоб ты провалился! Полюбуйтесь, любовь какая горячая! Обнимаются как! А там в комнате коза картошку жрет! — раздался вдруг громкий голос супруги Сендерла. Пылая гневом, она одной рукой указывала на козу, а другой подзывала к себе мужа... Понурив голову, Сендерл медленно, шаг за шагом, подвигался к ней, как нашаливший ребенок, которого ждет наказание.

— Крепись, душа моя! Уж это в последний раз! Помни же, завтра...— шепнул Вениамин своему другу на ухо и бесшумно, по-кошачьи, выбрался из дома.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вениамин и Сендерл покидают Тунеядовку

На следующий день рано утром, еще до того, как пастух погнал коров в стадо, наш Вениамин уже стоял наготове возле ветряка с узелком под мышкой. В узелке были все необходимые в дороге вещи: талес, филактерии, молитвенник, псалтырь, а также те книги, без которых Вениамин не мог двинуться в путь, как мастер без инструмента. Там же лежал его субботний кафтан: надо как-никак соблюдать приличия, не ходить же на людях в будничном платье! В кармане у него было без малого пятнадцать грошей, которые он утащил у жены из-под подушки.

Одним словом, он был, благодарение богу, обеспечен всем необходимым и мог немедленно двинуться в путь.

Тем временем взошло солнце и обратило ясный лик свой к миру. Один взгляд его вселял бодрость и радовал все сущее на земле. Деревья и травы точно улыбались сквозь капли невысохшей предутренней росы,— так маленькие дети, завидев блестящую игрушку, забывают о своем горе и разражаются веселым смехом, хотя на глазах у них еще сверкают крупные слезы. Полевые птички носились в воздухе, кружили над Вениамином, щебетали, будто хотели сказать: «Давайте будем петь, чирикать и радовать этого почтенного путника у ветряной мельницы! Ведь это сам Вениамин, Вениамин Тунеядовский — Александр Македонский своего времени! Он покидает свою родину, бросает жену свою и детей своих и отправляется по божьему велению куда глаза глядят! Вот он стоит, великий Вениамин, подобно солнцу, покинувшему свой шатер, подобно богатырю — готовый мчаться в дальний путь с узелком в руках! Он силен, как леопард, он легок, как орел, он готов исполнить волю отца нашего небесного! Так пойте же, играйте. «Три-ли-ли-ли! Трриль! Трриль!.. Пойте и наполните радостью сердце его!..»

У Вениамина и в самом деле ликовала душа. Он думал: «Ведь я счастливейший человек на свете! Ну чего мне не хватает, не сглазить бы? Жену свою я, слава богу, обеспечил: заработок у нее есть. Сам я — вольная птица, подобно этим вот полевым пичугам. Весь мир передо мною открыт. С моей опытностью, с моей решимостью да с кое-какими познаниями в разных областях я авось нигде не пропаду. А к тому же я еврей, человек, не теряющий надежды. Ведь, помимо всяческих достоинств,— мало ли евреев весь свой век

живут только надеждой, и господь не оставляет их своей милостью!

Как-то по-особому хорошо было на душе у Вениамина, так что уста его сами раскрылись и, умиленный, он запел фальцетом один из торжественных гимнов всевышнему. Его пение слилось с щебетанием птиц, с жужжанием и стрекотом насекомых и в гармоническом сочетании вознеслось в глубь небес, к трону господню.

Однако прошло уже довольно много времени, а Сендерла все еще не было. Это начало беспокоить Вениамина, омрачать его радость. Он оглядывался по сторонам, смотрел во все глаза,— напрасно! Не слыхать, не видать. Нет Сендерла!

Уж не заставила ли его «эта ведьма» заняться какой-либо работой? Но для этого еще слишком рано. Вся Тунеядовка еще спит крепким сном. Картошку начнут чистить гораздо позднее, а за обед хозяйки принимаются лишь после того, как основательно поругают и проклянут своих мужей, выпорют ребят и вывесят на просушку бебехи...

Вениамин не знал, что делать. Ему становилось невесело, очень невесело. Вернуться домой? Позор! Александр Македонский уничтожил за собою мост, по которому прошел в Индию, чтобы нельзя было повернуть обратно. Двинуться одному, без Сендерла? Нет, это нехорошо, этого он не сделает! Сендерл был ему очень нужен. С тех пор как они заключили союз, у Вениамина на душе посветлело. Уйти без Сендерла казалось Вениамину дикостью: ведь это все равно что оставить корабль без руля или государство без министра.

Но вот вдалеке показалось нечто вроде человеческой фигуры. Как будто Сендерл, а впрочем... Нет, не Сендерл! Кто-то, кажется, в ситцевой юбке, с платком на голове...

У Вениамина что-то оборвалось в груди, он обмер, побелел как полотно. Ему показалось, что идет жена! Нет, не идет,— бежит, несется... Сейчас примчится, налетит на него, выместит на нем все, что накипело на душе, и с воплями потащит домой.

«Одному богу известно,— рассказывает сам Вениамин,— что пережил я в эти минуты. Сотню гремучих змеев предпочел бы я тогда встрече со своей женой, ибо гремучий змей жалит только тело, а разгневанная жена душу грызет!.. Однако господь бог укрепил мой дух, и я, воодушевившись, убежал и спрятался за мельницей, притаился подобно льву, выжидающему свою добычу».

Спустя несколько минут Вениамин выскочил из своей засады, сделал отчаянный прыжок и крикнул, как буйно помешанный:

— Ба! Сендерл!

Сендерл был одет в ситцевый халат и повязан грязным платком. Под глазами у него лиловели «фонари» и царапины, в руках была палка, а за плечами — увесистый узел.

Вениамину он показался в этот миг прекрасным, как разодетая красавица невеста жениху.

Радость свою Вениамин описывает следующим образом:

«Подобно изнемогающей от жажды лани, подобно жаждущему путнику в пустыне, нежданно обнаружившему источник живительной влаги, низвергающийся с вершины скалы, возликовал я всем существом своим

страждущим, увидав Сендерла, ниспосланного мне небом преданного друга моего».

— Что случилось, Сендерл? Почему ты заставил меня так долго ждать?

— Помилуй,— наивно ответил Сендерл,— ведь я ходил к тебе домой... Пока дошел, пока разбудил твою Зелду, прошло много времени.

— Разбудил Зелду?! — не своим голосом крикнул Вениамин.— Сендерл, ты рехнулся! Зачем ты это сделал?

— Как зачем? — удивился Сендерл.— Я постучал к тебе в окно каморки,— ты не отозвался. Тогда я принялся стучать в дверь дома. Ну, и вот... Выскочила Зелда ни жива ни мертва, и я спросил у нее, где ты.

— Мы пропали, Сендерл! Ну и заварил ты кашу! Пойми ты, ведь Зелда пустится вдогонку, она...

— Не пугайся, Вениамин! Она прогнала меня ко всем чертям с такой злостью, точно я ее резать собрался. «Провались ты вместе с моим муженьком!» — прокричала она и захлопнула дверь. Я долго стоял на улице как очумелый. Потом вдруг вспомнил про ветряк и догадался, что ты уже, наверное, здесь. Потому-то она, видимо, и разбушевалась. «Провалитесь, говорит, вместе сквозь землю!» Надо полагать, она заметила, как ты уходил...

— Что? Что, Сендерл? Она заметила? Может быть, она идет следом, может, она уже идет сюда?

— Упаси бог, Вениамин! Она закрыла дверь на крючок. Перед самым уходом я еще раз постучал и спросил: «Зелда, что передать твоему мужу? Может, надумаешь передать ему что-нибудь?» Но она ни слова не ответила. Видать, крепкий сон у нее, не сглазить бы, здорово спит! Тогда я добавил: «Зелда, ты спишь?

Ну и спи себе на здоровье! Всего тебе хорошего!» И ушел.

Последние слова, как целебные капли, привели Вениамина в чувство. Он вздохнул свободно, словно камень у него с души свалился. Лицо просияло, глаза зажглись великой радостью.

— Теперь, Сендерл,— как-то дико взвизгнул он,— теперь правой ногой вперед!

В это время из соседней лужицы донеслось кваканье лягушек. Они словно прощались с нашими путешественниками и проквакали в их честь торжественный марш. Тунеядовские жабы как-то особенно голосисто кричат в своих затянутых плесенью болотах и славятся на весь мир наравне с днепровицкими клопами и тараканами...





ГЛАВА ПЯТАЯ

Что произошло с нашими путешественниками на первых порах

Наши путники дружно снялись с места и пустились чуть ли не бегом, точно с цепи сорвались, точно погоняли их сзади кнутом. С развевающимися по ветру полами своих кафтанов они могли бы сравнить себя с кораблями, несущимися по морю на всех парусах. Кондукторы пресловутых дилижансов в наших краях могли бы пожелать своим клячам такую прыть: бегать бы им не хуже наших пешеходов! Сороки и вороны, разгуливавшие по земле, почтительно уступали им дорогу и с криком разлетались в разные стороны,

до смерти напуганные странными двуногими существами, так энергично и стремительно шагавшими.

Никакое перо не в состоянии описать, как счастливы и довольны были наши герои. Безотчетная радость наполняла их сердца, они были довольны, сверх всякой меры довольны — собой, довольны друг другом, довольны всем миром.

Сендерл, видать, был очень рад, что вырвался из рук жены и избавился от столь тяжкого и горестного плена. Особенно досталось ему вчера; это был мрачный, безрадостный день, день мук и испытаний, оставивший по себе багровые следы на его теле, вырвавший с корнем немало волос из его бороды, бесстыдно расписавшийся иссиня-красными отметинами под обоими его глазами. Не про вас будь сказано, мужья подбашмачные, то, что досталось бедному Сендерлу от его благоверной!

Наши герои довольно долго бежали, еле переводя дух, молча, не произнося ни слова. Они распарились, крупные капли пота выступили у них на лицах. Сендерл стал понемногу отставать и сопел, как гусь.

— Скорее, скорее, Сендерл! — подбадривал Вениамин и неустанно несся вперед, точно богатырь, препоясавший чресла свои и ринувшийся в бой с луком и стрелами в руках.

— Ради бога, Вениамин, душу мою пожалей! — взмолился Сендерл.— Сил моих больше нет гнаться за тобой! Ты бегаешь, не сглазить бы, как олень по горам, как козел впереди стада.

— Быстрее, быстрее, Сендерл! — не унимался Вениамин и бежал вперед, гордый своей прытью.— Видишь, Сендерл, я готов бежать и бежать, хоть на самый край света!

— Но к чему, скажи на милость, так торопиться? — спросил Сендерл.— Уверяю тебя, что мы не опоздаем. Если же и прибудем туда на день или даже на несколько дней позже, тоже беда невелика! До светопреставления еще далеко. Земля, как я слышал, продержится до седьмого тысячелетья, еще добрых несколько веков...

— Скорее, скорее, Сендерл, жаль время терять! Чем скорее мы выберемся из этих мест, тем лучше! Потрудись, Сендерл, постарайся! Ничего! Зато, когда прибудем на место, ты разомнешь косточки, будешь вольно дышать и жить как вельможа!

— Ты, конечно, прав, Вениамин. Тебе хочется поскорее, пусть будет по-твоему. Я не спорю. Но что поделаешь с ногами, с моими ногами?

Вениамину пришлось уступить и немного замедлить шаг.

Когда солнце вышло из своего шатра и стало сильно припекать, наши усталые странники свалились возле рощи, в стороне от дороги. Они взмокли, тяжело дышали и никак не могли прийти в себя. Свежие синяки на лице у Сендерла разопрели от зноя и причиняли мучительную боль, точно его иголками кололи.

Передохнув, Вениамин и Сендерл первым долгом достали свои талесы и филактерии и принялись за молитву. Вениамин молился горячо и при этом истово раскачивался. Ему бы следовало после этого рюмочку поднести, да где уж там было думать о таких вещах! Хоть бы хлеба кусок! Голод давал себя знать, аппетит от ходьбы разыгрался не на шутку. Вениамин готов был вола съесть, а тут, как назло, ни крошки хлеба.

Вениамин озирался по сторонам, хрустел пальца-

ми, зевал, почесывался, причмокивал языком, приговаривал: «Та-та!» — теребил пейсы и бородку, снова почесывался, снова издавал какие-то нечленораздельные звуки... Наконец надумал: извлек из узелка небольшую книжицу, стал заглядывать в нее и что-то бормотать нараспев.

— Сендерл! — прервал он вдруг молчание. — А знаешь ли ты, что я читаю? Знаешь ли ты, почему я это читаю нараспев?

— Ты, верно, голоден! — простодушно высказал предположение Сендерл.

— Тоже сказал! — ответил Вениамин.— А если и голоден,— что из того?

— То-то и оно! Оттого и запел! — сказал Сендерл.— Есть такая поговорка: «Коли жид співає? Коли він голодний...» Ты, Вениамин, пой, если тебе так нравится, пой себе, а я тем временем займусь кое-чем другим.

Сендерл сунул руку в свой узел и вытащил оттуда торбу.

— Нет, не знаешь ты, не понимаешь, Сендерл, почему я это делаю,— снова сказал Вениамин.— Сейчас я объясню тебе, глупенький, в чем тут смысл.

Но Сендерл был занят своим делом: он не спеша развязывал торбу. Вениамин заглянул в нее и почувствовал, как тепло разливается по всему его телу. В торбе было полным-полно всякого добра: огрызки хлеба, куски субботнего пирога, огурцы, редиска, лук и чеснок! Сендерл, совсем как добрая хозяйка, предусмотрительно наготовил всего и еще больше прежнего вырос в глазах Вениамина. Он радовался в душе, что всевышний послал ему такого прекрасного спутника. «Господь послал мне Сендерла,— думал он,—

так же, как посылал манну небесную[1] сынам Израиля в пустыне».

После того как они подкрепились, Сендерл сложил остатки пищи в торбу и сказал:

— Этого нам хватит еще на раз, а торба пригодится на тысячу раз, на всю нашу жизнь. С нею мы, даст бог, будем по миру ходить. Ничего! Господь бог не без милости!

Сказочную скатерть-самобранку, которая по первому велению сама на стол собирает, нам, евреям, заменяет торба. Много, очень много людей всю свою жизнь удивительно легко кормятся при помощи торбы и оставляют ее в наследство своим детям, внукам и правнукам. Торба по сути дела всюду одна и та же, но у людей разных классов она обретает разное обличие и название. У простого люда это — обыкновенная торба, холщовый мешок, у людей высокопоставленных — это кубышка, всяческие общинные поборы, священнослужительство, благодетельство за чужой счет, благотворительная кружка, мирские денежки, ссудная касса, сочинительская болтовня и тому подобное. Но все это на самом деле только торбы, настоящие еврейские торбы...

— Сендерл! — сказал Вениамин, воодушевленный его словами.— Знаешь, само небо сочетало нас! Мы с тобою словно тело и душа. Ты заботишься о земном — о пище и питье на время нашего путешествия, а я — о духовном. Еще раз спрашиваю, знаешь ли ты, для чего я сейчас читаю молитвы? Я это делаю с умыслом. Когда мы с божьей помощью достигнем це-

[1] Манна небесная — согласно библейскому мифу, пища, падавшая с неба для израильтян во время их странствования в пустыне.

ли, нам нужно будет суметь сговориться с Моисеевыми потомками. Этим я озабочен. А говорят они не по-нашему. У них язык такой, каким написаны эти молитвы. Сам Эльдад Гадони, который прибыл к нам однажды из тех краев, сочинил эту молитву. Запомни, Сендерл! Здесь, в наших краях, можно объясняться на нашем языке, но там его, пожалуй, не поймут.

— В этих делах я целиком полагаюсь на тебя! — покорно ответил Сендерл.— Ты человек ученый, в книги свои заглядываешь и, верно, знаешь, что делаешь и куда идешь. Сам видишь, я даже не спрашивал тебя, идем ли мы правильным путем. Ты идешь, и я за тобой, как корова за теленком. Мне какое дело!..

Вениамина очень радовало, что Сендерл так крепко верит в его мудрость. Вениамин казался себе капитаном, самолично ведущим корабль по морю. Однако это не помешало ему тут же подумать, что он ведь и в самом деле не знает, где они находятся: возможно, что он заблудился или свернул с пути.

В это время на дороге показался крестьянин, сидевший на возу, доверху набитом сеном.

— Сендерл! — сказал Вениамин.— Не мешает все-таки спросить насчет дороги. Поди-ка на всякий случай спроси. С мужиками ты, пожалуй, лучше меня столкуешься. Тебя ведь твоя молодица частенько брала с собой на базар.

Сендерл поднялся с места и, подойдя к крестьянину, почтительно обратился к нему со следующими словами:

— Добрый день! Кажи-ка, чоловіче, куды дорога на Эрец-Исроел? [1]

[1] То есть в Палестину.

— Що? — с удивлением переспросил крестьянин, уставившись на Сендерла.— Який Сруль? Не бачив я Сруля!

— Ні, ні! — не выдержал Вениамин и вмешался в разговор.— Это вы Сруль... А він «Эрец-Исроел». Сендерл, скажи ему еще раз, ясней! Где ему понять? Ты пояснее, пояснее растолкуй ему, Сендерл!

— На Эр-р-рец Ис-ро-ел куды дорога? — четко повторил Сендерл.

— А пес вас знає, що ви морочите мені голову! Це дорога на Пьевки, а вони: «Элеслоэл! Элеслоэл!» — передразнил крестьянин и, сплюнув, поехал дальше.

Наши путешественники двинулись вперед. Ноги у Вениамина ныли, отказывались идти. Он не обращал на это внимания и подбадривал себя. Но идти прямо и быстро не мог и поэтому все время шел вприпрыжку. Конечно, это была уже не та ходьба, что раньше. Измученный, он все же шагал все вперед и вперед. Да и что ему еще оставалось? Лечь посреди дороги? А толку что? Да и как же это может еврей разлечься на дороге? Это только огорчило бы Сендерла и задержало бы путешествие. Словом, они шли долго, в течение всего дня, пока господь бог не привел их благополучно в Пьевки, где они и остановились на ночлег.

Войдя в корчму, Вениамин сразу же забрался в угол и вытянулся во всю длину: наконец-то можно было дух перевести и дать отдохнуть ногам.

Сендерл, как опытная хозяйка, пошел хлопотать по своей части — переговорить насчет ужина.

Корчмарь оглядел Сендерла с головы до ног и по его виду сразу же определил, что это не обычный по-

стоялец, каких тут часто видишь. Он приветствовал его по обычаю и тут же принялся расспрашивать, кто они такие, из каких мест. Сендерл скромно назвал свое имя и сказал, что он имеет кое-какое отношение к стране Израиля, что обслуживает реб Вениамина, того самого, который сейчас собственной персоной расположился вон там в углу. Корчмарь сделал набожное лицо, призадумался и попросил его присесть.

Оставим теперь «принцессу», сиречь Сендерла-бабу, беседующего с корчмарем, и обратимся к «принцу» — Вениамину, посмотрим, что с ним и что он поделывает.

Вениамин как повалился в угол, так и остался лежать камнем, едва ли что-нибудь соображая. Жилы на ногах у него вздулись, кровь в них стучала и пощипывала, точно стаи мурашек пробегали по телу и впивались в него. В висках стучало точно молотками, в ушах гудело, и шум этот переходил вдруг в протяжный звон или прерывался оглушительным треском, как при взрыве ракеты. Тогда в глазах у Вениамина вспыхивали тысячи огней — желтых, зеленых, синих, фиолетовых, красных и всяких других цветов... Мгновение — и фейерверк гаснет, в глазах — сплошной мрак, а в ушах снова начинало гудеть, как на мельнице.

Лежа в полузабытьи, Вениамин вдруг слышит приближающийся звон бубенцов. С минуты на минуту звон нарастает, усиливается. Но вот раздается скрип, будто телега остановилась у ворот. Доносятся голоса: говорят фальцетом, фистулой, басом, хрипло, гнусаво, картаво, будто целое местечко собралось на важное совещание. Все говорят одновременно, кричат,— ни слова не разобрать. Когда иной раз на кры-

ше соберутся кошки, то слышишь по крайней мере, что они мяукают. И, не понимая кошачьего языка, можно все же сказать уверенно: да, это мяукают кошки. А на местечковом собрании ничего не разберешь — что за крик? Здесь смешались смех, стоны, вздохи, шепот и визг, озорной выкрик и сладкий, льстивый голосок, покашливание и сморкание, стук и хлопание... Вот и разберись, что все это вместе означает? Но тут распахнулись двери, и в дом с шумом ввалилась орава людей.

Вениамин забился подальше в угол и съежился.

В доме вдруг становится очень светлю от множества свечей, воткнутых в субботние медные подсвечники. В некоторых подсвечниках отверстия забиты стеарином, и свечи в них еле держатся, в других отверстия широки и мелки, и свечи торчат в них криво, прижатые угольком.

У края длинного дубового стола сидят музыканты и настраивают инструменты. Скрипач возится со своей скрипкой, перебирает струны, а те отзываются каждая на свой лад: мы, мол, готовы, не было бы остановки за твоим смычком. И скрипач берется за смычок, проводит по нему рукой, держит его наготове. Флейтист тихо беседует с флейтой; она посвистывает в ответ. А цимбалист трогает струны, постукивает молоточками по цимбалам. И только слепой барабанщик сидит, надвинув шапку на глаза, и дремлет.

Возле музыкантов на скамье стоит какая-то фигура, каждое слово которой вызывает оглушительный хохот. Даже дети, которые толпятся у окна, смеются до упаду и пытаются подражать весельчаку. Но вот он выкрикивает:

— Итак, в честь именитых родственников, в честь хозяина, в честь всех собравшихся здесь — сыграйте «фрейлехс»! [1]

И музыканты дружно принимаются за инструменты, а мужчины и женщины берутся за руки и пляшут в хороводе.

Все кругом пришло в движение, закружилось, завертелось; даже клопы и тараканы вылезли из щелей и расползлись по стенам.

Один из танцующих вдруг валится на Вениамина. Танцор пристально вглядывается в него и вскрикивает:

— Ага! Вениамин! Отыскалась-таки пропажа! Добрался я все-таки до него! Вон он где! Вот он!..

На крик сбегаются люди. Вениамин узнает среди них почтенных тунеядовских горожан и тамошнего раввина. И все в один голос кричат:

— Вениамин, идем плясать! Танцуй, Вениамин!

— Не могу! Честное слово! — умоляет Вениамин.— С места двинуться не могу!

— Ничего! Ничего! —отвечают ему.— Идем, говорят тебе, сможешь! Тут и уметь нечего! Двигайся, дурья голова! Погоди, мы о тебе еще порасскажем!

— Зелде? — вскрикивает Вениамин.— Умоляю вас, не рассказывайте Зелде!

— Поднимайся же, глупец! Становись на ноги!

— Сжальтесь, братья! — упрашивает Вениамин.— Право же, не могу я двинуться с места. Есть на то причина. Это тайна, которую я открою одному только раввину.

Вениамин обнимает раввина обеими руками, хочет

---

[1] «Фрейлехс» — еврейская народная танцевальная музыка.

шепнуть ему на ухо свою тайну, но в ту же минуту чувствует сильный удар в бок, от которого даже в нос шибает, как от крепкого хрена. От боли он бросается в сторону, протирает глаза и видит: в доме темно, луна заглядывает в окна, а он, Вениамин, лежит рядом с теленком и крепко обнимает его обеими руками.

Что тут творится? Откуда взялся теленок? Уж не отелился ли Вениамин? Но как же это может быть! Если даже допустить, что Вениамин осел, трижды осел, тысячу раз осел, то ведь он осел двуногий! Где же это слыхано, чтобы двуногий осел отелился?! Правда, у нас немало телок, и главным образом в весьма порядочных домах, но ведь это же телки в образе человеческом. Они в большинстве случаев очень миловидны, с хорошенькими личиками, с ямочками на щечках. Но теленок, которого обнимает Вениамин,— ведь это просто настоящий живой теленок. Откуда же, спрашивается, он взялся? Не иначе — с неба свалился! Чудеса в решете, да и только!

Нет, уважаемые, не верьте в небесных телят! Среди всех наших телят нет ни одного, ниспосланного небом. И вовсе это не чудо, как вам кажется. И нечему тут удивляться, и зря об этом толковать. Все это очень просто. Дело было так.

Когда Вениамин ни жив ни мертв свалился в углу, он от усталости и не заметил, что там лежит теленок. Постепенно кровь успокоилась и весело потекла по жилочкам. Вениамин уснул. И вот приснилась ему эта свадьба, гости, музыканты. Спал он неспокойно, ворочался, метался и забился в самый угол. А в тот момент, когда ему мерещилось, что он обнимает тунеядовского раввина, он на самом деле крепко обнял лежавшего в углу теленка и поведал ему тайну о своем

путешествии. Теленок, однако, не оценил оказанного ему доверия и воспротивился ласкам. Выпростав ногу, он двинул Вениамина в бок и разбудил его.

Оглушенный и встревоженный, он некоторое время не выпускал теленка из своих объятий и, лишь опомнившись, оттолкнул его от себя и испуганно вскочил с места. Теленок, вырвавшись из чужих рук, тоже вскочил и пустился наутек, но столкнулся с Вениамином. Оба грохнулись и опрокинули огромный ушат с водой.

Перепуганные шумом, из соседней каморки выскочили Сендерл и корчмарь со свечой в руке. Взглянули — о, ужас! — Вениамин и теленок растянулись на земле и плавают в луже, издающей сомнительный аромат...

Если бы их обоих в этот момент увидел какой-нибудь стихоплет, он, наверное, воскликнул бы: «Нежно любящие! И в темном углу в луже они неразлучны!»

Но корчмарь и Сендерл были люди простые и стихов не сочиняли. Они тут же разлучили нежную пару: теленка отправили к матери, слегка поругивая за предосудительное поведение, а Вениамина вытащили из неожиданной купели, отвели в отдельную каморку и уложили на соломе с подушкой в изголовье.





ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наши путешественники дотащились до Тетеревки. Вениамин получает пощечину

Вениамин понемногу пришел в себя после ночного купания. Ушат холодной воды освежил его, и он почувствовал себя утром крепче и здоровее. Во вчерашнем приключении с теленком он усмотрел перст божий: ведь купание принесло ему исцеление от всех его болей и хворостей! Этот случай дал Вениамину повод показать Сендерлу, как несправедлив бывает грешный человек, сетующий в тяжкую минуту на судьбу: не понимает он, что постигшее его несчастье ведет, быть может, к благополучию, а кажущееся зло́ — к добру. Все твари земные, даже скотина, мо-

гут иной раз по воле божьей быть посланцами добрыми: даже теленок может стать целителем, даже ничтожная мошка может докучать, изводить и причинять безмерные страдания. Пример тому — история с извергом Титусом [1], приключившаяся в стародавние времена. Вчерашний случай означает, что путешествие предпринято в добрый и счастливый час и что Вениамин, если богу будет угодно, завершит его благополучно и достигнет всего, чего он желает.

— Водонос, идущий навстречу с полными ведрами, спокон веков считался хорошей приметой, а тем паче большущий ушат воды! — подтвердил Сендерл.

Однако все еще не проходившая боль в ногах да мягкая солома, на которой было так удобно лежать, заставили Вениамина остаться в Пьевках на весь день. Он был подобен кораблю, севшему в море на мель и ожидающему попутного ветра, чтобы сняться с якоря.

На следующее утро Вениамин поднялся со своего ложа и снова двинулся в путь.

Довольно долго Вениамин шел молча, в каком-то мрачном раздумье. Вдруг он хлопнул себя по лбу и остановился, глубоко опечаленный. Лишь несколько минут спустя он раскрыл рот и произнес со вздохом:

— Ах, Сендерл, забыл я!..

— Где забыл? Что забыл? — засуетился Сендерл и схватился за торбу.

— Дома, Сендерл, дома забыл!

---

[1] Тит (Титус) Флавий — римский император, покоривший Иудею в 70 году нашей эры. Талмудическая легенда повествует о том, что в наказание бог поместил у него под теменем тарантула, причинявшего ему ужасные муки.

— Что тебе вздумалось, Вениамин? — сказал Сендерл.— Мы как будто захватили все, что нужно человеку в дорогу: торба, слава богу, здесь, талес, филактерии и молитвенники — тоже, субботние кафтаны с нами. Кажется, все, слава богу, взяли. Чего же нам не хватает? Да и что мы могли забыть?

— То, что я забыл, Сендерл, очень важно, просто необходимо. Дай бог, чтобы все обошлось благополучно! Но если, упаси, не приведи и помилуй бог, если попутает нечистая сила, если стрясется беда в пути, тогда мы почувствуем, как велико значение того бесценного, что я позабыл. Уходя из дому, я второпях запамятовал произнести заговор, записанный в старинной книге и заимствованный из очень древней рукописи. Когда уходишь из дому, заговор этот обязательно нужно прочесть возле заставы. В книге говорится, что это верная защита от всяческих опасностей и дурных встреч. Вот что я позабыл!

— Может быть, ты хочешь вернуться домой? — простосердечно спросил Сендерл.

— Да ты с ума сошел?! — воскликнул Вениамин, и вся кровь прилила у него к лицу.— Как это — вернуться домой? После стольких трудов, после такой дороги — и вдруг вернуться! Помилуй,— а люди? Что люди скажут?

— А что нам, Вениамин, до людей? — ответил Сендерл.— Люди, что ли, упрашивали тебя отправиться в это путешествие? Разве они контракт с тобой заключили или дали тебе на дорогу?

— Очень разумно! — язвительно произнес Вениамин.— А Александр Македонский! Его разве упрашивали отправиться в поход в Индию и воевать там?

Да и всех наших странников люди, что ли, упрашивают скитаться по свету?!

— А я почем знаю! — ухмыльнулся Сендерл.— По мне, все они могли бы дома сидеть. Честное слово! Это было бы, пожалуй, лучше и правильнее для всех. Ах, глупенький, глупенький Александрушка Македонский! Дом у тебя был полная чаша, жил бы себе в свое удовольствие, поглаживал бы себя по животику. И на что тебе, дурачок, сдалась Индия? «Сиди дома да не рыпайся!» — сказано в народной поговорке. А ведь люди говорят: «Народная поговорка — что священное писание». Но еще больше удивляют меня наши евреи. Уж они-то, наверное, могли бы этой поговорки придерживаться! Сидели бы дома и занимались своим делом. К чему им скитаться, бродить, носиться без толку, не зная куда и зачем, не щадя ни здоровья, ни сил, зря сапоги трепать? Честное слово, Вениамин, попадись мне на глаза такая вот особа, я бы ему тут же на месте эту народную поговорку выложил!..

Долго препирались наши путешественники. Сендерл задавал вопросы, а Вениамин ему доказывал, что он глуп и ни малейшего представления о таких вещах не имеет. Сендерл напоминал лошадку, которая всегда послушно и преданно служила своему хозяину, готова была за него в огонь и воду и вдруг ни с того ни с сего, словно стих на нее нашел, заартачилась, встала на дыбы и — ни с места, хоть ложись да помирай! И если Вениамин и не стегал заупрямившегося Сендерла кнутом, то зато донимал его своим красноречием до тех пор, пока тот не стал мягче воска, пока не стал по-прежнему покорной, покладистой лошад-

кой. Сендерл навострил уши, выслушал головоломные речи Вениамина и в конце концов проговорил, по своему обыкновению:

— Если ты настаиваешь, пусть будет по-твоему! Мне-то что!

Уладив спор, Вениамин и Сендерл продолжали путь и после долгой ходьбы по дорогам и проселкам едва живые доплелись до Тетеревки.

Тетеревка — первый крупный город, который довелось увидеть нашим путешественникам за всю свою жизнь. Удивительно ли, что они разглядывали прямые улицы, высокие каменные дома и никак не могли наглядеться на них? Чуть ли не на цыпочках шли они по тротуарам, смешно поднимая ноги, будто боялись слишком сильно ступать по гладким камням, чтобы не причинить им какого-нибудь вреда. Ноги, участь коих весьма незавидна! Местечковые ноги, никогда не ступавшие по деревянному настилу даже у себя в доме, ноги, с которыми их обладатели не церемонились, вынуждая их, как свиней, месить непролазную уличную грязь... Такие ноги и в самом деле не могут не растеряться на первых порах, не могут не подпрыгивать, впервые ощутив под собою каменную мостовую. Только что прибывшие местечковые ноги не трудно узнать на мощеных улицах большого города.

Наши путешественники с замиранием сердца шли по городу, почтительно уступая дорогу каждому встречному. Сендерл то и дело хватал Вениамина за полу и оттаскивал его в сторону. Иной раз Сендерлу из-за этого приходилось чуть ли не пускаться в пляс со встречным пешеходом. Человек шел прямо и наталкивался на Сендерла, который, желая отступить

в сторону, на деле загораживал встречному дорогу. Тот кидался вправо, но Сендерл опережал его и сам кидался в ту же сторону. Тогда оба бросались влево, а затем снова вправо, и так до тех пор, пока наконец не разминутся. Один из прохожих, видимо, не очень расположенный танцевать с Сендерлом, попросту схватил его за шиворот и отшвырнул в сторону, так что тот едва без зубов не остался.

Для наших героев здесь все было диковинным, все, казалось, тычет в них пальцами: дрожки что-то кричали, фаэтоны переговаривались, дома надменно поглядывали большими оконными стеклами, а люди передразнивали их, и все орало им вслед: «Эй вы, нищие! Торбы! Мелюзга местечковая! Торбы! Торбы!»

— Знаешь, Вениамин! — сказал Сендерл, задирая голову и почтительно разглядывая большие дома.— Я полагаю, Вениамин, что это — Стамбул!

— Брось! Глупости! Куда этому городу до Стамбула! — отвечал Вениамин таким тоном, точно сам он был уроженец турецкой столицы.— В Стамбуле, глупенький, пятьсот раз по пятьсот улиц, а на каждой улице пятьсот раз по пятьсот пятнадцати — двадцати, а может быть, и тридцатиэтажных домов! А в каждом доме живут пятьсот раз по пятьсот человек! Думаешь, это всё? Нет, погоди, чудак ты этакий! Кроме того, есть улицы поменьше: разные Юрдики, Коченевки, Пески, Яры и Подолы! [1] Их там тьма-тьмущая!

— Ай-яй-яй!— поражался Сендерл.— Ведь это же

---

[1] Названия предместий Бердичева, Житомира и других городов, в которых проживали евреи.

ужас, честное слово, какой огромный город! Но скажи на милость, Вениамин, откуда берутся такие большие города? Зачем людям тесниться в одном месте, как сельдям в бочке? Разве мало места на земле? Ведь есть, наверно, что-то такое, что заставляет людей отрываться от земли и устремляться в небо, ввысь, на верхние этажи? Уж не оттого ли это, что душа человеческая в небесах зародилась и поэтому тянет человека туда, хочется ему, бедняге, расправить крылышки и витать в вышине... А что говорят по этому поводу твои философы, Вениамин? Не встречались ли тебе суждения на этот счет в твоих философских книгах?

— Видишь ли,— отвечал глубокомысленно Вениамин,— что касается философии, то имеется подробное толкование и по этому поводу. Мне как-то однажды пришлось заняться этим у нас в синагоге, за печью... Таким образом был решен талмудический вопрос о ниспосланных нам десяти мерах нищеты, а также было объяснено изречение о том, что весь мир исполнен зла. Но сейчас я это тебе растолкую на основании библии. Ведь ты, Сендерл, пятикнижие учил? Там сказано, что вначале, в древние времена, наши предки жили в шатрах. Но во время Вавилонского столпотворения все люди собрались в одно место и стали делать кирпичи, а потом строить город с высокими домами, упирающимися в небо. Однако в разгар работы на людей нашло затмение, началась кутерьма, суматоха: они перестали понимать друг друга, и все пошло кувырком... Хорошо еще, что бог их тут же разогнал, и люди зажили как прежде, стали дышать свободно, и мир снова воспрянул. Но грех столпотворения не искуплен по сей день. С тех пор и осталась

у людей страсть тесниться, жаться, строить высокие дома, создавать себе славу, устремляться в небо... Помнишь, как сказано в библии? «Что ты ко мне пристал, как злыдень? — говорит Авраам Лоту.— Зачем твоим людям ссориться с моими из-за пяди земли? Ведь весь мир открыт пред тобою, ступай куда хочешь, и давай забудем об этом!..»

Не успел, однако, Вениамин окончить свою тираду, как послышался зычный окрик пароконного извозчика, который, наехав сзади, чуть не огрел их оглоблей.

— Эй, вы, бродяги! — крикнул извозчик, замахиваясь кнутом.— Чего ползете, точно раки — ко всем чертям! Дорогу загораживаете?! Бездельники! Чучела гороховые!

Наши герои с перепугу бросились врассыпную, кто куда.

Сендерл наскочил на столб, ушибся и растянулся во весь рост на земле, а Вениамин впопыхах наткнулся на торговку, несшую корзину с яйцами. Яйца разбились, и над Вениамином разверзся ад кромешный: торговка метала громы и молнии, осыпала его руганью и проклятиями, хотела дать, вернее дала ему звонкую пощечину и, судя по всему, имела горячее желание вцепиться ему в волосы... Короче говоря, Вениамину основательно влетело. Еле живой он вырвался из рук разбушевавшейся торговки и бежал в переулок, где к нему вскоре присоединился и Сендерл.

— Вот тебе и большой город! — сказал Сендерл, вытирая полою пот со лба и щек.— Тут не стой, там не ходи! Черт их ведает!

— Это тянется со времен столпотворения! — ответил Вениамин, тяжело дыша.— Все, что ты видишь

здесь, это то же столпотворение: та же сумятица и неразбериха, воровство и разбой...

— А пропади оно пропадом! — выругался Сендерл.— Пойдем, Вениамин, отдохнем! На тебе лица нет, ты ужасно выглядишь! И щека у тебя почему-то горит, черт бы побрал эту ведьму! Вытри, пожалуйста, лицо! Чертова баба, видать, желтком тебя измазала.





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поворот в политике — по милости Вениамина

В одной из тетеревских молелен горячо обсуждалась тогдашняя Крымская война. Запечье раскололось на различные партии. Каждая партия имела своего президента и свое политическое направление.

Хайкл Башковитый и его последователи были поглощены «тетей Витей» [1]. Они разбирали ее по косточкам и разоблачали все ее хитрости и штучки.

В свое время Хайкл был, с позволения сказать, часовым мастером, умел лучше всех прокатывать

---

[1] Подразумевается английская королева Виктория (1819—1908).

мацу зубчатым колесиком, не знал себе равных по части строительства шалаша к празднику Кущей. Никому не удавалось так ловко использовать при этом строительстве доску для раскатывания теста, лопату, скамью и поломанную птичью клетку. Поэтому, когда при обсуждении затрагивались вопросы технические, спорщики из уважения к нему говорили:

— Это уже по его части, Хайкл знает...

Хайкл постоянно рассказывал удивительные вещи об умопомрачительных английских машинах, так что у слушателей волосы вставали дыбом. А если кто-нибудь из слушателей прерывал его рассказ вопросом, желая понять, в чем секрет машины, Хайкл тут же объяснял все очень просто некоей пружинкой и при этом делал такую мину и так сладко улыбался, точно разрешал все недоумения и раскрывал глаза своим слушателям. Вообще, «пружинкой» Хайкл объяснял решительно все: часы, телеграф, игральный ящик и все прочие механизмы и изобретения на свете. И только Ицика Простака никогда не удовлетворяли «пружинки» Хайкла. Он усматривал в этом некое вольнодумство и насмешливо замечал:

— Хайкл, чего доброго, скажет, что и «голем» [1] и прочие чудеса можно объяснить все той же пружинкой!.. Фи, глупости! Все его объяснения, да простит он меня, просто-напросто ничего не стоят, чепуха!

И так как Хайкл Башковитый стоял горой за «тетю Витю», то Ицик Простак, его постоянный противник, ухватился за «тетю Росю» [2] и заступался за нее,

---

[1] Голем — сказочный человек, который якобы был создан при помощи магии из глины.

[2] Имеется в виду Россия.

не щадя сил. Каждый из них старался склонить на свою сторону приверженцев других партий. Если у Хайкла кое-как налаживались отношения с Шмуликом Боксор, главарем приспешников клики «дяди Измаила»[1], если он наполовину поладил с Берлом Французом, горячим поклонником Наполеона, то Ицик переманивал в свой лагерь Тевье Мока, политика австрийской ориентации. Атмосфера накалялась. Из уст в уста передавались самые разноречивые суждения, страсти кипели, молельня прямо-таки ходуном ходила!

Как раз в это тревожное время наши путешественники прибыли в Тетеревку и временно поселились в этой молельне.

Сендерл, по природе человек покладистый, и в политических вопросах не проявлял особого упрямства — охотно соглашался с каждым в отдельности. «Тебе так угодно,— говорил он,— пожалуйста, пусть будет по-твоему! Мне-то что!» Поэтому все прониклись к нему симпатией. Уже после первого приветствия они пришли к заключению, что Сендерл — добряк, человек без задних мыслей, лишенный манеры настаивать на своем во что бы то ни стало. Но в то время, как Сендерл был в наилучших отношениях решительно со всеми без всякого различия, Вениамин, напротив, проявлял большую разборчивость и с первого же раза почему-то проникся особой симпатией к Шмулику Боксору, к которому он постепенно все больше привязывался, покуда окончательно не сдружился. Вениамин поведал ему весь план своего путешествия. Шмулику эта затея очень понравилась. Он

[1] Подразумевается Турция.

переговорил об этом с Хайклом, и тот решил пораскинуть умом. Он пришел к заключению, что дело это хоть и не из легких, но кажется разумным. На особом совещании с Берлом Французом и Тевье Моком путешествие подверглось всестороннему обсуждению, причем участники совещания немало подивились затее нашего героя.

— Вениамин,— говорили они,— и в самом деле не похож на обыкновенного человека. Он какой-то рассеянный, не от мира сего. Порою трудно понять, что он говорит... То, бывает, задумается, вытаращит глаза, как стекляшки, и улыбается. Наконец, повадки и манеры у него какие-то странные... Все это говорит о том, что Вениамин человек особенный, не простой. В нем, несомненно, есть что-то такое... Иначе и быть не может! Кто знает, может быть, этот Вениамин вовсе и не Вениамин... Всякое может статься!

Когда Вениамин и Сендерл после столкновения с торговкой на улице, запыхавшись, прибежали в молельню, там стоял невероятный шум. Сборище наших политиканов горячо препиралось с Ициком Простаком, который надрывался, стараясь всех перекричать:

— Вот, смотрите, что сказано в Иосифоне! [1] — неистовствовал Ицик и не переводя дыхания тыкал пальцем в какую-то книжицу.— Здесь сказано, что Александр Македонский намеревался направиться к потомкам Ионадава, сына Рехава [2]. Он дошел со своими богатырями до Гор Мрака [3], но дальше они пройти

---

[1] Иосифон — средневековая хроника.

[2] Ионадав, Рехав — библейские персонажи.

[3] Горы Мрака — горы, которые часто упоминаются в средневековых еврейских легендах и сказках.

не смогли, так как ноги их вязли по колено в трясине. Так как солнце там не светит, то земля сплошь болотистая. Вот и подумайте: если Александр Македонский, великий Александр Македонский, который летал на орле и был уже у врат рая, не смог пройти через Горы Мрака, то где уж там нашему замухрышке, этакому ничтожеству! Нет, не поможет ему даже Хайкл со всеми его пружинками!

— Эх ты, голова с мозгами! — раскричался Хайкл, тыча в Ицика большим пальцем.— Где у тебя глаза? А ну-ка посмотри, что сказано дальше! Александр Македонский, говорит он, встретил там птиц, говорящих по-гречески. И одна из таких птиц сказала ему следующее: «Напрасен твой труд, ибо ты возымел намерение проникнуть в чертог господень и в обитель рабов его — потомков Авраама, Исаака и Иакова»...[1] Теперь тебе понятно, голова дубовая, почему Александр Македонский не смог пробраться туда?

— Ну, ладно. Но что ты станешь делать, умник мой дорогой, если правда то, что говорят, будто десять колен израилевых, в том числе и красноликие израильтяне, или потомки Моисеевы, живут как раз там, где-то около страны пресвитера Иона?[2] А ну-ка, пусть герой твой разыщет где-нибудь эту самую страну пресвитера Иона! Так он ее и нашел! После дождичка в четверг!..

---

[1] Авраам, Исаак и Иаков — библейские мифические патриархи.

[2] Страна Иона.— В средневековых легендах фигурирует сказочная страна «пресвитера Иона», которая якобы находилась в Средней Азии.

— А, глупости, Ицик! Право, глупости!

— Погоди-ка, погоди, разумник! А ведь существует еще и река Самбатьен! А что он поделает с этой речкой, которая всю неделю подряд камнями швыряется? Допустим, что он уже перебрался через Горы Мрака, предположим даже, что он отыскал страну пресвитера Иона. Но вот он дошел до реки Самбатьен и — тпрру! Градом сыплются камни, ступить невозможно... Тут уж ему не поможет даже твоя «Витя», хоть стань она головой вниз, а ногами кверху!

— Э, брат, ты уже и в «Витю» вцепился! Вот ты куда забрался!

— И что это, в самом деле, за манера, Ицик, ни за что ни про что королей высмеивать? — заметил с досадой Берл Француз.— Речь идет о Вениамине,— ругай Вениамина, а королей, прошу тебя, оставь в покое!

— За что ругать Вениамина? — отозвался Тевье Мок.— Вениамин, по-моему, на правильном пути. Он может принести евреям радостные вести.

— Эх, Мок, Мок! — проговорил с сожалением Ицик и покачал головой.— Вот уж никак не ожидал, чтобы ты, Мокушка, носился с этим Вениамином и был с ним заодно. Что ты в нем особенного нашел?

— Нет, вы только послушайте! Послушайте, что он говорит! «Что ты в нем особенного нашел?» — передразнил с насмешкой Шмулик Боксор.— В своем ли ты уме сегодня, Ицик? Человек опустился, рассеян, смотрит как-то странно, говорит бог весть о чем... Казалось бы, все это очень ясно свидетельствует о том, кто он такой. Лицо — лучшее зеркало. Если все это

ничего тебе не доказывает, то я уж и не знаю, что такое, по-твоему, человек? Да вот, пожалуйста, он и сам явился. Посмотри на него и скажи, если ты в своем уме, если ты не окончательно рехнулся... Видите, у него почему-то пылает щека и три желтые полоски, подобно букве «Ш», тянутся по лицу! Ну, что ты теперь скажешь, Ицик?

Ицик подошел поближе к Вениамину, окинул его взглядом с головы до ног, плюнул чуть ли не в лицо и сердито отвернулся.

После этого разговора о Вениамине расстановка политических сил сложилась по-иному. Шмулик Боксор и Берл Француз заключили союз с Хайклом. «Витя» выслала в море тысячу кораблей с какими-то чудовищными машинами, «дядя Измаил» перешел реку Прут, а Наполеон обрушил бомбы на Севастополь. Тевье Мок занял неопределенную позицию, ни туда ни сюда, и трепал языком, сам не зная, на каком он свете. А Ицик Простак остался в одиночестве, словно посреди моря. Он, бедняга, орудовал всячески, из кожи лез: шутка ли, один против такого скопища! Зато он взъелся на Вениамина и не упускал повода придраться к нему и надосадить по мере возможности.

«Господь свидетель,— говорит в своих писаниях Вениамин,— я не вмешивался в политику. Ибо, во-первых, к чему мне это? Во-вторых, что еврею до всего этого? По мне, все могло быть и так и этак,— не все ли равно? Сендерл мой тоже в такие дела отнюдь не вмешивался. И тем не менее Ицик мне покоя не давал — досаждал и днем и ночью: то натыкает мне сзади перьев или швырнет в меня потихоньку подушеч-

кой, то забросит куда-нибудь мой башмак, так что я потом никак его не найду. Стоило мне ночью уснуть, как он начинал соломинкой щекотать мне пятки, так что я поневоле вскакивал, а то, бывало, запустит мне в нос гусара,— я просыпался и кашлял от дыма чуть ли не час подряд... Как будто я был виноват в том, что три партии заключили союз против него».





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О том, как наши герои ходили по миру

Большую часть дня наши путешественники были заняты добыванием средств к существованию. Они наносили визиты тетеревским жителям и за короткое время так прославились, что на них указывали пальцами и встречали — кто шуткой, кто ухмылкой. Другой на их месте возгордился бы почестями, с какими их встречали, и растрезвонил бы повсюду о том, как он велик, как люди просто таяли при виде его, как носились с каждым его словом, как принимали и провожали до самых дверей. Но наши герои были люди простые и почестям особого значения не придавали.

Вениамин был поглощен своими делами, а Сендерл неустанно заботился о том, чтобы торба была набита дополна и чтобы в кармане звякало несколько грошей на расходы. А подадут ли с улыбкой или с гримасой,— не все ли равно? Давали бы только!

Нынче пир горой, а завтра
Клянчишь медный грош на завтрак[1].

Вот известная еврейская песенка, которая очень верно рисует простоту и непритязательность наших нищих. Эту песенку частенько напевал про себя Сендерл, когда побирался.

— Добрый день! Бог в помощь! — возглашал он обычно, входя в дом, и тащил следом за полу Вениамина. Потом он выталкивал его вперед, шепотом наказывал не стесняться, а сам почтительно отступал в сторонку.

Побираясь таким образом, наши путешественники попали однажды в дом, в котором застали некоего молодого человека, о чем-то горячо толковавшего с хозяином. Молодой человек, судя по всему, разъяснял хозяину важность какого-то дела, которое якобы могло прославить его на весь мир... Он вовсю расхваливал сам себя, показывал бумаги и чего-то добивался. Но хозяин дома морщился, отбояривался как мог и не чаял, как бы вырваться из цепких лап этого молодого человека. Завидев наших героев, хозяин ухватился за них как утопающий за соломинку. Он бросился к ним навстречу в надежде, что те пришли к нему по важно-

---

[1] Здесь и дальше переводы стихов Г. Юнакова.

му делу и таким образом вызволят его из беды. Узнав, однако, кто они такие и за чем пришли, хозяин растерялся и застыл в изумлении, как человек, которого напасти подстерегают со всех сторон.

— Вот вам еще путешественники! — проговорил хозяин, придя в себя, и обратился к молодому человеку: — Эти люди — тоже путешественники! Новое несчастье на нашу голову — путешественники!

Молодой человек и наши герои разглядывали друг друга.

— Знаешь,— прошептал Сендерл, потянув Вениамина за полу,— возможно, что этот молодой человек держит путь туда же, куда и мы... Он, упаси бог, может нас опередить, и мы останемся в дураках.

— А вы, чего доброго, не одна компания? — спросил хозяин.

— Боже упаси! Что вы! — в один голос воскликнули Вениамин и Сендерл.— Мы сами по себе! Мы ходим отдельно!

— Ходите себе на здоровье отдельно,— для меня вы одна компания! — сказал хозяин, доставая из кармана монету.

— Дайте, пожалуйста, нам! Нам дайте! — попросил Сендерл и протянул руку.— Мы выплатим молодому человеку его долю! Идемте, молодой человек, мы с вами рассчитаемся. У меня есть мелочь.

Но в эту минуту растворилась дверь кухни, и оттуда послышался дикий крик:

— Это он! Он! Вот тот, что стоит возле низенького, худощавого мальчишки! Они тогда вдвоем таскались. Я узнала его, этого красавца, по роже, по рыжей бороденке, чтоб ему ее повыдергали. По распахнутой грудке,— черт бы его, господи милосердый, побрал!

Чтоб его трясло и качало, чтоб мозги из его костей поганых повытекли!..

— Вениамин, дадим тягу! — шепнул Сендерл и потащил своего друга за полу.— Провались она сквозь землю, эта ведьма чертова! До сих пор забыть не может разбитые яйца!..





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О том, как предки сослужили службу нашим героям

Нельзя без горечи и сожаления читать о судьбах великих мыслителей мира сего, о том, как много страданий причинили им люди, ради которых они жертвовали всей своей жизнью и которых осчастливили полезными открытиями и достижениями ума своего. Мир, по сути дела, подобен ребенку, который любит держаться за маменькин передник, не отходя от него ни на шаг; ему нравится слушать старые глупые сказки, сто раз на дню повторяемые няньками и бабками; он уверен в том, что на свете нет ничего лучше его игрушек, что именно в них кроется вся и всяческая премуд-

рость. Когда из хедера является помощник ребе и отводит ребенка в школу, чтобы чему-нибудь его научить, он кричит и отбрыкивается, как если бы его вели на заклание. Мир предпочитает жить по старинке, всякое новшество кажется ему дикостью, он упорствует и противится, он смешивает с грязью тех, кто предлагает новое... И лишь после того как новшество привилось, прижилось и воочию доказало высокую свою полезность, лишь тогда за него хватаются, радуются ему, превозносят, совершенно забывая о тех, кто в поте лица своего открыл это новшество. Хорошо еще, если люди догадаются помянуть их в молитве и поставят им памятник. Миллионы людей ныне благополучно здравствуют в Америке, а бедный Колумб, когда его осенила счастливая мысль об открытии этой самой Америки, вдоволь настрадался; над ним издевались, его считали сумасшедшим.

Та же участь постигла и нашего Вениамина из Тунеядовки. По внешнему виду его принимали за полоумного, а слушая его разглагольствования о путешествии, люди еле сдерживали хохот, подтрунивали над ним, дразнили, смотрели на него как на чучело гороховое. Счастье, что Вениамин далеко не все понимал, не то он обозлился бы, занемог бы, упаси бог, от огорчения и плюнул бы на свое путешествие!

Мы опускаем многое из того, что относится к издевательствам над Вениамином, дабы это не легло несмываемым пятном на всех нас, не опозорило бы нас перед лицом истории, перед лицом будущих поколений. Мы делаем вид, что ничего об этом не знаем. Шито-крыто! Продолжим наше повествование.

«В Тетеревке,— говорит Вениамин,— много евреев, да плодятся и множатся они! Кто они, что за люди, от-

куда родом — они и сами знать не знают и ведать не ведают. От отцов, дедов и прадедов им известно, что происходят они от евреев, да и судя по некоторым их обычаям, по одежде, языку, делам и тому подобному,— они, видимо, и в самом деле евреи, но пришедшие сюда из разных мест, оторвавшиеся от разных колен Израилевых, разобщенные, ибо у них друг с другом нет почти ничего общего. Падающего здесь, к примеру, никто и не подумает поднять, хоть околей он тут же на месте, прости господи!

Среди здешних евреев имеются и такие, которые прекрасно понимают манифаргийский язык. Слово это происходит от латинского «манифаргиссимус», что означает: «мани» — рука, а «фарги» — нечистая, то есть нечистые на руку. Евреи-манифаргийцы знают также хиромантию, то есть глядят людям в руку, да тем и кормятся. Кроме того, есть у них и другие специальности — они замечательные клепальщики и отличные токари: сочинят небылицу, да так отточат, что диву даешься! Еще ниспослал им всевышний дар преувеличения: сочинят втихомолку историю и расскажут с такой ужимкой, что человека даже слезой прошибает,— всю душу вывернут. Говорят, что евреи эти — разноплеменный сброд и берут они начало от упоминаемого в библии рода «кафторим» [1].

«А в общем,— повествует Вениамин,— тамошние жители — люди порядочные и благопристойные. Меня они всегда принимали с улыбочкой; им доставляло большое удовольствие оказывать мне внимание. По всему было видно, что они мною очень довольны. От

---

[1] Кафторим — библейское племя.

всей души желаю, чтобы и бог и люди были так же довольны ими во веки веков. Аминь!»

«Чудеса, да и только! — продолжает Вениамин.— В этой среде встречаются иной раз и слегка свиноподобные. Их сразу узнаешь по обличию. Кое-кто полагает, что это порода такая, другие утверждают, что таково влияние местности». Вениамин не берется решать этот вопрос. Дело ученых исследовать и объяснить это явление. «Но как бы то ни было,— указывает Вениамин,— само по себе это вовсе не ново. Еще старик Маттатия де ла Кроти в давние времена писал в своем «Отображении мира» следующее:

«В британских владениях живет племя хвостатых, подобных коровам. Еще встречаются женщины огромного роста, толстомясые, великаны, заросшие щетиной, подобно свиньям. Во Франции объявилось племя рогатых. В горах живут хромоногие женщины, причем хромота считается у них признаком особой красоты». Совсем как у нас! В наши дни встречается много женщин, у которых, извините, зад сильно выпячен, а по земле волочится длинный хвост. «Так было,— говорится в писании,— так и будет, ничто не ново под луной!»

«Тетеревка,— говорит Вениамин,— большой город с красивыми домами, с длинными улицами. На первый взгляд кажется, что жизнь в городе бьет ключом. Однако с течением времени, когда обживешься, убеждаешься, что по сути это своего рода большая Тунеядовка.

Жители города едят, ложатся спать, встают каждый день обычно в одни и те же часы. Счет времени ведется там от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Завтрак, обед и ужин — это в жизни тетеревцев три

пристанища, до которых они жаждут добраться, чтобы хоть чем-нибудь заняться после длительной потери времени в путешествиях по пустыне.

Говорят, будто сам по себе воздух в Тетеревке делает человека ленивым, беспомощным, сонливым. Бывает, попадет сюда человек энергичный, жаждущий деятельности, но проходит немного времени, и от его энергии и стремления к деятельности ничего не остается, кроме стремления... поесть, поспать и вставать лишь для того, чтобы снова покушать и снова лечь спать.

Привелось Вениамину повидать здесь местечковых мироедов и общинных заправил. Перед отъездом из своих местечек они проявляли кипучую энергию и чрезмерное усердие. «Необходимо ехать! — твердили они.— Во что бы то ни стало надо ехать, и обязательно нужно постараться уладить вопрос о деньгах на общественные нужды и разные другие дела!..» По совести говоря, все их рвение, все эти усилия ни к чему, и нужны они тут как пятое колесо телеге, так как имеется установленная смета, и все будет сделано без их помощи. Однако пыл и жажда деятельности возобладают. Желание ехать превозмогает. И, получив у горожан деньги на расходы для своих жен, детей и для себя, наши общественные печальники отправляются в добрый и счастливый час в путь-дорогу. Но по приезде в Тетеревку их пыл, как назло, немедленно остывает. Куда девалась вся их прыть? Сидят в заезжем доме размякшие, беспомощные, и все только едят да пьют, бедняги, и спят, точно околдованные. В таком состоянии проводят они, несчастные, все свои дни и годы. Общество по их требованию беспрерывно шлет

им деньги, а они, страдальцы, торчат здесь да только и делают, что позевывают, едят, спят, горемычные, как зачарованные принцы, и прямо-таки нет никакой возможности вытащить их отсюда. Тут уж ни знахарь, ни ведьма не помогут.

Вениамину очень хотелось познакомиться с проживающими в Тетеревке знаменитыми учеными и сочинителями. Как-никак, он был тоже человек ученый, философ, заглядывающий в умные книги и знающий, что такое древнееврейский фолиант, из коего и они черпали свои познания и ученость. Да и как же можно было быть здесь и не повидаться с людьми своего круга? Кроме того, ему хотелось потолковать с ними о своем путешествии. Такие люди его поймут и оценят по достоинству. Кстати, он надеялся получить от них рекомендательные письма и хвалебные отзывы; ведь они любят блеснуть рекомендательной грамотой по поводу всяких ничтожных затей, пустяков и нелепостей. Как же им не откликнуться на столь важное событие, как путешествие нашего героя! Тут уж перо их понесется, словно резвый конь, галопом по бумаге.

Однако, к кому бы Вениамин ни заходил, его всюду постигала неудача: хозяин либо ел, либо спал!

Однажды ему удалось попасть к некоему неугомонному писаке, прославившемуся своей неистовой предприимчивостью, как раз в то время, когда тот полулежал в кресле в своей комнате.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! Что вам угодно?

— Ничего особенного. Побеседовать хотел бы.

Вениамин попытался так, попытался этак,— разговор не клеился. Писака, точно разваренный, еле ше-

велит губами, глаза у него слипаются, он клюет носом. Вениамин старается привести его в чувство, расшевелить своим красноречием,— напрасно: писака холоден как лед. Наконец он все же немного очухался, сладко зевнул и кликнул жену.

— Когда же мы будем кушать? — спросил он, потягиваясь и хрустя пальцами.— Пускай подают на стол,— добавил он,— потому что я хочу потом прилечь...

Словом, Тетеревка — великая спальня: все тут спит мирным сном — и ученость, и торговля, и банки, и тяжбы, и всякого рода дела. И сколько их ни буди, никак не добудишься. Даже когда несколько человек соберутся, у них тут же отнимаются языки: сидят, зевают, смотрят друг на друга как истуканы, и все сборище засыпает... И лишь когда подают ужин, они начинают шевелиться, оживают, горячо принимаются за еду, насыщаются и — спокойной ночи! Расходятся по домам — спать...

С течением времени Вениамин испытал это и на себе самом. Он в Тетеревке только и делал, что ел да спал, и его страсть к путешествию начала понемногу ослабевать. Ему грозила величайшая опасность: он мог застрять здесь, как судно в море во время штиля,— проспать в Тетеревке всю свою жизнь. К счастью для него и для всего мира, приключилось событие, которое, подобно урагану, сорвало его с места и заставило продолжать путешествие.

Вражда Ицика Простака к Вениамину возрастала с каждым днем. В последнее время он как клещ впивался в Вениамина, донимал его разговорами о путешествии. Ицик предвещал всякие ужасы, говорил, что не добраться Вениамину до реки Самбатьен, пока вот

здесь, у Ицика на ладони, волосы не вырастут, что не видать ему краснoликих израильтян как ушей своих.

Однако Вениамин не давал ему наступать себе на мозоли и твердил свое: есть на свете создатель, не оставляющий в беде тех, кто на него уповает. Как-нибудь, с божьей помощью, он доберется туда, всем врагам назло! Отбиваясь от нападок, Вениамин приходил в раж, он вдруг начинал выкрикивать: «Гремучий змей!», «Дракон!», «Осел!..», «Мул!..» — и тому подобное. Это должно было означать: можете надрываться сколько угодно, а я уже далеко в пустыне, я иду, иду!

Ицик в таких случаях трижды сплевывал и говорил:

— Он просто с ума сошел, рехнулся! Его надо к знахарю сводить!

В конце концов Ицик добился того, что стоило Вениамину показаться на улице, как за ним, будто за полоумным, гналась орава мальчишек, швыряла в него камнями, улюлюкала и кричала:

— Гремучий змей!.. Дракон!..

Однажды, когда Вениамин и Сендерл шли под вечер по улице, озорники саранчой налетели на них и стали так донимать их, что наши герои вынуждены были обратиться в бегство. В одном из закоулков, сбегая с горки по длинному узкому мостку, они столкнулись с человеком, шедшим навстречу. Разминуться не было никакой возможности, разве что спрыгнуть с мостка и разбить себе голову или, в лучшем случае, ногу сломать. Но и голова и ноги до зарезу нужны были нашим путешественникам. Без головы или без ног путешествовать немыслимо. И Вениамин и Сендерл остановились повесив носы.

— А-а, привет тебе, Вениамин! — произнес встречный тоном, в котором прозвучали и досада и насмешка.— Замечательная встреча, право, как нарочно!

— Здравствуйте, приветствую вас, реб Айзик-Довид! — растерянно, каким-то чужим голосом ответил Вениамин.

Встречным оказался реб Айзик-Довид, сын Арн-Иосла, мужа Соре-Златы,— тунеядовский мудрец.

— Хороши! Нечего сказать! — с укоризной процедил реб Айзик-Довид.— Удирают украдкой из дому... Удрали, и все тут... Почему? Отчего? Что за причина? Ведь все на свете должно иметь какой-то смысл! Как же это так, уйти ни с того ни с сего, за здорово живешь и покинуть жен своих бедных на произвол судьбы! В чем дело? Нет, в самом деле, не говоря уже ни о чем другом, я вас спрашиваю снова и снова, что это значит? Нет, скажите на милость, что вы тут делаете? Я и тебя имею в виду, Сендерл! Не думай, я вижу, как ты прячешься за Вениамина. Можешь быть уверен, от жены тебе здорово влетит! Она готова растерзать тебя, как селедку! Чуяло ее сердце, что вы здесь! Недаром ей, жене твоей то есть, захотелось поехать именно сюда, и обязательно со мной!

— Ага! Он здесь! — воскликнула вдруг подоспевшая откуда-то женщина.

Сендерл по голосу узнал свою жену. Он обмер, побелел как стена, душа в пятки ушла от страха. Чтобы не свалиться с мостков, он обеими руками ухватил Вениамина за полу кафтана,— до того закружилась у него голова. Вот, казалось ему, она накинется на него и надает ему оплеух.

— Полюбуйтесь-ка на них, на этих красавцев! Черт бы их побрал обоих! Где он, мой изверг? Пусти-

те меня к нему, пустите, я покажу ему, как велик наш бог! — кричала не переводя дыхания жена Сендерла и толкала реб Айзик-Довида.

— Только без крика! Без шума! — упрашивал реб Айзик-Довид.— Терпение! Уж вы столько времени ждали, подождите еще малость. Вдовой при живом муже вы уже, слава богу, не останетесь. Что же касается всего прочего, то поневоле приходится сказать: женщина остается женщиной. Казалось бы и неглупая, а все-таки женщина. И в самом деле, подойдем к этому делу с другой стороны. К чему шуметь? Конечно, я понимаю, вам досадно: они сбежали! Почему? Отчего? Ведь все должно иметь какой-то смысл. Но, понимаете ли, раз так случилось,— значит, так оно и есть, а раз так оно и есть, то спрашивается: к чему еще крик? Но секрет в том,— уж вы меня извините, как родную мать прошу,— секрет, понимаете ли, в том, что женщина, извините, остается женщиной.

Реб Айзик-Довид только было разошелся, намереваясь, по своему обыкновению, обсудить вопрос «с другой стороны», а затем снова «с другой стороны» и сдобрить свои рассуждения и солью и перчиком. Но с обеих сторон мостков уже собралось довольно много людей. Собравшиеся негодовали, что какие-то евреи загородили дорогу и не дают пройти,— встали тут и рассуждают, точно, кроме них, нет никого на свете.

Кладка была так узка, что двоим никак не разминуться. И тому, кто стоял на одной стороне, приходилось ждать, покуда мостки не перейдут пешеходы с другой стороны. Поэтому жене Сендерла и реб Айзик-Довиду пришлось отойти назад. Вениамин и Сендерл тоже отступили на свою сторону. Лишь после этого люди стали переходить по кладке.

— Скажи на милость, Сендерл, чего мы здесь стоим, чего ждем? — сказал Вениамин, уже успевший прийти в себя.— Мы сейчас похожи на ребят, которых в наказание привязали ниточкой к ножке стола, а другой конец велят держать во рту. Глупенький, сейчас еще не поздно спастись.

— Верно, честное слово! — весело воскликнул Сендерл, точно человек, вырвавшийся из тисков.— Скорей, скорей, Вениамин! Если ты не желаешь, чтоб я попал к «ней» в руки... Это не кладка, это сама судьба, это сами предки сослужили нам службу.

Наши герои тут же дали тягу и спустя несколько минут оказались уже на другом конце города. Без дальних проволочек они забрали свои узелки и распрощались с Тетеревкой.





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ура! Краснолицие израильтяне!

— Э-гей! Вьо! Вьо! — хрипло кричал возница с облучка своей повозки, проезжая по самой оживленной улице города Глупска. Он чуть не наскочил на двух женщин, стоявших посреди мостовой с сумками, полными всякой снеди: мясом, редисом, луком, чесноком. Женщины поверяли друг дружке свои секреты, изливали душу так громогласно, что их можно было услышать за версту.

Женщины разбежались в разные стороны и остановились, чтобы издали, через дорогу, закончить разговор. Они кричали нараспев, стараясь заглушить визг и скрип телег, крытых фургонов и возов с дровами, длинной вереницей тянувшихся по улице и перегородивших на долгое время дорогу пешеходам.

— Хасе-Бейля! Значит, вечером придешь к гадалке? Я там буду со своим... Твой тоже придет, он просил передать тебе, что там будет весело. Приходи, глупенькая, останешься довольна! Ну как же, Хасе-Бейля, придешь?

— Моя хозяйка, чтоб она сгорела, хочет меня сегодня заставить хлеб замесить и крупу перебирать. Но я как-нибудь отделаюсь и приду. Только пусть это будет в секрете. Прошу тебя, Добриш, никому об этом не говори!

— Погоди-ка, Хасе-Бейля, погоди! Черт твою хозяйку не возьмет, если обед поспеет часом позже. Она хочет жрать? Пусть ее черви жрут! Да, я совсем забыла! Не просеивай так мелко муку! Мучнице не нравятся твои отруби. Сколько тебе осталось от сегодняшней покупки?

— Ах, сорванец какой! Держите его, жулика! Это что еще за мода — хватать? Чтоб тебе живот схватило!

— Что случилось, Хасе-Бейля? Чего ты кричишь?

— Воришка, понимаешь! Чуть сумку из-под рук не утащил! Хорошо, что я вовремя спохватилась.

— Смотри-ка, смотри, Хасе-Бейля, что это там за толпа? Опять, наверное, горит где-нибудь. Уже второй пожар сегодня! До вечера еще несколько пожаров может случиться.

— Не звонят. Был бы пожар, звонили бы.

— Погодика-ка, вон идет маклерша, я у нее спрошу. Симе-Двося! Симе-Двося! Что это за беготня?

— Не знаю, право! Может быть, Нехаме-Гися знает. Нехаме-Гися! Дорогая, что это там за сборище? Ваши утки так кричат, что ничего не разберешь. Годл сегодня родила, она у вас этих уток заберет. А куры у

вас есть? Да, утки очень жирные. Яйца сегодня — не подступись! Что же это там за суматоха?

— А я знаю? Какие-то красноликие... Слышу, кричат: «Красноликие! Красноликие!»

— Что? Прибыли красноликие израильтяне? Боже мой! Надо сбегать посмотреть на них! — выпалили все разом и кинулись бежать.

— Ура! Гремучий змей!.. Дракон!.. Ура, красноликие израильтяне! — надрывалась в толпе орава мальчишек.

«Красноликие израильтяне» — это были наши путешественники, Вениамин и Сендерл, которые после события, приключившегося с ними в Тетеревке, прибыли в Глупск и за неделю-другую успели стяжать себе славу и здесь. Многие богобоязненные евреи прямо-таки восторгались ими так же, как некогда тем сапожником, в котором глупские обыватели вдруг узрели чудотворца.

Толця и Трайна, небезызвестные в Глупске благочестивые старухи, ежедневно к вечеру наряжались в субботние платья и повойники и отправлялись за город встречать мессию. Они-то и были теми счастливицами, которые однажды незадолго до наступления темноты удостоились встретить за городской заставой наших путешественников, прибывших в добрый час из Тетеревки в Глупск. С первого же взгляда обе кумушки поняли, кого им бог послал. Удивленно переглядываясь, Толця и Трайна подталкивали одна другую в бок. «Ну, Трайна! Ну, Толця! — шушукались они между собой.— А ведь чуяло сердце, что это не обыкновенные люди!»

Толця и Трайна нарадоваться не могли на наших героев. Они обе словно помолодели. Сердца их лико-

вали, когда они слушали рассказы Вениамина и Сендерла об их путешествии; они умиленно переглядывались и улыбались: «Ну, Трайна!.. Ну, Толця!..»

Толця штопала им носки, Трайна чинила рубахи, пришивала тесемки, и обе чувствовали себя счастливыми, как в годы юности, когда они были невестами.

Словом, в Глупске наших героев оценили по достоинству. Да и где же еще, как не в Глупске, могли бы понять и оценить таких людей?

В Глупск, в Глупск ступайте, сыны Израиля! Зря вы, чудаки этакие, пропадаете, как нищие, и глохнете за печью в местечковых молельнях. В Глупск, черт возьми! Там найдете вы себе равных! Там вас дожидаются ваши Толци, ваши Трайны; там жаждут встречи с вами тысячи благочестивых евреев, тысячи безгрешных душ; там вы можете расти, там воспрянете духом, там найдете вы и почитателей и покровителей; там вы заживете по-настоящему!..

В Глупск, черт вас побери, в Глупск!..

Вот как Вениамин описывает этот город:

«...Когда прибудете в Глупск по Тетеревской улице, извольте сначала перепрыгнуть через лужу, затем через вторую, а чуть подальше — через третью, самую большую, в которую, с вашего позволения, стекаются мутные воды из канав и помои со всех хозяйских дворов. Эти потоки несут с собой много всякого добра, каждый день недели определенного цвета и запаха, так что по внешнему виду лужи нетрудно определить, какой именно сегодня день. Если, например, в лужу текут ручейки, желтые от песка, которым чистят полы, и несут они с собой рыбью чешую, куриные лапки и головы, клочья шерсти и куски обгорелых копыт,— знайте: сегодня пятница! Берите веник и ряшку и от-

правляйтесь, извините, в баню! Если же ручейки несут яичную скорлупу, очистки лука, кожуру редьки, печеночные сухожилья, селедочные хвосты и обглоданные мозговые кости,— поздравляю вас, сыны израилевы: это день субботний! Празднуйте его в свое удовольствие! Кушайте на здоровье кугл![1] Если же ручейки еле-еле движутся, волокут обгорелые комья каши, засохшие куски теста, рваную тряпку, расползшуюся мочалку,— значит, сегодня воскресенье. Водовоз еще не привез воды, еле-еле удалось нацедить из бочки последние остатки и кое-как вымыть субботние горшки и макитры. Так и в каждый из остальных дней недели лужа выглядит и пахнет по-иному.

Благополучно перебравшись и через эту лужу, вы, уважаемые, пройдете мимо кучи мусора, оставшейся на память от сгоревшего домишка. На вершине кучи стоит обычно корова, которая, подобно странствующему проповеднику, спокойно жует жвачку, шлепая губами, и безразлично поглядывает на евреев, что носятся внизу как угорелые,— с палками, тросточками и зонтами. Корова то потянет ноздрями, то вздохнет по-коровьему, точно, глядя на этих людишек, она и впрямь вздыхает и сетует на судьбу свою, что попала она, бедняга, в еврейские руки... Когда минете эту кучу, идите все прямо и прямо. Может случиться, что вы, упаси бог, грохнетесь на острые камни развороченной мостовой,— встаньте, прошу вас, если сможете, и, поскольку ногу вы себе не сломали, продолжайте путь, пока не попадете на некое подобие площади. Тут на площади вы найдете то, чем дышит Глупск, самую его суть.

---

[1] Кугл — субботняя бабка (кушанье).

Если имеются основания Тетеревскую улицу назвать желудком Глупска, то эту площадь мы с полным правом можем считать его сердцем, бьющимся неустанно день и ночь,— тут средоточие его жизни. Здесь помещаются магазины, лавчонки, ларьки и знаменитые рундуки, в которых ремесленники сбывают всякого рода остатки: куски материи, тесьму, шнур, бархат, обрезки меха. Здесь царит вечная сутолока, всегда полно людей. Евреи снуют, толкаются, а на них со всех сторон напирают дышла или оглобли пароконных извозчиков. Врачи уверяют, что при вскрытии у глупских евреев нетрудно обнаружить либо дышло, либо оглоблю. Однако особенно полагаться на глупских врачей нельзя: здесь гораздо большую роль играют знахари.

На площади то и дело раздаются выкрики: «Вот горячие пышки!» Повсюду шныряют оборванные мальчуганы и дико взывают: «А вот гречаники!», «А вот чеснок, лук!» Здесь в предвечерний час можно между делом улучить минутку и помолиться; здесь же во всеуслышание произносят молитву, приуроченную к новолунию, а потом кричат каждому проходящему: «Мир вам, дяденька!»

Тут стоят носильщики, подпоясанные толстыми веревками, отставные солдаты, торгующие старыми голенищами и потертыми шинелями, старьевщики, промышляющие рваными штанами, кафтанами, ватниками и другим тряпьем. Посреди площади стоит пан сторож и со смаком уплетает кусок булки, полученной в субботу за оправку свечей; он откусывает очень бережно, чтобы ни крошки не упало наземь. Снуют карманники в поисках добычи. Откуда-то выбегает грязная, растрепанная девица и ревмя

ревет, хрипло вымаливая милостыню, хватает за полы прохожих и так орет, как если бы ее резали и грабили. Ватага озорников улюлюкает и бегает за помешанным в измятой шляпе, напевающим грустные полуеврейские, полупольские песенки. Поодаль стоит парень с каким-то ящиком. Люди смотрят в глазок, а парень приговаривает свое, заученное: «А вот Лондон — аглицкая столица, папа римский едет верхом прокатиться. Он в красных штанах щеголяет, а народ перед ним шапку ломает!.. А сейчас перед вами Наполеон со своим войском идет войной на прусские страны, а пруссаки разбегаются, как тараканы! А вот картина третья: девица с султаном едет в карете. Великий визирь держит кнут, а кони бегут. Вдруг лошадка как вскинулась, карета опрокинулась, султан со своей милашкой полетел вверх тормашками! Султан не может встать, а девица хочет удрать! Ну, хватит! Насмотрелся за грош! Следующий!..»

Длинными рядами сидят торговки, окруженные корытами, в которых полным-полно чеснока, огурцов, вишен, крыжовника, красной смородины, китайских яблочек, мелкой груши. В стороне скособочилась ветхая будка на курьих ножках, без окон и дверей, в которой, по рассказам седовласых старцев, некогда помещался солдат-будочник. Весь город бегал тогда смотреть на это чудо. Возле будки, которой здесь гордятся, словно старинной крепостью, под навесом из нескольких прогнивших дощечек, покрытых рогожей и соломой и опирающихся на четыре искривленных столба, восседает торговка Двося. Вокруг нее корыта. При ней постоянно большой горшок с тлеющими углями. Зимой она весь день сидит над ним, как наседка на яйцах, лишь время от времени вытаскивая его,

чтобы раздуть угли и достать из золы печеную картошку.

Старинная, распространенная в народе легенда повествует о том, что часть евреев, которых царь Соломон отправил на кораблях в Землю Офир за золотом и всякими заморскими товарами, по разным причинам не вернулись обратно. Они открыли в Индии богатые лавки, крупные конторы, набрали в долг у тамошних немцев много товаров, заключили выгодные сделки. Долгое время они жили припеваючи. Впоследствии, однако, колесо фортуны повернулось в обратную сторону: купцы наши обанкротились и вынуждены были удрать. Некоторые погибли в пустыне, другие, благополучно перебравшись через границу и сев на корабли, поплыли по Пятогниловке, которая в то время впадала в море. Плыли они, плыли, но однажды вдруг поднялась страшная буря; волны вздымались до небес, корабли были разбиты, а людей выбросило на берег. Эти люди и построили тут город и назвали его Глупском.

Исследователи старины, которые по мудрости своей великой способны из ничего мускатный орех сотворить, подхватили эту легенду и постарались при помощи тысячи ухищрений доказать, что в ней есть доля истины. Доказательства, которые они приводят, таковы.

Во-первых, форма домов в Глупске какая-то дикая, старинная, как много тысячелетий тому назад, когда люди ютились в шатрах и прозябали в логовищах. И в самом деле: в Глупске много домов, напоминающих логовища и лачуги дикарей. И внешний вид домов, и расположение их говорят о том, что они не ладят между собой: «Ты, мол, забрался вглубь, а я тебе назло

хочу высунуться вперед! Ты стал поперек, а я стану наискосок! Тебе хочется крылечко, а мне — лестницу: кому нужно, тот не хвор и вскарабкаться! Ты что-то уж слишком высоко поднял свою дырявую крышу, а я свою нарочно надвину... Ты мне не указчик! А кому не нравится, тот пусть не смотрит». Словом, все это указывает на древние, стародавние времена.

Во-вторых, обычаи жителей. До сих пор тут еще сохранились обычаи, ведущие свое начало от идолопоклонников, среди которых в былые времена жили предки обитателей Глупска. Письмо и счет здесь не в ходу, так что все общинные дела, дела разных товариществ и братств ведутся без всякой записи, а руководители их ни перед кем не отчитываются.

В-третьих, касты. Люди делятся здесь на касты так же, как некогда в Индии. Например, каста хапунов — самая главная, простирающая свою властную руку над всеми. Затем каста укрывателей, заступников, которые действуют заодно с хапунами, всячески отстаивая их интересы, за что получают от них определенное жалование и даровое мясо. Каста наводчиков, которые направляют других на скользкий путь, а сами изворачиваются и выходят сухими из воды. Эти делятся на банкротов — людей светских, знающих толк в торговле, и ханжистов — особ духовного звания, сведущих в вопросах религии. Наконец, имеется еще каста глупо-трусо-безъязыко-нищих. Это просто бедняки, смиренно подчиняющиеся всем остальным кастам и вечно за них отдувающиеся. На этих все шишки и валятся.

Наконец, в-четвертых,— монета, которую нашли однажды, когда раскапывали греблю! Одна сторона монеты была сильно стерта: еле-еле можно было различить на ней что-то вроде лоскута от фартука, нацеп-

ленного на палку, а снизу — подобие корыта, из которого торчали изображения человеческих голов. На другой, почти гладкой стороне монеты с трудом можно было разглядеть старинные древнееврейские квадратные буквы, над которыми многие ученые ломали себе голову и делали всяческие догадки — каждый на свой лад. Одни предполагали, что начальная и последняя буквы первого слова вовсе не буквы, а следы стертого рисунка, каких-то завитушек. А без них слова этой надписи означают «Древо и ветвь», на что якобы указывает шест с тряпкой, изображенные на монете. Другие объясняли надпись совсем по-иному и тем самым взбудоражили весь мир.

Наконец нашелся человек с ясным умом, узревший во всей этой надписи не что иное, как начальные буквы слов, означающих: «Иудеи Индии, прибывшие в Глупск и осевшие на реке Пятогниловке». А корыто с головами и шест с тряпкой изображают корабль с парусами и пассажирами. Этот ученый сочинил по этому поводу очень толстую книгу, в которой обращается к людям с призывом взяться за очистку реки, ибо там, по его мнению, наверняка будут найдены памятники старины, раскрывающие истину о происхождении глупских евреев. Но жители Глупска не решаются очищать реку. То, что навалено здесь с давних времен, говорят они, должно так и оставаться, человеческому глазу не следует заглядывать в тайники прошлого...

В самом городе имеется примерно тридцать — сорок луж, считая в том числе и пастбища. Все они соединяются пещерами с недрами Пятогниловки и в определенные сроки, особенно перед пасхой, разливаются необычайно, покрывая улицы такой глубокой

жидкой грязью, что даже у рослых жителей Глупска шапки в эту пору бывают забрызганы.

В темные ночи Глупск освещается единственным небольшим фонарем. Охраняют город два будочника. Тем не менее прохожие по ночам все же частенько падают, сворачивают себе шеи, ломают хребты. А воры в Глупске тоже орудуют, несмотря на охрану. Отсюда следует, что уберечься от напасти вообще невозможно, ибо чему быть, того не миновать. И никакие человеческие ухищрения тут помочь не могут.

«А потому,— говорит Вениамин,— нужно закрыть глаза и положиться на милость божью, уповая, что он повелит своим ангелам оберегать нас и окружить заботой. И волос с головы человека не упадет без божьего соизволения! К примеру,— поясняет Вениамин,— может ли быть более сохранное место для филактерий и талеса, чем то, которое я выбрал? Я положил их в синагоге на полке. Надежнее места как будто и не сыщешь! И все же, когда бог не пожелал сберечь, их и отсюда утащили вместе с остальными нашими вещами!»





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Чудеса на Пятогниловке

Увидев впервые Пятогниловку, наши путешественники были изумлены и ошарашены: такой реки они еще никогда в жизни не видали. Сендерл был уверен, что это величайшая река в мире. Иначе он себе и представить не мог. Шутка ли, река, которая, быть может, во сто раз больше тунеядовской. Но Сендерл был человек простой; кроме Тунеядовки, он ничего не видел. Читать мудреные книги он тоже не умел, и потому все, что было непохоже на Тунеядовку, казалось ему чудом из чудес: на этом, думал он, белый свет клином сошелся. Но Вениамин, человек гораздо более просвещенный, вкусивший, так сказать, премудрости

книжной, знал по описаниям кое-что и о рае земном, и о диковинных существах, населяющих Индию, и тому подобное. Правда, и он в душе изумлялся, впервые встретив что-либо новое, однако виду не подавал, улыбался и корчил при этом мину, долженствующую означать: «Глупости! Что это в сравнении с тем, что бывает!» Он доказывал Сендерлу, что Пятогниловка — попросту болото, дрянь, извините за выражение, в сравнении с Иорданом, который во много раз больше ее. «Нашему дикому быку-великану[1] всей Пятогниловки и на один зуб не хватит! А Иордан... само название «Иордан» — говорит о его величине: масса, уйма, ну, одним словом... Иордан!»

— А знаешь, Сендерл, что мне пришло в голову? — спросил однажды Вениамин, стоявший в глубоком раздумье на берегу Пятогниловки.— Хорошо бы нам, думается мне, отправиться отсюда по воде.

— Господь с тобой! — всполошился Сендерл.— Вспомни, Вениамин: если наша речка в Тунеядовке поглощает ежегодно одного человека, то сколько же народу должна ежегодно забирать такая вот река? Пощади, Вениамин, нашу жизнь! Пожалей жену свою и ребятишек!

— Уповай, уповай, Сендерл! Надеяться на бога — наш удел! Уповая, праотец Иаков с посохом в руке перешел Иордан. Уповая на бога, евреи открывают здесь большие магазины. Все, что ты здесь видишь, зиждется на уповании. Даже лестницы и потолки, даже многие большие дома — и те держатся одной лишь надеждой на господа бога...

---

[1] Бык-великан — легендарный дикий бык. По религиозным верованиям, лишь набожный еврей удостоится чести вкусить от этого быка на «грядущем пиршестве» праведников.

— Но зачем же обязательно по воде? — спросил Сендерл.— Ведь мы можем путешествовать и по суше.

— У меня на то есть причины,— отвечал Вениамин.— Во-первых, мне кажется, что по воде и ближе и скорее. А нам нужно прибыть на место как можно скорее. Чем скорей, тем лучше. Почему? Уж это мое дело, мне виднее!.. Меня гнетет, Сендерл, мне не терпится. Одна мысль день и ночь стучит вот тут, в голове: поскорее бы очутиться там! Будь это в моих силах, я полетел бы туда, как птица, на крыльях! А во-вторых, когда Вениамин из Тудело в свое время отправлялся в путешествие, он вначале плыл по реке Эбро;[1] так буквально сказано в его книге. А уж если он в те времена отправился по реке, а не по суше, значит именно так и надо, а не иначе. Уж он-то, наверное, знал, что делает, он был умнее всех нас. Рабби Вениамин — человек, живший задолго до нас, он наш предок и, стало быть, мы должны слушаться его беспрекословно.

— В таком случае,— сказал Сендерл,— не о чем толковать. Честное слово! Если бы тот Вениамин в те времена пустился в путешествие не то что по реке, а на кочерге верхом, то и нам нечего было бы раздумывать,— сели бы на кочергу и поехали!

— А в-третьих,— продолжал Вениамин,— нам вообще не мешает привыкнуть к воде до того, как придется плыть по морю-океану. Я бы даже сказал, что, до того как мы соберемся уезжать из Глупска, нам следовало бы прокатиться по реке. Вон там, видишь, стоит лодочник. Давай-ка подойдем, подкинем ему сколько-нибудь, и он поедет с нами.

---

[1] Эбро — река в Испании.

Спустя несколько минут наши путешественники отважно влезли в лодку и поплыли по Пятогниловке. На первых порах им было страшно. У Сендерла кружилась голова, дрожали руки и ноги. Вот-вот, казалось ему, лодка опрокинется, и он свалится в бездонную пучину реки. Тут ему и конец! А жена останется навеки покинутой. Но потом полегчало.

— Ничего, Сендерл! — утешал его Вениамин, когда они вышли на берег.— Это ничего, что голова кружится и немного не по себе. Это морская болезнь, которую неизбежно переносят все впервые плывущие по морю. Вот увидишь, в следующий раз будет легче: ты ничего не почувствуешь.

С того времени наши герои часто и с большим удовольствием катались по реке. Они так расхрабрились, что переплыть море казалось им теперь пустяком.

Вениамин при помощи Сендерла пускался в разговоры с лодочником, забрасывал его вопросами:

— Спроси-ка, Сендерл, у капитана, сколько миль отсюда до моря? Спроси, есть ли здесь острова? Какие люди живут там? Есть ли среди них евреи? Кому эти евреи платят дань? И терпят ли они гнет и преследования? Еще спроси у капитана, знает ли он что-нибудь о горах Нисбон и о Койфер-ал-Турех? Не слыхал ли он чего-нибудь о десяти коленах Израилевых? Кто его знает, может, ему что-нибудь и известно!

Вениамин часто поручал Сендерлу задавать лодочнику разные подобные вопросы. Но того запаса нееврейских слов, которые Сендерл усвоил, сопровождая свою жену на базар, было явно недостаточно, чтобы толковать о столь высоких материях. Торговаться при покупке яиц, лука, картофеля он еще кое-как умел. Но беседовать с капитаном на ученые темы бы-

ло выше его сил. Жалко бывало смотреть, как Сендерл-бедняга мучается во время такого разговора: он орудовал руками, ногами, пускал в ход все, что мог, обливался потом. Капитан плевался и ворчал, сердито поглядывая на него исподлобья. Но Вениамин продолжал морочить ему голову, тормошил и смотрел прямо в рот.

— Він червоні жидки питає![1] — говорил, к примеру, Сендерл.

— З червоних жидків я знаю Лейбку, Шмульку... Богаті жидки! — отвечал капитан.

— Ні Лейбку, ні-ні! Він червоні жидки питає... тамочка... Ну как это сказать? Ні тамочка, а коло горки Нісбона...

— Нісбона? Якого Нісбона?

— Скажи ему,— кричал Вениамин,— что это — гора! Объясни ему как умеешь!

Сендерл, приподняв руки, смыкал их вверху, пытаясь изобразить гору: «Геть-геть... высоко!»

— Тьфу! — плевался лодочник, посылая своих пассажиров ко всем чертям.

О своих путешествиях по Пятогниловке Вениамин рассказывает удивительные вещи, поразившие весь мир. Приводим здесь лишь краткие выдержки из его описаний.

Однажды, катаясь на лодке, Вениамин увидел посреди реки большую зеленую полосу, пленявшую взор своей яркостью. Он подумал, что это остров, заросший травой и благоухающими кореньями. И уже было занес ногу, чтобы прыгнуть на него, но лодочник неожиданно схватил его сзади и с криком швыр-

[1] Он о красноликих евреях спрашивает.

нул обратно в лодку с такой силой, что Вениамин долгое время не мог прийти в себя. Он слыхал только, что вокруг все волнуется, шумит, точно лодка, преодолевая препятствия, с огромным трудом расчищает себе путь. Когда Вениамин очнулся, лодочник рассказал, что нашему герою грозила опасность потонуть в этой зелени. Потому что это вовсе не остров, как думал Вениамин, а плесень, которой ежегодно зацветает Пятогниловка.

«Однако,— пишет Вениамин,— я не могу поверить этому. Правда, зелень чем-то пахла, но я в жизни своей не слыхал и в книгах своих не читал, чтобы вода цвела. Ведь если бы она зацветала, она давала бы какие-то плоды! Нет, я придерживаюсь того мнения, что это — огромная морская рыба «хилейно», о которой очень интересно рассказывается в «Отображении мира»: «Эта чудовищная рыба покрывается травой и землей и становится похожей на большой остров. Мореплаватели часто принимают ее за прекрасную цветущую возвышенность; они высаживаются на нее, делают, что им нужно, раскладывают огонь, готовят себе пищу. Когда рыбе становится жарко от огня, она погружается в бездну, а те, что расположились на ней, тонут». Это еще одно неопровержимое доказательство для неукротимых спорщиков, что предки глупских жителей происходят из Индии. Плывя оттуда по Пятогниловке, они в давние времена затащили с собою «хилейно», которая водится в Индии и имеет обыкновение гнаться за кораблями».

Однажды Вениамин заглянул в реку и увидел там в глубине какие-то странные существа, очень похожие на женщин.

«Когда-то,— рассказывает Вениамин,— я читал в

книгах о том, что в воде существуют морские люди. Мне приходилось также слышать от стариков, которым вполне можно верить, что они сами видели таких морских людей на представлениях бродячих комедиантов; обычно комедианты показывали их зрителям после представления за несколько грошей. На сей раз я сподобился увидеть их собственными глазами. Крайне удивленный, я указал на эти существа лодочнику, но тот, в свою очередь, указал мне на каких-то прачек, стоявших на берегу и стиравших белье. Я ему показывал на воду, а он мне — на берег, на прачек. И так как мы друг друга не понимали, то он не знал, на что указываю я, а я не знал, на что указывает он, и, таким образом, я от него ничего толком не добился».

Неподалеку от берега, у самого города Вениамин видел на реке такое место, где вода напоминала студень, а кое-где была даже гуще. Этой гущей водовозы снабжают жителей города. А они разбавляют гущу обыкновенной водой из бочек и готовят всякие блюда.

«Я сам,— говорит Вениамин,— пробовал пищу, приготовленную на такой воде,— пробовать бы мне так левиафана[1] на том свете! Это очень вкусно! Кисло-сладкое мясо, приготовленное таким образом,— всем блюдам блюдо! Я набрал полные карманы этой гущи и наказал Сендерлу запасти ее побольше, так как в далеком путешествии по морям и пустыням она может очень пригодиться».

---

[1] Левиафан — мифологическая рыба огромных размеров. Согласно еврейским религиозным представлениям, этой рыбой кормят благочестивых в раю.

Веселые и радостные, прогуливались однажды наши герои за городом. Они шутили, смеялись, заглядывали друг другу в глаза и были чем-то очень довольны. Они напоминали влюбленных молодоженов, привольно разгуливающих на лужайке, радующихся каждому слову, каждому взгляду. Однако что привело их в такой дикий восторг, откуда такая радость, почему они прыгали, подпевали, потешались как сумасшедшие? Дело в том, что наши путешественники твердо решили обязательно завтра же покинуть Глупск и водой отправиться в добрый час туда...

Неожиданно их нагнала телега. На телеге сидели два еврея. Один погонял, а другой, склонившись набок и сдвинув шапку на затылок, сосредоточенно жевал соломинку. Ясный признак, что он что-то обмозговывал, придумывал какую-то хитрую штуку.

Приметив наших веселых путешественников, оба встречных оглядели их с головы до ног и пустились с ними в разговоры. Первым долгом, как водится, спросили: «Откуда будете?» Потом: «Ваше имя?» А затем последовал весь перечень вопросов, обычных в таких случаях. А нашим героям только того и нужно было. Выложили все как есть, как говорится: что на уме, то на языке. Евреи на телеге лукаво переглянулись, пошушукались, и тот, что держал соломинку во рту и сидел в сдвинутой на затылок шапке, шепнул другому на ухо: «Ничего, сойдет! В крайнем случае — еще несколько монет...»

— Знаете,— обратились оба еврея к Вениамину и Сендерлу,— право же, наш город тоже мог бы удостоиться чести видеть у себя таких почтенных людей! Очень просим вас, окажите нам честь, садитесь немедля и, не раздумывая долго, поезжайте с нами. Руча-

емся, что вас хорошо примут, обеспечат едой, питьем и всем, чем возможно.

— Мы бы вам, без сомнения, не отказали! — ответил Вениамин.— Но у нас твердо решено завтра же отправиться отсюда водой.

— Извините,— сказали незнакомцы,— но вы, будем откровенны, говорите глупости! Тоже мне вода — Пятогниловка! Да ведь это, простите, нужник, вонючее болото, поганая лужа, зацветшая, заплесневелая! А у нас Днепр, который впадает в море! От нас вы, с божьей помощью, быстро доберетесь до заветного места. Не упрямьтесь же, честное слово, и айда в телегу!

— Как ты думаешь, Сендерл? — спросил Вениамин.— Может быть, и в самом деле сделать им одолжение и поехать?

— А мне что? — ответил Сендерл.— Хочешь ехать,— пожалуйста, поедем!

И вскоре наши путешественники, польщенные оказанной им честью, сидели в телеге и, охваченные радужными мечтами, ехали в гости. В дороге было очень весело. Покровители не спускали с них глаз, следили за каждым их движением, угождали им едой и питьем, ухаживали за ними, как за роженицами. Подобное нашим героям и во сне не снилось.

Вечером следующего дня вся компания благополучно прибыла в Днепровицы и остановилась в заезжем доме. Покровители угостили своих подопечных хорошим ужином.

— Сегодня вы устали с дороги,— обратились они к Вениамину и Сендерлу,— лягте пораньше и отдохните. А завтра, когда вы, с божьей помощью, встанете окрепшие и посвежевшие, мы вас поведем к некото-

рым высокопоставленным лицам, замолвим за вас словечко, и вас примут радушно и обеспечат всем необходимым, так что вы сможете тут же продолжить ваше дальнее путешествие! Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! И вам того же! — ответили Вениамин и Сендерл.

И тут же прочитали молитву, погладили себя по животику, позевали, почесались, как водится, и улеглись в самом лучшем расположении духа.





ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О том, как наших путешественников водили за нос

— Ради бога! Дайте хоть помолиться перед смертью! — не своим голосом закричал во сне Сендерл и разбудил Вениамина.

Вениамин ни жив ни мертв соскочил со своей койки и, наспех ополоснув руки, подбежал к Сендерлу, посмотреть, что с ним.

На дворе уже светало. Кругом было тихо, слышалось лишь храпение спящих в доме. Каждый храпел на свой лад: кто гудел, как бандура, кто трубил трубой; один храпел отрывисто, другой протяжно, третий забирался куда-то высоко-высоко, срывался, отдуваясь, а заканчивал сердито, будто допытываясь чего-

то. Все вместе составляли своеобразный оркестр, в котором носы, стараясь изо всех сил, исполняли концерт в честь знаменитых днепровицких клопов, с аппетитом пожиравших ночлежников и упивавшихся их кровью — еврейской кровью!

Днепровицы, очевидно, долгое время пасли своих клопов, своих людоедов, в этом треклятом подворье, в обособленном еврейском заезжем доме. Казалось, сюда приползли клопы со всех кварталов города, чтобы сосать еврейскую кровь...

Еврей, собиравшийся в Днепровицы, заранее мирился с мыслью, что ему за это придется расплачиваться своей кровью, что от этой взятки никак не отделаешься: «Кусай, мол, кусай, днепровицкий клопик, воняй, клопик, выводи свои кровавые письмена и убирайся ко всем чертям!»

— Чего ты так кричишь, Сендерл? — спросил Вениамин, подойдя к нему.— Верно, клоп больно укусил? Ужас сколько здесь клопов! Они мне всю ночь глаз сомкнуть не дали. Я только недавно уснул.

— Скорей, скорей бежим отсюда! — кричал, все еще не приходя в себя, Сендерл.

— Господь с тобой, Сендерл! Что ты говоришь?.. Ну, что такого, если клоп укусил? На то он и клоп, а ты человек...

Сендерл некоторое время растерянно глядел на Вениамина, потом протер глаза и сказал со вздохом:

— Мне снился страшный сон! К добру ли это?

— Ну, мало ли что приснится иной раз! — ответил Вениамин.— Мне тоже снилось, будто подползает ко мне гремучий змей, вглядывается в меня и спрашивает: «Это вы — реб Вениамин из Тунеядовки? Пойдемте со мною, пожалуйста, вон туда; там Александр

Македонский со своим войском поджидает вас: он жаждет с вами познакомиться!» Я срываюсь с места, змей несется впереди, а я за ним. «Вы, не сглазить бы, стрелой летите, мне за вами никак не угнаться!» — кричит кто-то позади меня. Оборачиваюсь — передо мной Александр Македонский! «Государь мой!» — восклицаю я и хватаю его за руку. Жму ее, жму, но тут в нос мне ударяет нестерпимая вонь, вот-вот в обморок упаду. Просыпаюсь и чувствую — в руке раздавленный клоп... Тьфу, чтоб тебя!.. Сендерл, сплюнь три раза и забудь про сон. Что тебе снилось?

— Тьфу, тьфу, тьфу! — послушно трижды сплюнул Сендерл и стал рассказывать свой сон:

— Снилось мне, будто иду это я по улице и забрел куда-то далеко-далеко. Вдруг меня хватают сзади, бросают в мешок и несут-несут куда-то... Наконец принесли. Чувствую, кто-то развязывает мешок и закатывает мне оплеуху, да такую, что у меня сразу два зуба вылетело. «Это тебе покамест в задаток,— слышу я,— окончательный расчет будет потом!» Подымаю глаза,— передо мною жена в повойнике, страшно сердитая: глаза горят, изо рта пена брызжет. «Погоди-ка, погоди, сокровище мое! — шипит она усмехаясь.— Пойду принесу кочергу, тогда покажу тебе, сколь велик наш бог!» Только она пошла за кочергой, а я шмыг — и давай бог ноги! Бегу, бегу, прибегаю в какую-то корчму. В корчме темно, под ногами скользко, кругом ни души. Ложусь в уголке, глаза закрыл и сплю. И вот является мне во сне дедушка, реб Сендерл, царство ему небесное, грустный такой, с заплаканными глазами, и говорит: «Сендерл, дитя мое, не спи! Вставай, Сендерл, вставай! Беги отсюда, беги куда глаза глядят! Ты в опасности!» Хочу приподнять-

ся, но не могу с места двинуться, будто держат меня. Хватаюсь за голову, а на голове у меня бабий платок. Эге, оказывается, я вовсе не Сендерл, а с позволения сказать, женщина, баба. Бороды и следа нет. На мне какая-то юбка, а живот болит, прямо невмоготу! «Ничего! — говорит кто-то.— Первые роды всегда чуточку трудноваты...» — «Ой, дяденька, дяденька,— кричу я не переставая,— ведь это мне не по силам! Мне дурно!» — «Затрещина по затылку в таких случаях очень помогает! Это сразу же приводит в чувство,— говорит дяденька и тут же начинает меня колотить.— Вот тебе за прошлое, и за настоящее, и за будущее!» — приговаривает он и вдруг исчезает. Ох, горе мое! Лежу это я, лежу, наконец, с божьей помощью, приподымаюсь и вскакиваю. Подбегаю к дверям,— двери заперты. Стучу, стучу,— напрасный труд! Вдруг двери сами распахиваются. Только я ногу на порог занес, как схватили меня разбойники и поволокли в какую-то пещеру. Выхватили нож, хотят зарезать. Подносят нож к горлу, но тут я как закричу: «Хоть помолиться дайте перед смертью!» Вот и весь мой сон. К добру ли это, Вениамин?

— Сплюнь, Сендерл, еще три раза,— посоветовал Вениамин,— и выкинь из головы свой сон. А если хочешь, вставай: уже день. Почитай псалмы.

Сендерл со вздохом поднялся и пошел умываться. Затем надел свой халат, достал псалтырь в переводе на еврейский язык и, открыв псалом десятый, на котором остановился раньше, принялся читать с грустным напевом:

Зачем, о боже, в этот скорбный час
Ты милостью своей обходишь нас?

Напев стал еще печальнее и трогательней при чтении следующих стихов:

Злодей, коварные бросая взгляды,
На честный люд взирает из засады.
Он хищных глаз не сводит с бедняка,
Вот-вот беднягу сцапает рука.
За жертвою своей следит украдкой,—
У хищника звериная повадка.
Помедлил горемыка и... бросок,
И в лапах зверя лакомый кусок.

Когда Сендерл кончил читать псалтырь, было уже совсем светло. Постояльцы встали. На столе клокотал большой самовар, все пили чай. Вениамину и Сендерлу налили по стаканчику горячего. Они подкрепились и повеселели.

Помещение, еще недавно служившее спальней, а затем чайной, сразу превратилось в молельню. Постояльцы закатали рукава и, обнажив руки — закопченные, гладкие, тощие, жирные, смуглые, белые, темные, всех оттенков и видов,— надели филактерии и талесы и начали молиться.

Наши благочестивые странноприимцы молились горячо, с ужимочками, с гримасами, с кривляньем, поджимая губы, как подобает истинным страдальцам и ревнителям веры. С господом богом они вели душевный разговор, называя его «Отец родной!», «Батюшка!» Молились, делая затяжные паузы, дольше всех. Помолившись, они налили себе по рюмочке. Сперва пригубили и почмокали. На носу у них выступили ярко-красные смородинки. Затем обратились к молящимся: «Лехаим! Лехаим!» Пожелали: «Да смилуется наконец всевышний над многострадальным наро-

дом израильским!» Закатили при этом глаза и, тихо вздохнув, опрокинули наконец рюмки. Ясно было, что это люди не простые, а богобоязненные, благочестивые, спасающие душу.

Между тем один из этих благочестивых ушел куда-то в город и задержался там часа на два. Когда он вернулся, приятель заглянул ему в сиявшее довольством лицо, и оба чему-то обрадовались. Они велели накрывать на стол и, прежде чем помыть руки перед едой, тщательно осмотрели кружку, как и полагается набожным евреям; затем пригласили и наших путешественников мыть руки и перекусить вместе с ними. За столом они были очень оживлены, расхваливали хозяйку за вкусные блюда и всячески выражали ей свое расположение. Пустились в общие разговоры, стали толковать о судьбах еврейского народа, о том, что пора ему наконец по-настоящему воспрянуть. Почему, за что такой народ, такой замечательный народ обречен на муки? Стали расхваливать евреев, восторгаться и превозносить их сметливость и проницательность.

— Чего только не умеет еврей! Все, чем гордится мир — телеграф, железная дорога и прочее и прочее,— все это давным-давно было известно евреям! Но все это пустяки! Главное в другом, главное в изюминке, в еврейской изюминке,— вот в чем вся сила!

Они обрушились на фармазонов, поносили новоявленных ученых, проклинали их, а вместе с ними и богопротивные школы, в которых еврейским детям внушают вольнодумство, где сидят они с непокрытыми головами!

— Скоро настанет время, когда знаток Мишны[1] будет на вес золота, а писцу, составителю прошений будет грош цена! А то ведь до чего дожили! Хороши времена, нечего сказать!

В таком духе шла беседа. Потом завели разговор о путешествии наших героев.

— Желаем вам,— сказали они,— чтобы господь бог оказал вам свою милость и помог исполнить все, чего мы от вас ждем.

Вениамин был на седьмом небе от такого пожелания. К тому же он был, как говорится, слегка навеселе. Он разошелся и понес бог весть что.

— Знаете, реб Вениамин, реб Сендерл,— сказали гостеприимные хозяева, вставая из-за стола,— будем придерживаться наших простецких стародавних обычаев, по примеру отцов наших. Давайте после дороги в баню сходим, косточки распарим. Вы сможете там и остричься и побриться,— совсем другими людьми станете. А после бани примемся за свои дела. Право же, это будет лучше. Быть может, это не так уж по-современному и нынешним безбожникам покажется не ахти как хорошо, но мы люди не шибко ученые и будем вести себя так же, как и наши деды в старину.

Еврей никогда не отказывается от бани. Баня для еврея во сто крат привлекательнее, чем шинок для пьяницы, чем ручей для гусей и уток. Удовольствие, которое испытывает в бане еврей, вряд ли кому-нибудь другому понятно. Баня тесно соприкасается с религией еврея, с его внутренними переживаниями, с его семейной жизнью. Еврейская душа с места не дви-

---

[1] Мишна — основная часть талмуда.

нется, ее не упросишь, не умолишь сойти с небес и влезть в материнскую утробу, пока не соблазнишь ее баней. Баня — главное агентство, центральная посредническая контора между небом и землей. Еще до рождения еврея, еще до того, как в нем забьется жизнь, о нем уже знают в этой конторе все — от банщика и банщицы до мозольного оператора и парильщицы. Добавочную душу[1] в субботу и в праздник еврей не почувствует в себе, пока не вымоется в бане. Без бани он какой-то заскорузлый, несвежий. Взгляните на еврея в пятницу, когда он пришел из бани: он цветет, он помолодел на несколько лет, глаза у него искрятся, все чувства его обострены. Запах фаршированной рыбы и тушеной моркови благовонным фимиамом бьет в нос. Он нюхает, шмыгает и испытывает блаженство. Душа ликует, заливается соловьем, поет «Песнь песней», распаляется, и человек, преображенный, уносится в какой-то иной мир.

В баню еврей приходит, как на родину, как в свободную страну, где все равноправны, где он наравне со всеми свободно может достигнуть высшей ступени — забраться на верхний полок и взбодрить свою горемычную душу, хоть на часок расправить кости и скинуть с плеч обузу своих невзгод и тягот. Вот что значит баня для еврея!

Понятно поэтому, что предложение сходить в баню пришлось нашим путешественникам как нельзя больше по душе. Спустя несколько минут они без дальних сборов уже шли вместе со своими благонравными покровителями.

---

[1] По религиозным представлениям, верующие евреи получают на субботу и праздники вторую, добавочную душу.

Вениамин и Сендерл представляли себе баню такой, какой она обычно бывает в еврейских местечках: нелепым строением, мрачным, замызганным, где-нибудь на окраине, в овраге, так что добраться до нее можно только с трудом по узеньким трухлявым мосткам. Когда же наших путешественников привели к красивому трехэтажному зданию в центре города и сказали: «Вот она, баня»,— они широко раскрыли глаза от изумления.

— Эх, вы! — посмеивались над ними их благодетели.— Вот войдем туда внутрь, там вы увидите кое-что получше.

В передней наших героев поразил крашеный пол, устланный дорожками. Им казалось, что они попали в волшебный замок из «Бовы-королевича» и «Тысячи и одной ночи». Вот сейчас их встретят принцессы, царевны, и заживут они, наши герои, в свое удовольствие! Однако вместо принцессы к ним подошел солдат с нашивками и честь честью предложил им раздеться.

— Раздевайтесь, пожалуйста! — обратились к ним благочестивые покровители.— А мы тем временем пойдем уплатим за баню. Будьте спокойны, вы здесь получите хорошую парную баньку!

Раздевшись, Вениамин и Сендерл прихватили с собою свою одежду, которую намеревались, как водится, пожарить в тепле. Дюжиной смен белья в своем гардеробе они не располагали. По нескольку недель кряду носили одну сорочку. Понятно, что их, бедных, покусывало, и прожарить белье было прямо-таки необходимо. Но солдат отобрал у них вещи и повел в комнату, уставленную скамьями. За большим столом

на стульях сидели хорошо одетые господа. Вениамин и Сендерл озирались по сторонам, не понимая, где тут подают пар и где им придется потеть.

— Чи тут жидовский баня? — спросил Сендерл, когда Вениамин толкнул его в бок и велел немедленно узнать, где они находятся.

Один из сидевших за столом господ приблизился к нашим голым путешественникам и осмотрел их с головы до ног. Они стояли вытянувшись, тощие, изможденные — кожа да кости. Господин заговорил с ними по-русски.

— Сендерл, что он там такое говорит? — спросил Вениамин.

— Ни слова не понимаю! — ответил Сендерл, пожимая плечами.— Ну и язык! Что-то все твердит: билет, билет...

— Ах, глупенький! — сказал Вениамин.— Что же тут непонятного? Это банщик, он требует билет. В такую баню пускают только по билетам. Скажи ему, что те евреи уже заплатили за нас.

— Як же, пане, тые вже дали туточка за... за...— начал было Сендерл и вдруг запнулся, точно подавился, и никак не мог договорить того, что хотел сказать.

— За билет, пане... Як же... пане, заплатил! — пришел на помощь Вениамин и разъяснил по-своему, коротко и ясно, в чем дело.

Господин, который подошел к нашим путешественникам, махнул рукой, и их тотчас же ввели в другую комнату, в которой, как они предполагали, им надлежит хорошенько попотеть.

Когда спустя некоторое время Вениамина и Сендерла вывели на улицу, их трудно было узнать, до то-

го они изменились: бритые, без бороды и пейсов, с застывшими, точно стеклянными глазами. На лбу у них выступили крупные капли холодного пота, лица помрачнели. Понурив головы, сгорбившись, дрожа всем телом, шли наши странники, сопровождаемые солдатами.

Небо заволокла черная туча. Молния на мгновение осветила шагавших. Гром грянул так сильно, что все вздрогнули. Налетел вихрь, пыль закружилась в воздухе, подхватывая мусор, солому, листья, клочки бумаги. Все завертелось в безумной пляске, взмывая все выше и выше. Испуганное стадо с ревом и мычаньем ринулось с пастбища, точно за ним гналась стая голодных волков. Ураган неистовствовал, сверкала молния, гремел гром,— казалось, всевышний разгневался на грешную землю со всем, что на ней творится, и, схватившись за голову, сверкал горящими очами, грохотал громовым голосом. Раздался последний раскат грома, и с неба, как слезы, упали первые крупные капли дождя, смешавшиеся с каплями пота и кровавыми слезами на лицах наших бедных, злосчастных путешественников...

Увы, Вениамин и Сендерл и не догадывались, что не только в пустыне опасно путешествовать из-за диких чудовищ, гремучих змей и хищных зверей, которые там водятся. Они не знали, что именно здесь, в наших краях, их подстерегает величайшая опасность!

Вениамин и Сендерл предприняли свое путешествие в то тяжелое, мрачное время, когда еврей ухищрялся поймать своего же собрата, чтобы сдать его в солдаты, спасая от рекрутского набора своих или чужих детей.

Как хищный зверь, следит он за добычей,
Ему «беспаспортной» хватает дичи.

Увы, бедные наши путешественники и не подозревали, что они уже находятся в пустыне, среди дикарей и хищников, и что те два набожных и благочестивых еврея и есть гремучие змеи!





ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Наших горе-путешественников забрили в солдаты

Нетрудно представить себе горькую участь, постигшую наших злополучных путешественников. Нет надобности ее подробно описывать.

На первых порах они до того растерялись, что даже понять не могли, что, собственно, с ними творится. Все было им чуждо: и сборный пункт, и солдаты, и незнакомый язык, и все, что им приказывали делать. Шинель висела на них мешком и выглядела как бабья юбка, фуражка сидела на голове, как повойник. Глядя на них, казалось, что все это сплошное притворство: два еврея нарядились и издеваются над солда-

тами, передразнивают их, открыто показывая, как глупы они со всеми своими штуками. Горе было винтовке, попавшей в руки наших героев! У них она была похожа скорее на кочергу, которой мужчина неумело орудует у печи. А на учении они выделывали ногами и руками такие выкрутасы,— чистая комедия, да и только!

В побоях наши рекруты, разумеется, недостатка не испытывали. Но, как говорится, нет на свете такой беды, с которой бы человек не свыкся. И не только человек,— свыкаются и другие существа. Уж на что птица любит волю! И все же,— поймают ее, посадят в клетку, она и привыкает помаленьку: она уже и зерна клюет с аппетитом, и прыгает, и распевает веселые песенки, точно весь вольный мир с его полями и лесами заключен в этой тесной клетке.

Сендерл стал постепенно свыкаться со своим положением; он начал внимательно приглядываться к солдатской муштре и пытался проделывать все эти штуки на свой лад. Любо было смотреть, как он частенько один на один повторяет солдатскую науку: вытягивается в струнку, задирает голову, пыжится, как богатырь, и марширует, марширует, вертится и крутится, как надутый индюк, до тех пор пока не собьется с ноги и не свалится.

А Вениамин — наоборот: он никак не мог привыкнуть ко всему этому. Он принадлежал к той породе птиц, которых называют перелетными. Ежегодно к концу лета они улетают в дальние теплые края и зимуют там. Страсть к перелетам у этих птиц настолько сильна, что в клетке им в ту пору и жизнь не мила: они не едят, не пьют, на стенку лезут, тщетно пытаясь вырваться на волю. Мечта о путешествии в даль-

ние края, овладевшая душой Вениамина и ставшая его второй натурой, мечта, ради которой он покинул жену и детей, ни на минуту не давала покоя, сверлила, клевала мозг, негодовала и приказывала: «Иди, Вениамин, дальше, двигайся дальше, дальше!»

Так в муках и тоске прошла для Вениамина зима.

Однажды в прекрасный послепасхальный день, когда Сендерл сам себя муштровал, к нему подошел Вениамин и завел такой разговор:

— Честное слово, Сендерл, ты еще совсем мальчишка! Шалишь, вытворяешь какие-то штуки, точно сорванец! Скажи на милость, какой из этого толк? Не забудь, что ты, слава богу, человек женатый и как-никак еврей к тому же. Зачем же ты занимаешься такими глупостями? Да еще всю душу в них вкладываешь! Какая, скажи пожалуйста, разница, с левой или с правой ноги делать «кругом», как они это называют? Не все ли равно?

— А я знаю? — ответил Сендерл.— Велят — «кругом»,— пусть будет «кругом». Мне-то что!

— Скажи-ка мне, о нашем путешествии ты уже забыл? Как же это так, боже мой! Забыл о нашем путешествии, о путешествии туда, в те края... Дракон!.. Мул!.. Гремучий змей!..— горячился Вениамин.

— Шагом м-марш! — твердил Сендерл и поднимал ноги.

— Горе тебе, Сендерл, горе твоему маршу! Постыдился бы, право! Скажи-ка лучше, дурень этакий, будем мы с тобой путешествовать?

— По мне,— пожалуйста! — ответил Сендерл.— Только бы нас отпустили.

— К чему мы им и на что мы им нужны? — сказал Вениамин.— Нет, в самом деле, скажи-ка, Сендерл, по

совести, если бы, упаси бог, пришел враг, смогут ли такие, как мы, выйти ему навстречу? А если ты тысячу раз подряд скажешь ему: «Уходи отсюда, не то сделаю «пу-пу-пу!»,— послушает он тебя, что ли? Наоборот, он как схватит тебя,— счастлив будешь, если живым вырвешься из его рук!.. Поверь мне, я ведь вижу, что мы здесь совершенно лишние, они охотно избавились бы от нас. Я сам слыхал, как старший говорил, что мы для него только обуза и что, будь это в его власти, он давно спровадил бы нас ко всем чертям. Да и в самом деле, что им толку от нас? Уверяю тебя, Сендерл,— это с самого начала было нелепой затеей: мы им ни к чему и они нам ни к чему! Те двое, что привели нас сюда, наверное, наговорили им, что мы невесть какие храбрецы и знатоки военной науки. Но разве мы виноваты, что те их обманули? Они и нас подло обманули! Ведь мы приехали сюда лишь затем, чтобы собрать немного денег на дорогу и двинуться дальше. О военных делах у нас никакого разговора не было! Готов поклясться всем святым, что об этом даже не упоминалось. А так просто хватать людей — разве это справедливо? Словом, наши начальники не виноваты, что нас обманули, а мы не виноваты, что их обманули. Виноваты только те лгуны и жулики, которые одурачили обе стороны. Они, только они, Сендерл, виноваты во всем, и никого другого тут винить нельзя! Они, только они!

— Ну, ладно! — прервал его Сендерл.— Что же нам, по-твоему, делать?

— Я хочу,— ответил Вениамин,— чтоб мы продолжали наше путешествие. Что же поделаешь, как говорится, сватовство не состоялось,— снова в девках! Мне кажется, никто нам не запретит... Ни по закону,

ни по справедливости нас не могут задержать. Но если ты боишься, что нас все-таки не отпустят, есть и другое простое средство: можно уйти тайком. Кто об этом узнает? Прощаться «за ручку» мы ни с кем не обязаны.

— Я тоже полагаю, что прощаться «за ручку» — это лишнее,— согласился Сендерл.— Ведь когда мы в прошлом году покинули семью, мы никому, даже жене и детям, ни слова не сказали на прощание.

После этого разговора наши герои снова начали думать о своем путешествии и беспрестанно советовались, как бы удрать. Вениамин ходил сам не свой, места себе не находил, метался, словно курица весенней порой, которой не терпится высиживать цыплят. Он был так углублен в свои мысли, что ничего не видел и не слышал вокруг. Бывало, пройдет мимо старшой, а он по рассеянности и не козырнет. Отпустят ему затрещину или дадут по затылку, а он и не поморщится, будто его не касается. Ему толкуют что-то по части военной муштры, а у него хоть бы слово застряло в голове. Он и не слушал. Одно только занимало его — путешествие. Эта мечта уносила его далеко-далеко.

Однажды поздно ночью, когда солдаты в казарме крепко спали, Вениамин на цыпочках подошел к койке Сендерла.

— Сендерл, ты готов? — прошептал Вениамин.

Сендерл кивнул, ухватил Вениамина за полу, и оба потихоньку вышли во двор.

Дул теплый ветерок. Клочья черных и багрово-синих туч носились по небу длинной вереницей, будто тысячи чумаков спешили за своими подводами, груженными товаром, торопясь поспеть на ярмарку.

Луна, точно приказчик, сопровождала этот чудовищно длинный караван; время от времени она высовывала голову — посмотреть, что творится вокруг, а затем снова надолго пряталась за черный как смоль облачный полог.

В темноте наши беглецы тихонько двинулись по двору, подошли к забору, взобрались на штабель дров, а оттуда уже нетрудно было вскарабкаться и на забор. Но тут Сендерл спохватился и шепнул на ухо своему другу:

— Знаешь, Вениамин, я ведь торбу забыл! Может, вернуться за ней?

— Ни в коем случае! — заволновался Вениамин.— Возвращаться нельзя,— это дурная примета! Захочет господь помочь человеку — он ему и торбу пошлет!

— Мне вспоминается теперь,— заговорил Сендерл,— как дедушка мой, реб Сендерл, царство ему небесное, наставлял меня во сне: «Вставай, Сендерл! — говорил он.— Беги отсюда, беги куда глаза глядят!» Воздал бы нам бог за благочестие дедушки! Вот был по-настоящему благочестивый человек, без всяких фокусов... Бабушка, царство ей небесное, бывало рассказывает...

Не успел, однако, Сендерл, поведать о том, что бабушка рассказывала о дедушке, как раздался окрик солдата, стоявшего в сторонке на часах.

Наши герои прижались к забору; затаив дыхание, они лежали без движения, словно два вороха тряпья. Немного погодя, когда кругом все стихло, обе кучи тряпья обнаружили признаки жизни и осторожно перебрались через забор. На четвереньках ползли они теперь все дальше и дальше, пока наконец не миновали пост караульного и не выбрались в переулок.

Здесь Вениамин и Сендерл встали на ноги и, облегченно вздохнув, весело обменялись горящими взглядами.

— Бабушка, царство ей небесное, бывало рассказывает,— снова начал Сендерл,— что дедушка всю жизнь мечтал побывать в святой стране обетованной. Перед смертью он сел и сказал: «Не судил мне господь побывать там, но верю, что кто-нибудь из детей моих все же увидит землю обетованную». Чует мое сердце, что он имел в виду меня. Из моих бы уст да в божьи уши!

Но слова из уст Сендерла дошли не до бога; их услышали совсем не те уши. Не успел Сендерл выразить свое пожелание, как вдруг раздался окрик: «Кто идет?» Часовой, не получив ответа, быстро подбежал к ним и снова спросил:

— Кто здесь?

Тут, к несчастью, луна выглянула из-за туч и осветила наших смертельно бледных, онемевших беглецов. Перед ними стоял часовой и, угрожающе размахивая руками, осыпал их матерной бранью.

Спустя несколько минут арестованные Вениамин и Сендерл очутились на гауптвахте.

Нет слов для описания мук, которые испытывали в заточении наши путешественники. Они, бедные, осунулись, потеряли человеческий облик. Сендерл, правда, и здесь умудрялся спать, и сон избавлял его, по крайней мере на несколько часов, от страданий. Иной раз ему снилось что-нибудь приятное. Дедушка, реб Сендерл, стал его частенько навещать во сне, шутил, играл с ним. Он никогда не приходил с пустыми руками: то рогатку принесет, то шашку, то трещотку... Ущипнет внука за щечку и говорит: «На тебе, шалун,

игрушку! Играй, сорванец, забавляйся! Делай пиф-паф!» А однажды дед явился с юлой и стал играть с любимцем внуком. Сендерл вертел-вертел юлу и выиграл у деда грошик... Хороший сон — и тот на радость человеку. А разве вся жизнь — не сон? Но Вениамин был и этого лишен. Он не мог спать,— до того был взволнован и возмущен. Он видел сквозь окно, как ярко на дворе светит солнце, как пробивается и растет зеленая травка, как чудесно расцветают деревья, как люди ходят, бегают, суетятся, как птицы вольно летают в небе... Сейчас самая пора странствовать, а он сидит взаперти и не может продолжать своего путешествия... Он даже подпрыгивал от досады, хватался за голову, метался, как в клетке, и кричал: «Боже мой! Что я им такого сделал? Господи, чего они от меня хотят?!»





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сваговство не состоялось

Спустя несколько дней после того, что произошло с нашими героями, в воинской канцелярии сидело много офицеров в полной форме; среди них были и генерал и полковник. А в стороне стояли два солдата с понурыми головами и выглядели как мыши, вытащенные из кринки с простоквашей. Офицеры смотрели на этих солдат, оглядывали их с головы до ног, потом о чем-то говорили между собой и слегка улыбались.

— Знаешь, Сендерл! — тихо проговорил один из солдат в то время, как офицеры беседовали между собой.— Если бы я даже знал, что тут мне и конец, я должен сказать им всю правду! Я очень сердит!

— По мне, Вениамин, ты можешь сказать им всю правду! — ответил второй солдат.— Если тебе так хочется, пусть будет по-твоему. Мне-то что!

— Это вы поздно ночью удрали из казармы? — строго спросил генерал.— Вы знаете, что вам полагается за такую провинность?

— О-ва! О-ва! — воскликнул в отчаянии Вениамин и наполовину по-еврейски, наполовину по-русски заговорил так, что Хайкл Заика, знаменитый тунеядовский златоуст, мог бы в землю зарыться со своим красноречием.

Генерал отвернулся, рассмеялся и махнул рукой, а вместо него заговорил полковник:

— Вы тяжело провинились, вас следует серьезно наказать!

— Ваше благородие! — воскликнул Вениамин.— Хватать людей средь бела дня и продавать их, как кур на базаре,— это можно, а если они, бедные, захотели спастись, то это называют провинностью? Коли так, то ведь на свете ничего святого нет, и я тогда вообще не понимаю, что можно и чего нельзя! Давайте спросим у людей, пусть они скажут, кто виноват. А что бы, к примеру, было, если бы вас схватили где-нибудь в дороге и силой сунули в мешок, разве были бы вы виноваты, если бы старались изо всех сил вырваться из мешка? Я говорю вам, я утверждаю, что все это произошло не по доброй воле, а по принуждению, что это обман: виноваты во всем только те двое...

Они невесть чего наговорили! Мы заявляем вам,— говори, Сендерл, говори! Чего ты стоишь как истукан?! Не бойся! Бог не без милости! Говори вместе со мной: Мы вам заявляем, что в военном деле мы ничего не понимали, не понимаем и понимать не хотим! Мы, слава богу, люди женатые, нам приходится думать совсем о других вещах, и такими делами мы заниматься не можем. Они нам и в голову не лезут. На что же мы вам сдались? Мне кажется, вы и сами должны хотеть от нас избавиться!

Вениамин был, конечно, совершенно прав. Начальство уже давно намеревалось избавиться от таких солдат. Когда они как следует пригляделись к нашим героям, к их поведению, манерам, увидели, как они маршируют, прислушались к их разговорам, они поняли, с кем имеют дело, и не однажды командиры покатывались со смеху, любуясь на своих питомцев. Сейчас присутствие собиралось лишь проверить их, попытаться узнать, что же это за люди. Вениамин и Сендерл выдержали это испытание с честью, даже лучше, чем можно было ожидать. Офицеры были очень довольны; они от души посмеялись.

— Ну, доктор? — обратился генерал к одному из военных, проявлявшему большой интерес к Вениамину и Сендерлу и вступившему с ними в продолжительную беседу.

Доктор приложил палец ко лбу и покачал головой, точно желая сказать: «У них не все дома!»

Кончилось тем, что офицеры, посоветовавшись и записав что-то, распорядились отпустить наших героев на волю.

— Идите! — сказали им.— Идите подобру-поздорову!

Вениамин, почтительно поклонившись, направился к выходу. Сендерл, по-военному отбивая такт, следовал за ним.

1876—1878





РОМАН

Моему любимому, дорогому другу
МЕНАШЕ МАРГОЛИСУ[1]
приносит эту книгу в дар
от всего сердца
Автор.

Дорогой друг!

Печален мой напев в хоре еврейской литературы. В моих сочинениях дан образ еврея со всеми его характерными чертами; если он иной раз и поет что-нибудь веселое,— издали кажется, что он плачет, заливается слезами. В его песнопениях слышатся траурные ноты. Смеется, а на глазах у него слезы. Хочет повеселиться, а из груди у него вырывается тяжкий вздох, и всегда только и слышишь: «Ох, горе-горькое!»

Я очень далек от спесивого самомнения, от мысли, что я, мол, соловей в нашей литературе. Но в одном отношении я все же очень похож на него. Этот меланхолический певец поет свои песни и заливается на грустный лад как раз в весеннюю пору, когда весь мир словно вновь рождается, когда все цветет, бла-

---

[1] Марголис Менаше (1837—1912) — автор нескольких очерков о талмудическом праве и законоучителях талмуда.

гоухает, сияет и светится, и у каждого радостно на душе.

Оба мы, дорогой друг, начали нашу работу в еврейской литературе как раз в весеннюю пору жизни евреев в нашей стране[1]. От шестидесятого года нашего века[2] для евреев начинается новая жизнь — жизнь, полная добрых надежд на будущее. Оба мы в то время были еще очень молоды и горячо взялись за перо, работая с увлечением каждый на свой лад. Ваши произведения пользовались большим успехом у народа. Люди восхищались, читая ваши замечательные книги и статьи по многим важным вопросам еврейской жизни, слушая ваши прекрасные речи в защиту народа и дружеские поучения, призывающие познать самих себя, познать жизнь, не ронять своего достоинства и держать себя наравне со всеми. Из уст ваших сыпался жемчуг, сверкающий, переливчатый, навсегда оставшийся украшением еврейской литературы.

И я, со своей стороны, в ту радостную весеннюю пору подтягивал, писал, играл на свой лад. В моей игре одна струна обычно звучала грустно и отчасти наводила на слушателей меланхолию. Одни слушали меня охотно, с болью в душе, другие морщились и поеживались, были недовольны тем, что я задеваю их за живое и напоминаю о невеселых вещах. Но как бы то ни было, я играл и делал свое дело.

Та прекрасная пора миновала. Горе отшибло у меня охоту к писанию. Я надолго лишился дара речи.

---

[1] Менделе Мойхер-Сфорим имеет в виду намечавшееся в 60-х годах прошлого века смягчение системы репрессий против евреев, достигшей при Николае I крайних пределов.

[2] То есть XIX столетия.

И если я сейчас снова взялся за свое высохшее перо и снова заговорил, то это благодаря вам, только вам, чье общество придало мне новые силы. Ваши умные речи, ваша постоянная работа на пользу нашего народа приободрили меня и внушили желание тоже приняться за работу. От священного огня, постоянно пылающего в вашем сердце, и в мое сердце залетела искра; оно воспламенилось и горит сейчас, как никогда в годы юности.

Да, оба мы начинали свою работу в литературе в одно и то же время, но участь наша не одинакова: вы забрались высоко, вы имеете дело с бриллиантами и алмазами еврейской истории, вы демонстрируете прекраснейшие драгоценности прошлого нашего народа, лучшее и самое дорогое в его жизни. Вы имели дело с Гилелем, рабби Меером, рабби Акибой [1] и другими корифеями, достойными представителями людей высшей категории. Мне же было суждено спуститься на нижнюю ступень еврейской жизни, в подвалы. Мое достояние — тряпье, гниль. Я постоянно вожусь с нищими, с бедняками, с обездоленными, а также с никудышными людишками, с комедиантами и тому подобными существами, ничтожными и низкими. Мне снятся только попрошайки. Перед моими глазами вечно носится сума, исконная огромная еврейская сума... Куда бы я ни повернулся, всюду мне мерещится сума; о чем бы я ни вздумал рассказать, мне приходит на ум сума!

Везде и всюду — сума, еврейская сума!

Да, дорогой друг, благодаря вам во мне снова вспыхнуло желание писать, и вот перед вами — грехи

---

[1] Законодатели талмуда.

наши тяжкие! — снова сума: Фишка Хромой, с которым я выступаю после столь долгого молчания. Я сознаю, что мой Фишка Хромой — не такой уж ценный дар, которым я мог бы отблагодарить вас за вашу дружбу. Но, зная ваше доброе сердце и расположение к людям, я надеюсь, что вы моего бедного Фишку примете приветливо. Возможно, что вы даже пригласите его к себе в гостиную, познакомите с вашими домочадцами и гостями. Фишка расположится у вас со своей сумой, будет вам рассказывать истории и доставит вам удовольствие.

При мысли об этом улыбается от радости и благодарит вас от всего сердца

автор.



I

Едва пригреет солнце и в стране нашей настанет лето красное, когда люди как бы рождаются вновь, а сердца их ликуют при взгляде на прекрасный божий мир,— как у евреев начинается самая унылая пора, пора скорби и слез. Вереницей тянутся печальные дни постов, самоистязания, стенаний и плача — от самой пасхи и вплоть до осенней слякоти и промозглых осенних холодов. И для меня, Менделе-книгоноши, наступает тогда самая страдная пора: я тружусь, день за днем разъезжаю по городам и весям и снабжаю сынов Израиля всем необходимым для плача: скорбными песнопениями, покаянными молитвами, специаль-

ными молитвами для женщин, всякого рода причитаниями, молитвенниками на будние и праздничные дни. Словом, евреи все лето рыдают, слезами заливаются, а я тем временем дела делаю... Но не в этом суть.

Разъезжая таким образом, я однажды ранним утром, в день Семнадцатого Тамуза[1], сидел на облучке своего фургона. На мне, как и полагается, был талес, филактерии, а в руках — кнут. Глаза мои были закрыты, чтобы не отвлекаться во время молитвы созерцанием божьего мира. Но словно назло, она, эта так называемая природа, была удивительно хороша, и меня как зачарованного тянуло полюбоваться ею. Я долго боролся с собой. Дух добра твердил мне: «Фу! Не полагается!..» Но лукавый, приоткрывая мне один глаз, не переставал подстрекать: «Глупости! Наслаждайся, чудак этакий!»

Перед моим взором открывалась изумительная панорама: поля, расцвеченные белоснежной гречихой в цвету, перемежались золотисто-желтыми шелковыми полосами пшеницы и высокими матово-зелеными стеблями кукурузы; в прекрасной зеленой долине, заросшей по обеим сторонам орешником, струился хрустально чистый ручей, и солнечные лучи, окунаясь в нем, вспыхивали сверкающими золотыми блестками. Стада овец и коров на пастбище казались издали то темными, то красными, то пестрыми пятнами... «Фу, фу!» — укорял меня дух добра, напоминая талмудическое назидание: «Если еврей, находясь в пути, прерывает изучение священного писания и произносит: «Как красиво это дерево, как прекрасно это поле!» —

---

[1] День поста (обычно в июле) — в память осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором.

он уподобляется самоубийце». Но в тот же миг лукавый обдает меня опьяняющим благоуханием стогов свежего сена, пряностей и кореньев; он заливается дивными, за душу хватающими, трелями птиц, ласкает мое лицо теплым ветерком, нежно шевелит волосы и шепчет на ухо: «Любуйся, наслаждайся, пользуйся жизнью, глупец этакий!»

Я бормочу что-то невнятное, сам не слыша, что именно. Все мысли, все чувства мои взбудоражены, так и подмывает выругаться: «Дохлые вы существа!.. Нет в вас ни капельки жизни!.. Затхлые души, застывшие, черствые... Высохшие прутья!..»

Раскачиваясь в притворном усердии, я пытаюсь отогнать от себя эти мысли, а в это время слышу произносимые мною помимо воли известные слова молитвы: «...возвращающий души мертвым телам...»

— Что такое? Это насчет кого? — спохватываюсь я, устыдившись своих непристойных мыслей. И дабы загладить свою вину перед всевышним, я пытаюсь сделать вид, что слова мои относятся вовсе не к людям, а к моей лошаденке... Стегнув ее легонько, я произношу: «Ну, ты, дохлятина!..»

Недурная увертка! Но на сей раз это не подействовало: меня больше всего огорчало то, что подобные мысли пришли мне в голову именно сегодня, когда нужно плакать, рыдать от великого горя, постигшего сынов Израиля: полчища Навуходоносора, царя вавилонского, вторглись в Иерусалим и превратили город в развалины. Я корчу жалостливую гримасу и плаксивым голосом принимаюсь читать приуроченные к нынешнему дню покаянные молитвы. Голос мой становится все громче и печальнее, особенно когда я произношу горькие слова:

— «И гремучий змей, коварный злодей с полуночных морей, словно бурной волной, занес меня в край чужой, а разбойник лихой властной рукой хватает со зла и козу и козла...»

Стоит еврею излить душу в песнопении или вдоволь наговориться, читая покаянные молитвы, как ему кажется, что он выполнил все, что от него требуется, и он, как только что наказанный ребенок, поплакав, снова чувствует себя вполне довольным. Я сижу, облокотившись на облучке, поглаживаю бородку. Настроение у меня хорошее. «Я сделал все, что полагается. Долгов за мной нет. Теперь, господи, твоя очередь. Прояви, отец, милосердие твое!»

— Ступай, ступай, милая! — обращаюсь я к лошаденке ласково, извиняясь в душе перед ней за прозвище «дохлятина». Моя кляча опускается на колени, бьет мне челом и стонет, словно хочет сказать: «Господин мой! А как же насчет еды?» — «Умница, честное слово!» — говорю я, подавая ей знак, что можно встать с колен. Недаром в молитве сказано: «У тебя, Сион, всякая скотина умом одарена...» Но не в этом суть.

Это изречение снова наводит меня на мысли о народе. Я погружаюсь в размышления о его мудрости, о его нравах, о его заправилах и злосчастном его положении. Голова у меня мотается из стороны в сторону. Мне мерещится гремучий змей, Навуходоносор с его полчищами, ужасная война, бои, драки. Полчища рушат стены, вышибают двери, стекла. Волоча за собою старую рухлядь, какие-то узлы, евреи бегут и голосят... Хватаю палку, кидаюсь вперед и... грохаюсь наземь, растянувшись во весь свой рост.

Очевидно, во время молитвы, не во грех мне будь

зачтено, я малость вздремнул. Гляжу — мой фургон попал в лужу,— на извозчичьем языке она называется «чернильницей». Заднее колесо зацепилось за ось какого-то другого фургона. Моя несчастная лошаденка стоит, переступив одной ногой через оглоблю: она запуталась в вожжах и сопит, как гусь. Из-за фургона доносятся ругань и проклятия на еврейском языке, часто прерываемые хриплым кашлем. «Еврей,— думаю я,— ну, это не так страшно!» И сам тоже уже разгневанный, направляюсь к нему.

Под фургоном, запутавшись в упряжи, лежит какой-то еврей, облаченный в талес и филактерии,— не разберешь, где у него кнут, где ремни от филактерий. Он барахтается и изо всех сил старается выкарабкаться. «Как это так?!» — кричу я. А он в ответ: «Что это значит?» Я вымещаю на нем всю свою злобу. Он тоже в долгу не остается. Друг на друга мы не глядим. Я кричу: «Что это за манера спать во время молитвы?» А он мне: «Как это еврей позволяет себе дрыхнуть?!» Я чертыхаюсь, а он и того пуще. Я хлещу его лошаденку, а он, еле выпутавшись, подбегает и начинает стегать мою конягу. Обе они встают на дыбы, а мы, разъяренные, готовы уже, как петухи, кинуться и вцепиться друг другу в пейсы. С секунду мы стоим, молча пожирая один другого глазами. Замечательное, надо полагать, было зрелище: два еврея-«богатыря», облаченные в талесы и филактерии, стоят нахохлившись, готовые помериться силами и подраться в чистом поле, точно в синагоге, не будь рядом помянута!.. Стоило полюбоваться на эту картинку. Мы стоим, смотрим, и кажется — вот-вот раздадутся звонкие оплеухи, как вдруг мы отскакиваем друг от друга и оба, изумленные, восклицаем в один голос:

— Ой, реб Алтер!..

— Ой-ой, реб Менделе!..

Алтер Якнегоз — человек коренастый, упитанный, с брюшком. Лицо у него заросло грязновато-рыжими волосами, которых с лихвой хватило бы на пейсы, бороды и усы не только для него, но и еще для нескольких человек. Среди моря волос островом выступает широкий, мясистый нос, бóльшую часть года безнадежно заложенный и совершенно не используемый по назначению. Лишь изредка, перед пасхой, когда все кругом тает, реки вскрываются, а хозяин налегает на него всей пятерней, нос Якнегоза трубит трубой на всю Тунеядовку и заводит концерт заодно с индюками. Изумленные жители местечка наперебой предлагают Алтеру понюшку табаку, со всех сторон сыплются пожелания: «На здоровье!», «Будьте здоровы!»

Вообще в эту пору в еврейских местечках носы начинают проявлять усиленную деятельность: на них, должно быть, влияет *благовонье*, наполняющее воздух... Таков обычай, установившийся еще исстари, точно так же, как спокон веков козы плодятся в начале марта... Но не в этом суть.

Алтер Якнегоз — тунеядовский книгоноша, мой давнишний приятель. Человек он замкнутый, не чересчур умен, не слишком красноречив, вечно нахмурен, точно сердится на весь мир. Однако по натуре своей он человек неплохой.

После обоюдного радушного приветствия мы принялись выпытывать друг у друга, или, как у нас говорят, «прощупывать, что у ближнего на возу лежит», разнюхивать, что на свете слыхать.

— Куда изволите путь держать? — спросил я у Алтера.

— Куда мне путь держать? Так...— ответил он, в свою очередь, вопросом — по еврейскому обыкновению не отвечать прямо, а говорить полусловами, намеками: — Еду! Несет нелегкая... С головой в пропасть... А вы, реб Менделе, куда направляетесь? — попытался он «прощупать» меня.

— Туда!.. Куда обычно езжу в эту пору.

— Догадываюсь. Туда, значит, в Глупск, куда и я сейчас еду! — сказал Алтер и скорчил гримасу, точно опасаясь, как бы это не повредило, не дай бог, его делам.— Но почему же, реб Менделе, вы на этот раз едете как-то стороной, проселками, а не прямой дорогой?

— Да так уж на сей раз вышло! Кстати, давно по этой дороге не ездил. А вы, реб Алтер, как очутились здесь? — поинтересовался я.— Откуда изволите ехать?

— Откуда? Черт его знает!.. С хваленой ярмарки. Вот вам и Ярмолинцы! Чтоб им провалиться!

Пока мой Алтер проклинал Ярмолинцы с их ярмаркой, на дороге показалось несколько крестьянских возов. Еще издали крестьяне подняли крик, почему загорожена дорога? А подъехав поближе и увидев меня и Алтера облаченными в талесы, с огромными филактериями на лбу и длинными, широкими ремнями, болтающимися на шее, они грубовато, с насмешкой закричали:

— Бачите, які фанаберії цяці... Егей, трясця вашій матері, дайте дорогу! Ей, швидче, жидки, лапсердаки!

Мы с Алтером тотчас же с жаром взялись за наши фургоны. Несколько крестьян, надо правду сказать, хоть они и не евреи, великодушно стали нам помогать.

От их толчка мой фургон сразу выскочил из «чернильницы». Не будь их, мы бог весть сколько времени провозились бы тут, да еще вдобавок могли позорно порвать свои талесы. А с мужичками дело сразу пошло на лад: они толкали по-настоящему, крепкие руки дали себя почувствовать; мы же, не в пример им, больше кряхтели, чем на самом деле толкали... Но не в этом суть.

Как только путь освободился, мужики уехали своей дорогой, не переставая, однако, все время оборачиваться в нашу сторону и издеваться над тем, как мы в длинном «поповском» одеянии возимся с лошадьми и возносим молитвы богу с кнутом в руке... Кое-кто из них, свертывая кончик полы «свиным ухом», кричал: «Жид, халамей!» Но Алтера это не очень задевало.

— Тоже мне господа! — заметил он с гримасой.— Есть кого стесняться!..

Меня, однако, их насмешки глубоко задели: за что? Господи, за что?..

— Боже всемогущий! — заговорил я языком причитаний.— Отверзи очи твои и обрати свой взор из вышнего чертога своего на сынов твоих. Взгляни, как богобоязненные евреи твои стали посмешищем лишь за то, что честно и благоговейно блюдут заветы твои! Обрати на нас милосердие твое, и да обрящем мы милость и любовь в глазах твоих и в глазах всех людей на земле. Защити излюбленное стадо твое и простри над ним милосердие свое. Воззрись и на меня в награду за то, что восхваляю и прославляю имя твое днесь. Пошли мне, рабу твоему Менделю, сыну рабы твоей Гнендл, и всем евреям хлеб наш насущный, и прибыльные дела, и душевный покой. Аминь!

2

Не мешкая долго, мы залезаем в свои кибитки и отправляемся в путь. Я еду впереди, Алтер за мной в кибитке, крытой старыми рваными рогожами, на четырех разной величины колесах, ободья которых стянуты веревками и закреплены деревяшкой между спиц. Просмоленные ступицы, болтаясь на осях, скрипят, кудахтают и места себе найти не могут. Кибитку с трудом волочит высокая, тощая, длинноногая кляча с изъеденной спиной, сплошь покрытой коростой и гнойниками. Всклокоченная грива полна сена и пакли, вылезающей из ветхого хомута.

Моление у меня шло уже к концу: осталась лишь кое-какая мелочь, которой обычно не придают особого значения.

Но едва я покончил с молитвой, как снова началась борьба с дьяволом-искусителем. «Выпей,— стал он меня подзуживать,— хвати рюмочку! Подкрепись!» — «Что ты! — отбиваюсь я от него с укоризной.— Разве можно нарушать пост в такой день!» — «Глупости! — слышу я в ответ.— Что тебе сейчас до Навуходоносора? Есть худшие беды, и то на них внимания не обращают! Не будь дураком! Ты ведь стар, немощен... Сойдет!»

Провожу рукой по лицу, как бы отгоняя от себя назойливую муху, а тем временем бросаю мельком взгляд на свою котомку, лежащую в кибитке. В этой котомке у меня всегда имеется про запас добрая толика спирта, гречневые коржики, ржаной пряник, чеснок, лук и прочая снедь. У меня слюнки текут, есть хочется до смерти, в животе урчит: «Ради бога, рюмочку водки! Ради бога, закусить чем-нибудь!» Быст-

ро отворачиваюсь и, дабы отвлечься от зловредных мыслей, углубляюсь в созерцание окрестных полей.

На голубом, ясном небе ни облачка. Стоит знойный день. Воздух совершенно неподвижен. Хлеба на полях, деревья в лесу как бы застыли, не шелохнутся. Коровы на пастбище лежат усталые, вытянув шеи, и, лишь слегка пошевеливая ушами, жуют свою жвачку. Иные роют рогами землю, бьют копытом и ревут, мычат от жары. Бык, задрав хвост и мотая головой, носится по лугу. Внезапно остановившись, он наклоняет голову к самой земле, нюхает, раздувая ноздри, и, брыкаясь, начинает реветь. Возле старой, кривой, полузасохшей вербы, когда-то ударом молнии расщепленной надвое, стоят лошади, положив головы одна другой на шею, чтобы как-нибудь укрыться от солнца; они хлещут себя хвостами, отгоняя слепней. Высоко на ветке покачивается сорока. Издали кажется, что она облачена в белый талес с черными полосами понизу и горячо молится. Она бьет поклоны, вертит головой, слегка подпрыгивая, и отрывисто сокочет. Потом, затихнув, она вытягивает шейку и смотрит ничего не видящими заспанными глазенками. Кругом — нерушимое безмолвие, ни единого шороха, ни звука. Птица и та не пролетит. И только комарье да мошкара носятся как бешеные в воздухе, жужжат и свистят, пролетая мимо ушей и поверяя какие-то свои тайны... Да еще кузнечики в траве и в хлебах стрекочут...

Зной, тишина, изумительная красота.

Я разлегся на возу в одной, извините, рубашке и арбаканфесе, сдвинув на самую макушку стеганую шапку и опустив до пят бреславльские шерстяные чулки, которых я, грешным делом, не снимаю и летом. Я весь взопрел. Сам по себе пот был бы мне, пожалуй,

даже приятен, если бы солнце не светило прямо в лицо. Потеть я люблю, и в бане в самую жару могу часами лежать на верхнем полке... Отец мой, царствие ему небесное, с детства приучил меня к этому. Он был горячий, закаленный человек; страсть как любил париться, потеть! Этим качеством он приобрел известность и снискал всеобщую любовь среди своих сограждан. В этом сказывалась изюминка его еврейской души, весь ее пыл. Потому его и считали почтенным, богобоязненным человеком и говорили о нем с уважением: «Да, в искусстве париться он дока! Он до тонкости понимает, что такое баня! Потеть он умеет, на это он мастер!»

Еврею вообще не привыкать стать потеть. Нет ни одной субботы, ни одного праздника, которые еврей мог бы справить, не потрудившись до седьмого пота. Во всем мире, пожалуй, не найдется ни одного народа или племени, которые могли бы в этом отношении поспорить с евреями... Но не в этом суть.

А как хочется освежиться, когда ты в испарине! В горле у меня пересохло, пить хочется до смерти, к тому же терзает голод. Лукавый снова наседает на меня, еще пуще прежнего. Он приводит мне весь перечень еврейских блюд: жаркое с кашей, кисло-сладкое мясо, лапшевник с «жуликом» — фаршированной шейкой, фарфель [1] со шкварками... Помираю! До чего аппетит разыгрался, а бес продолжает свое: галушки, голубцы, студень с ломтиками печенки, редька с луком, индючьи гребешки с тушеным пастернаком... И вдруг, не знаю каким образом, перед моими глазами как из-под земли вырастает моя котомка. «Лехаим,

[1] Фарфель — крошки теста в виде горошин.

чудак этакий! — журит меня сатана.— Довольно дурака валять!» Рука моя как-то помимо воли протягивается к котомке, раскрывает ее и быстро хватает фляжку. Воровато озираюсь по сторонам и встречаюсь глазами с моей лошаденкой. Почесывая голову о конец оглобли, она обернулась в сторону кибитки и смотрит на меня укоризненно, будто хочет сказать: «Вот погляди! Задняя нога у меня распухла, обвязана тряпкой, глаз гноится, на шее болячка. Убей меня бог, если я когда-нибудь знала вкус овса. И тем не менее — что поделаешь? — тащусь голодная, хворая, разбитая, а из работы не выпрягаюсь...» Фляжка выскользает у меня из рук и водворяется на свое место. Отодвигаю котомку подальше от себя и, пристыженный, глубоко вздыхаю: «Вот у кого нужно уму-разуму учиться! Бог ставит нам в пример животных... Нет, коняга моя! И я тащу свое ярмо, я тоже от работы не отлыниваю. Ничего, уважаемая, черт нас обоих не возьмет! И человеку и скотине господь помогает...» Но не в этом суть.

Стоит еврею однажды побороть в себе гнусную страсть к чревоугодию, как еда для него утрачивает особое значение, и он уже всю жизнь может обходиться почти совсем без нее. Даже сейчас, в наши дни, найдется немало евреев, у которых сохранились лишь едва заметные признаки желудков. Есть все основания надеяться, что со временем — только бы не перевелись на свете «коробочный сбор» и разные благодетели — евреи все больше и больше будут отвыкать от еды, так что у последующих поколений от внутренностей, если не считать геморроя, вообще никаких следов не останется. Зато уж и вид будет тогда у евреев — всему миру на удивление...

Я хочу этим сказать, что, оттолкнув от себя котомку, я как-то приободрился и почувствовал себя гораздо лучше. Я стал думать о торговых делах, напевая мотив какой-то скорбной молитвы. Казалось бы, все в порядке. Но в это время нелегкая принесла хорошенькую молодую крестьянку с кувшином земляники, самого любимого моего лакомства.

Будь на моем месте кто-либо другой, какой-нибудь святоша, он истолковал бы эту историю по-своему: сам сатана, мол, в образе женщины явился ему под благовидным предлогом... Ничего подобного! Я нарочно внимательно присмотрелся. Обыкновенная крестьянка! Предлагая купить у нее всю землянику вместе с кувшином за пятачок, она сунула мне ягоды под самый нос. От аромата у меня дух захватило. В рот набежало полно слюны, сердце заныло. Даже в глазах помутилось,— до того захотелось ягод. Из опасения, что я не смогу устоять против соблазна, я соскочил наземь, как человек, удирающий от пожара. Непонятно, как я себе рук и ног не сломал!

— Реб Алтер! — закричал я не своим голосом, намереваясь призвать его в свидетели.

Реб Алтер лежал, растянувшись, на возу спиной, извините, кверху, подперев обеими руками голову. Его красное, как мак, лицо, раскрытая рыжеволосая грудь, весь его загорелый, обожженный вид говорили о том, что он изнемогает от жары, так что мне его даже жалко стало.

— А-а? — замычал Алтер в ответ, не двигаясь с места.— Что случилось?

Крестьянка с земляникой, гляжу я, куда-то исчезла, будто сквозь землю провалилась. И я, чтоб выйти как-нибудь из положения, спрашиваю Алтера:

— Как вы думаете, который теперь час?

— Сколько времени, спрашиваете? — глухим голосом отвечает Алтер.— Понятия не имею! До вечерней зари глаза еще не раз на лоб полезут... Ну что ж делать... Ах, жара какая!

— Жара первостатейная! — говорю я, шагая рядом с кибиткой Алтера.— Греетесь, реб Алтер? Я думаю, пора бы наших «орлов» попасти: устали, бедняги, еле ноги тащат. До тракта на Глупск еще добрых две-три версты, да, пожалуй, и с хвостиком. А неподалеку отсюда, там, где начинается лес, я вижу слева хорошее местечко, где можно попасти лошадей.

Несколько минут спустя мы свернули с дороги и добрались до места, где был и лес, и прекрасные поля, и болотце, и прочие замечательные вещи. Мы распрягли наших рысаков, пустили их на травку у опушки леса, а сами прилегли под деревом.

3

Алтер Якнегоз тяжко страдал. От жары он еле дышал, вздыхал, кряхтел, так что меня от жалости за сердце хватало. Чтобы несколько приободрить Алтера, а кстати, поболтать немного и убить таким образом время, я затеял с ним разговор:

— Жара, видать, здорово вас донимает, реб Алтер?

— Бе! — односложно ответил Алтер и, насупившись, забрался дальше под крону дерева, хотя это и не спасало от проникавших сквозь ветви лучей солнца.

— Трудно дается этот пост! Вы, я вижу, стонете! — стал я допытываться, твердо решив про себя во что бы то ни стало добиться от него ответа.

— Бе! — снова произнес Алтер, залезая еще дальше под крону дерева.

Меня этот ответ, однако, не удовлетворил. «Эге! — подумал я.— Ты упрям! Ну, ничего, ты у меня заговоришь! Оставим в покое жару и пот. Надо затеять деловой разговор,— это лучшее, единственное средство развязать еврею язык».

Купец даже на смертном одре мигом оживает, как только услышит о делах, и в такую минуту даже ангелу смерти к нему не подступиться. Я и злейшему врагу своему не пожелал бы попасть к купцу в такой момент, когда дело ему еще только мерещится. Он готов тогда уничтожить взглядом всякого, даже лучшего друга, даже брата родного... Но не в этом суть.

Обращаюсь к Алтеру.

— А мы с вами, реб Алтер,— говорю я ему,— кажется, дело сделаем! Хорошо, право, что мы сегодня встретились. Эх, есть у меня товарец — первый сорт! Чистое золото!

Средство подействовало! Алтера будто подменили. Он приподнялся и посмотрел на меня, насторожившись. А я его стал еще больше подзуживать:

— На сей раз, реб Алтер, мы с вами будем торговать за наличный расчет. Ведь вы из Ярмолинцев едете, с ярмарки. У вас, наверное, не сглазить бы, полны карманы денег...

— Да, да! Полны карманы... Сердце у меня полно болячек...— нахмурившись, ответил Алтер.— Знаете, что я вам скажу, реб Мендл... Ничего, конечно, не попишешь... Но человеку без счастья лучше вовсе не родиться... Дела! Захотелось мне новых дел! Другой бы на моем месте — ого-го! А у меня ничего не выходит, все, как говорится, маслом вниз летит! Этакое

несчастье! Даже рассказывать больно. Но виду показывать нельзя. Хоть плачь да слезами умывайся. Что же делать?

Ясно, что с моим Алтером что-то неладно, с ним приключилась какая-то беда. Сейчас, когда язык у него развязался, достаточно лишь немного нажать, чтобы он наговорил с три короба. За мной задержки не было. Я нажал основательно, мой Алтер раскачался и принялся рассказывать о своей беде:

— Словом, приехал я в Ярмолинцы на ярмарку. Приехал, стал со своим фургоном на площади, понимаете ли, выложил товар. Ну что ж! Ничего. Стою, дожидаюсь покупателей. Горе мое понесло меня на ярмарку. Скверные у меня сейчас дела, не про вас будь сказано. Жмут со всех сторон. Типограф требует денег. Это бы еще с полбеды,— пусть требует. Плохо, понимаете ли, что он не хочет больше товару давать!.. А старшая дочь у меня в летах. Девице, понимаете ли, замуж надо. Вот и изволь ломать себе голову — искать жениха. Женихи, конечно, есть, но жениха, то есть, понимаеге ли вы меня,— жениха! — нет... А тут, как на беду, моей жене вздумалось родить мальчика, к тому еще перед самой пасхой. Вы понимаете, что это значит, когда жена рожает мальчика! Шума-то сколько! Но ничего, конечно, не попишешь...

— Вы не взыщите,— говорю я Алтеру,— что я вас перебиваю. Зачем вам было на старости лет жениться на молодой, чтобы она вам ребят плодила?

— Господь с вами! — удивляется Алтер.— Мне ведь нужно было взять хозяйку в дом. Чего еврей добивается от женитьбы? Ничего! Ему, бедному, хочется иметь хорошую хозяйку...

— Зачем же, реб Алтер,— спрашиваю я,— вы раз-

велись с вашей первой женой и покалечили ей жизнь? Ведь она была хорошей хозяйкой.

— Бе! — помрачнев, отвечает Алтер.

— Бездетной ваша первая жена тоже, слава богу, не была,— не унимаюсь я.— А куда ваши дети, бедняжки, девались?

— Бе! — глубоко вздохнув, повторяет Алтер, и, почесав голову, машет рукой.

«Бе!» у нас — замечательное словцо с бесчисленным количеством значений. Оно пригодно для ответа на любой вопрос. В любом разговоре можно его использовать, и всегда оно будет к месту. При помощи этого самого «бе!» всегда можно вывернуться, когда попадаешь в неудобное или затруднительное положение. Мошенник и банкрот, прижатый к стенке кредиторами, отделывается обычно этим восклицанием. «Бе!» выручает человека в нужде, когда оказывается, что он, бедняга, врет. Тому, кто часа два подряд морочит вам голову, вы можете ответить: «Бе!» — даже не слушая и не понимая, чего он, собственно, хочет. Тем же «бе!» отделывается почтенный, с виду очень смирный человек, когда он потихоньку ужалит кого-либо; уважаемый деятель,— когда совершит какую-либо пакость; мягкосердечный, бесхитростный человек,— когда оказывается, что и мягкосердие и бесхитростность его — одно лишь притворство, а пороков у него — несть числа. Словом, «бе!» имеет множество значений, поддается любому, даже самому неожиданному толкованию, например: «А мне на тебя наплевать!», «Жалуйся на меня господу богу!», «Это уж как вам угодно!», «Накось выкуси!» — и так далее в том же духе. Сметливая голова сразу догадывается, куда это словцо метит, и понимает настоящий его смысл.

«Бе!», произнесенное Алтером, было горестным. В нем звучало и что-то вроде раскаяния, и тоска, и сознание своей вины. На душе у него, без сомнения, камнем лежало его позорное поведение в отношении первой жены и ее детей. Во всякой беде, приключавшейся с ним, он, должно быть, усматривал наказание божье за свои грехи. Свидетелем тому был его тяжкий вздох, его жест, даже почесывание головы,— все это означало: «Прикуси язык да помалкивай... Пропади оно пропадом!»

Совесть терзала меня: к чему было бередить старые раны? Вечная история с евреями! Любят совать нос в сокровенные дела других, залезать с вопросами в душу, когда она и без того болит, ноет от горя. Меня, помимо этого, огорчало то, что труд мой пропал даром. Алтер уже было раскачался, заговорил, язык у него стал работать, как настоящий маятник. И нужно же было мне ни с того ни с сего задеть какое-то колесико внутри и остановить весь механизм! Теперь придется начинать все сызнова! Но я не поскупился, снова дал Алтеру полную дозу лекарства от немоты. Подобрал к нему ключик, искусно завел — и маятник, сиречь язык у него, снова начал работать.

4

— Словом, стою это я возле фургона,— снова начал Алтер на свой манер.— Стою и наблюдаю. Ярмарка как ярмарка,— кипит! Народу много. Евреи по горло заняты делами; видно, что тут они прямо ожили. Еврей на ярмарке что рыба в воде. Тут, понимаете ли, он полон жизни. Прямо-таки, по слову праотца

Иакова: «Да множатся они, как рыба, на свете». Не правда ли, реб Менделе? Ведь недаром евреи говорят: «На небе ярмарка» [1]. Не значит ли это, что для еврея загробная жизнь — это ярмарка? Словом, так это или не так, евреи орудуют, носятся, торгуют, на месте устоять не могут. Среди купцов вижу я Берла Телицу... Был он когда-то помощником у меламеда, потом слугой, а сейчас он — реб Бер, владелец большой лавки, крупные дела делает на ярмарке! Короче говоря, ничего не попишешь! Кругом шум, гам, кутерьма... Бежит, вижу, еврей. За ним второй, третий, иные носятся парами, вспотевшие, шапки на макушках... Тут пощупают, там потрогают, скок туда, прыг сюда. Один начинает вдруг крутить большим пальцем, покусывать кончик бороды,— пришла, видно, в голову удачная мысль. Словно угорелые, носятся маклеры, сваты, старьевщики, маклерши, курятницы, бабы с корзинками, евреи с торбами, с пустыми руками, молодые люди с тросточками, обыватели с брюшками... У всех лица пылают, каждому некогда, минута — червонец! Словом, короче говоря, все как полагается... Похоже было,— вот им счастье прямо в руки дается! Эх, и завидовал же я каждому из них! Все зарабатывают, загребают золото, а я, злосчастный, стою как истукан, сложа руки, возле своего рваного, битком набитого книгами и всякой рухлядью фургона, обвешанного со всех сторон нитями для цицес и разного рода амулетами. Шутка ли,— «Плач благочестивой Сарры!» Всей-то благочестивой грош цена... Вот и ухитрись на такие заработки прожить, обернуться, да

---

[1] Еврейская поговорка, означающая беспочвенность, никчемность.

еще дочь замуж выдать! Проклинаю в душе и дочь, и фургон, и дохлую клячу свою,— лучше бы их не было на свете! Хватит, надо и мне что-нибудь делать! Работать! Авось господь смилуется! Короче говоря, шапка у меня сдвинулась на макушку, рукава сами собой засучились, ноги, будто по собственной воле, подходят к какому-то возу, и вот я уже жую соломинку, каким-то образом попавшую с воза ко мне в рот. Жую соломинку, а голова тем временем работает. Поморщился, пощурился и сразу же ударил себя пальцем по лбу. Есть! Прекрасное дельце! Породнить двух купцов, порядочных людей, имеющих лавки на ярмарке. Кто они такие? Один, понимаете ли, это реб Элиокум Шаргородский. Второй — реб Гецл Грейдингер. Бросаю свою торговлю,— ко всем чертям фургон с клячей и с типографом заодно! Горячо принимаюсь за новое дело. Идет на лад! Есть надежда, что пойдет. Словом, я подталкиваю, дело двигается. Ношусь от реб Гецла к реб Элиокуму, от реб Элиокума к реб Гецлу. Ношусь уже, как и все, занят делами не хуже других, хлопочу, работаю, носом землю рою,— дело обязательно должно выгореть, именно здесь, на ярмарке! А то как же? Можно ли придумать лучшее место, чем ярмарка? Короче говоря, тут же, в спешке, в суете, стороны свиделись, понравились друг другу, оба разохотились,— чего же еще? Мои будущие родственники пылают, горят желанием, тянутся один к другому,— они готовы! Я таю от радости: верный заработок, все равно что в кармане! Я даже стал прикидывать, сколько дать приданого за своей дочерью. К тику на наволочки я на этом основании уже раньше приценился, собирался даже купить у старьевщика поношенную бархатную накидку. Рубахи — это уже последнее де-

ло, как бог даст... Словом, короче говоря,— ладно... Слушайте, однако, какие бывают дела на свете! Без счастья лучше и не родиться. Когда дошло уже до сговора, вспомнили как раз о женихе и невесте, и вот тут-то и оказалось... Как вы думаете, что? Честное слово, рассказывать больно... Оказалось — чепуха! Нет, чепуха — это что? Шиворот навыворот! Вы только послушайте, что за несчастье, какое наказание божье! У обоих родителей — что бы вы подумали? — У обоих родителей — сыновья!..

— Помилуйте, реб Алтер! — разражаюсь я хохотом.— Простите вы меня, как мать родная, но как же это вас угораздило совершить такую глупость — затевать сватовство, не зная заранее, у кого из родителей дочь, а у кого — сын?!

— Ну, конечно! — с досадой поморщился Алтер.— У меня, право же, не меньше ума, чем у других, и учиться мне не у кого. Разве вы не знаете, как у нас обычно сватают?! Казалось бы, реб Менделе, вы хорошо знаете наши нравы, знаете, как проходит сватовство и женитьба. Что же вы так удивляетесь моей беде? Ведь это с каждым легко может случиться! Я прекрасно знал, что у реб Элиокума должна быть девица, да еще какая девица! Клад! Год тому назад я ее видел своими глазами, клянусь вам счастьем! Но что ты будешь делать! Когда человеку не везет,— ничего не поможет, как ни мудри. Надо же было этой хваленой девице заторопиться и, будто назло, выйти замуж. Спешка, видите ли, на нее напала, как будто иначе невесть какая беда могла бы приключиться! А я и понятия об этом не имел! Знать бы мне так нищету свою! Теперь посудите сами. Ведь я прихожу к человеку и говорю ему человеческим языком, как во-

дится: «Реб Элиокум! Хочу породнить вас с реб Гецлом!» Кого я мог иметь в виду? Разумеется, дочь реб Элиокума. Ее, конечно, и сына реб Гецла. Растолковывать тут как будто нечего. Даже смешно! К чему? Само собой понятно, что женятся не двое мужчин друг на друге, а как водится, мужчина на женщине. Казалось бы, я со своей стороны делал все как полагается. Никто, клянусь вам, не сделал бы лучше! Словом, я говорил ясно, определенно, о самом главном: о приданом, о содержании молодых. Вы не должны к тому же забывать, что на ярмарке, да еще с купцами, нельзя тратить лишних слов, говорить о мелочах,— разговор должен быть короткий, только о самой сути, только о деле: ведь некогда! Вот вам, стало быть, мой ответ.

Теперь обратимся к реб Элиокуму. Он, со своей стороны, услыхав, что я предлагаю ему породниться с реб Гецлом, несомненно понимал, что речь идет о его сыне,— иначе и быть не могло! В самом деле, ведь не ему же я сватаю сына реб Гецла! Это же бессмыслица! Мысль о дочери ему и в голову не могла прийти,— он-то хорошо знал, что у него на выданье не дочь, а сын жених. Выходит, словом, что обе стороны правы. Вот и все. Теперь вы понимаете?

— Бе! — произношу я, еле удерживаясь от хохота и стараясь скорчить серьезную мину.

— Ну, слава тебе господи, лишь бы вы поняли! — отвечает Алтер, ткнув меня пальцем и воскликнув нараспев: — О-о! — точно я своим «бе!» угодил прямо в точку.

И должен правду сказать, что объяснения Алтера действительно заставили меня призадуматься. В самом деле, что тут невозможного? При наших нравах, при том, как у нас заключаются браки,— почему бы

такой истории и не приключиться? — У меня невольно снова вырывается «бе!» — и я смотрю при этом на Алтера как-то особенно дружелюбно.

— Не правда ли? — говорит Алтер, снова ткнув в меня пальцем.— Вы поняли, не правда ли? Однако погодите! Это еще не все. Кое-какая надежда у меня еще тлела. Я, знаете ли, если взялся, так легко дела не бросаю.

— Господь с вами, реб Алтер! Что вы говорите? — я даже подскочил от изумления, будучи уверен, что у Алтера от жары в голове помутилось.— Какая же могла оставаться надежда после того, как оказались два жениха?

— Не беспокойтесь! — унимает меня Алтер.— Не беспокойтесь, реб Менделе! Все в порядке. Искорка во мне еще тлела. Господь поражает, господь и исцеляет. У меня на примете был еще Телица. Собственно, мысль о Телице была у меня еще с самого начала. Там девицы надежные, можете мне поверить. У меня спервоначалу вертелись в мыслях все трое: Элиокум, Гецл, Телица. Из них нужно было выбрать пару. Угораздило же меня остановиться на реб Элиокуме, а Телицу покуда отодвинуть в сторонку. Но когда со мною стряслась такая беда,— что прикажете делать? Пришлось вывести на рынок Телицу, да еще разукрасить, возвеличить его, представить со всяческим почетом: реб Беришл! Словом, я стараюсь загладить свой промах у прежних своих клиентов. Виноваты, мол, отчасти я, отчасти они, а отчасти доля наша. Но, видать, не суждено было, не было на то воли божьей... Начинаю воспевать на все лады: реб Беришл, не сглазить бы, богат, прекрасной души человек, благотворитель, староста многих братств. Шутите,— реб Беришл! О том, что он

умница, и говорить не приходится,— это само собой понятно, раз человек богат... Словом, ничего! Искра надежды разгоралась во мне все ярче и ярче. Все к лучшему, думаю я,— даже то, что всплыли, точно масло на воде, два жениха... Теперь я имею для них двух девиц, как по заказу. Реб Беришл поправит все мои дела, и все, бог даст, будет хорошо. Короче говоря, работаю изо всех сил, ношусь как угорелый. Казалось бы на первый взгляд,— все обстоит благополучно, дела идут на лад. Но что вы скажете! Надо же, чтобы как раз в это время закончилась ярмарка. Все вверх дном! Все разъезжаются, разбегаются, дела кончены, и пропали все мои труды — столько трудов!

— Теперь вы понимаете? — обращается ко мне Алтер с мольбой в голосе, протягивая обе руки, словно он жалуется, изливает предо мной свою наболевшую душу и ждет от меня помощи.— Понимаете? Когда нет счастья, хотя бы крупицы счастья,— тогда ничего не поможет, как ни мудри. Прогневал я господа, наказывает он меня все время за грехи мои... «За наличные деньги»,— говорите вы? Лишнего гроша у меня в кармане нет, горе мое горькое!

— Эх, точно в бане! — восклицаю я и резко передвигаюсь на другое место.

Алтер уставился на меня широко раскрытыми глазами, покачал головой и с возмущением, ни к кому якобы не обращаясь, сказал:

— Вы тоже хороши! У человека, не приведи господи, сердце на части разрывается, желчь от горя закипает, человек душу выкладывает, а вам — ничего! Думаете только о своей шкуре. Шутка-ли, жарко, как в бане! Растаете, не дай бог... Но я понимаю эти фокусы... На попятный пошли, как только узнали,

что у меня наличных нет и что со мной дéла не сделаешь.

— Ну что вы! — ответил я, потянув Алтера за бороду.— Как это вам, реб Алтер, могло такое на ум взбрести? Я имею в виду совсем другое. Ваша неудача на ярмарке напомнила мне одну очень интересную историю, приключившуюся однажды в бане. Я ее до сих пор забыть не могу. Точь-в-точь... Только там это было покороче и закончилось с треском. Стоит ее послушать. О, да вы потеете, реб Алтер! Подвиньтесь, пожалуйста, немножечко вон туда. А я полежу тут, спиной к солнцу, и буду рассказывать.

Рукавом рубахи Алтер вытер пот с лица, вытащил из-за пазухи фарфоровую люльку с намалеванной на ней красавицей. Проволочкой, прикрепленной на цепочке к томпаковой крышке, он прочистил короткий чубук, у которого тонкий мундштучок и нижняя часть сделаны из серовато-черной кости, а средняя, матерчатая, вышита бисером. Бросив мельком взгляд на красавицу, Алтер закурил трубку, затем растянулся под деревом во весь рост. Я откашлялся, улегся поудобнее и начал свой рассказ.

5

В Глупске в каменной бане с давних пор ютится парень — Фишка Хромой. Кто такой Фишка, откуда он взялся,— поинтересоваться этим ни мне, ни кому-либо другому и в голову не приходило. Не все ли равно? Околачивается какой-то Фишка, как и все другие беспризорные существа, ему подобные... Появляются они у нас, у евреев, как-то неожиданно, точно грибы, сразу

готовые до мельчайших подробностей,— никто и не приметил, как они понемногу вырастали, даже признаков никаких не было!.. Торчат где-то по трущобам нищие, рожают потихоньку,— кому какое дело? — плодятся и размножаются. Урожаи, не сглазить бы, на славу! Мелюзга встает на ножки, и на свет божий выскакивают вдруг новоиспеченные маленькие евреи: Фишки, Хацкели, Хаимки, Иоськи, голые, босые, в одних рубашонках, путаются под ногами на улицах, в домах и молельнях.

Красавцем назвать Фишку нельзя. У него большая приплюснутая голова, большой широкий рот с кривыми желтыми зубами, он шепелявит, не выговаривает буквы «р» и сильно припадает на ногу.

Фишка был уже в летах, и, если бы это зависело от него, он давно бы уже женился и осчастливил Глупск несколькими ребятишками. Но такова уж была его злосчастная доля —о нем забыли, и он, как это случается иногда в нашем книжном деле с какой-нибудь рухлядью, превратился в «лежалый товар». Забыли о нем даже во время «холерной рекрутчины», когда набирали женихов [1]. Глупская община в большом смятении хватала несчастных, калек, убогих, нищих, и на кладбище среди могил венчала их с первыми попавшимися девицами, чтобы таким образом унять эпидемию. В первый раз община женила знаменитого безногого Ионтла, который передвигается на сидении при помощи двух деревянных колодок. Его обвенчали с известной нищенкой, той, у которой зубы как лопаты и нет нижней губы. Холера, конечно, испугалась этой

[1] Во время какой-либо эпидемии верующие евреи устраивали венчание на кладбище. Для этого подыскивали нищих, калек (женихов и невест).

молодой четы и после того, как с перепугу побила в Глупске множество людей, схватила ноги на плечи и поспешила убраться... Во второй раз выбор пал на Нохумцю, глупского юродивого, известного дурачка. Дурачок этот на кладбище при всем честном народе покрыл голову девице, у которой голова с самого детства была, с позволения сказать, покрыта «венцом»[1], и о которой в городе говорили, что она гермафродит. Народ, говорят, на этой свадьбе здорово повеселился, люди приятно провели время и на радостях выпили среди могил уйму водки. «Ладно,— говорили они,— ничего! Пусть плодятся дети Израиля холере назло, пусть множатся, пусть и нищие поживут в свое удовольствие...» Но не в этом суть!

Словом, о Фишке община забыла. На Глупск снова нагрянула холера, но и на сей раз она Фишке не помогла. Он по-прежнему оставался холостяком. Чего уж больше... Есть в Глупске некая безносая тетка. Ее дело — сочетать живых мертвецов: она боится, как бы не засиделись какие-нибудь калеки, нищие, убогие девицы. Для этого она пляшет среди улицы под пиликанье скрипача, подпевающего фальцетом, и собирает на тарелочку подаяние. Так вот даже эта добродетельная, милосердная тетенька совершенно забыла о Фишке и оставила его без жены. Очень жаль, конечно, беднягу, можно ему посочувствовать, но такова уж, видать, его доля.

Фишка обыкновенно ходил босиком, без кафтана, в одной лишь грубой заплатанной рубахе, в длинном замусоленном арбаканфесе и широких портках из толстого полотна со множеством складок. Занимался

---

[1] Паршой.

он тем, что в пятницу ходил по улице и выкрикивал: «Хозяева, в баню пожалуйте!» — а по средам: «Хозяюшки, в баню!» Летом, как только появлялись овощи, на улице слышался его шепелявый голосок: «Пожалуйте сюда! Вот молодой чеснок!» В бане он сторожил одежду, подавал шайку воды, мастерски укладывал грязное белье, подносил курильщикам уголек, перекидывая его из одной руки в другую, и получал за все это целых два, а то и три гроша. На этом основании Фишка считался причастным к лицам духовного звания и имел кое-какие права, как, например,— ходить вместе с извозчиками и банщиками к местным обывателям в праздники пурим и хануко за подаянием, приходить с этой компанией на семейные торжества у посетителей бани и получать рюмку водки с куском медового пряника, а в пасху ходить с сумой и собирать куски мацы.

Я очень хорошо знал Фишку, любил с ним беседовать, и слова его порой доставляли мне истинное удовольствие. Он вовсе не был таким отпетым дураком, каким казался. Каждый раз по приезде в Глупск я первым делом спешу в каменную баню прожарить одежду, чулки, попарить косточки на верхнем полке́. Говорите что хотите, но это для меня самое большое удовольствие. Что, кажется, может быть лучше, чем пропотеть как следует? Уверяю вас, даже сейчас это доставило бы мне огромное удовольствие, если бы солнце не светило прямо в лицо.

— А ну-ка подвиньтесь, реб Алтер! Подвиньтесь, пожалуйста, еще немного! О! Вы, я вижу, здорово потеете, не сглазить бы! А ну-ка подвиньтесь еще малость. Вот так, так!

— Да ладно! Хватит! — сердится Алтер.— Лежу,

кажется, хорошо. Не тяните, прошу вас, за душу. Рассказывайте покороче.

— Не торопитесь, реб Алтер! День еще велик! — отвечаю я и продолжаю рассказывать.

Когда я несколько лет тому назад, будучи в Глупске увидал издали на улице Фишку, я попросту не мог прийти в себя от изумления. Мой Фишка, гляжу, ковыляет на своих хромых ногах, одетый щеголем — в новенький черкасский кафтан, в новые ботинки и чулки. На голове большой плисовый картуз, а на груди новая из-под иголочки манишка из туго накрахмаленного ситца в больших красных цветах! «Что бы это могло значить? — думаю я.— Может быть, община все-таки избрала его «холерным женихом»?» Но в Глупске в тот год холеры не было. Вы, может быть, подумаете, что там почистили реку, убрали с улиц смрадные кучи и дохлых кошек или домовладельцы постановили, наперекор древнему обычаю, больше не выбрасывать мусора и не выливать помоев перед самым носом у своего дома? Боже упаси! Как можно заподозрить еврейскую общину в таких делах? Просто обошлось каким-то чудом... Правда, люди и тогда жаловались на животы и помаленечку умирали, но это было просто легкое поветрие. Приписывали его свежим огурцам. Изголодавшаяся беднота набросилась на молодые овощи... Однако, слава богу, обошлось... Но не в этом суть.

Тем временем, пока я раздумывал и удивлялся, Фишка исчез. А у меня в ту пору как раз поясница, не тем будь помянута, разыгралась, колики одолели. Давненько крови себе не пускал, банок не ставил, за несколько месяцев всего-навсего какой-нибудь десяток пиявок поставил!.. Вот я и решил на следующий день обязательно отправиться пораньше в баню, провести

там несколько часов и уж заодно хорошенько выведать там про все... Не только насчет Фишки, но и насчет иных важных дел: политики, разных слухов и всего, что творится на свете и в городе. Ведь это единственное место, где человек может разузнать кое-что, выложить, что у него на душе, и полакомиться кое-чем у других. В бане узнаешь множество всяких секретов, там заключаются сделки, а сутолоки там даже больше, чем на ярмарке. Стоит заглянуть туда в пятницу,— вот когда там интересно: в одном углу сидят цирюльники со своими причиндалами, вокруг них множество народу. Один цирюльник бреет голову, другой полосует бритвой спину, одному ставят банки, у другого снимают их, и еврейская кровь рекой льется по полу, под ногами у людей, смешиваясь с листьями от веников и сбритыми волосами. Свечка цирюльника оплывает, брызжет, сердито фыркает, разгорается причудливым зловещего цвета пламенем... По стенам, под потолком, возле печи, развешано, как в крупнейшем магазине, много всякого платья: рубахи, чулки, всякого рода арбаканфесы, всех видов исподники, фуфайки, кафтаны, круглые стеганые шапки.

С верхнего полка́ доносятся крики. Одни лежат обессиленные, кряхтят и стонут; другие вооружены веничками и кричат: «Ради бога, родненькие! Смилуйтесь, поддайте пару!» Баня остывает, все кричат, но никто и руки не протянет, чтобы плеснуть ведерко воды на горячие камни, пока не отыщется какой-нибудь озорник и не нагонит жару, как в пекле, хоть задохнись. Два изможденных еврея ссорятся из-за шайки, вырывают ее друг у друга из рук и ругаются как очумелые. Тощий меламед, который бродит как неприкаянный, без посудины, примиряет их,— и все втроем макают

свои замусоленные тряпки и моются из одной шайки. Почетные места занимает знать: тут сидят богачи, солидные люди. Они беседуют о делах, о серьезных вещах: о таксе на мясо, о нынешних озорниках, о рекрутском наборе, о выборах гласных, о выборах раввина, о том о сем, о новом полицмейстере. К ним смиренным котенком подсаживается какой-нибудь почтенный обыватель и заводит разговор о талмудторе, о новых гонениях на евреев, о разных греховных деяниях в городе и при этом нашептывает что-то каждому по секрету... Вдруг подходит какой-нибудь ловкий парень, который метит в гласные, и с льстивой улыбочкой приглашает на верхний полок самого почтенного и авторитетного домохозяина, которого он намерен лично, собственной персоной, попарить с шиком, как следует. Почтенный обыватель, который тоже метит на какую-нибудь должность и жаждет лакомого кусочка, ухватывается за эту идею и с поклоном и льстивой улыбочкой приглашает на полок кого-либо другого из знати. Все забираются на верхний полок, веники взлетают, и сделки заключаются... Благодаря знатным людям жарища в бане становится невыносимой, и все от мала до велика хватаются за свои шайки. Народ стонет, охает, восторгается, и вот тогда-то я забираюсь высоко-высоко в уголок, один-одинешенек, и принимаюсь парить косточки на чем свет стоит.

— Ах, реб Алтер, подвиньтесь! Ну хоть немножечко, вон туда к северу!

Алтер укоризненно смотрит на меня, пожимает плечами и произносит:

— Н-на! Н-на!..

— Погодите немного,— успокаиваю я.— Что за спешка? Сейчас, сейчас! Дайте только передохнуть.

6

Алтер что-то долго возился с мундштуком, который был безнадежно забит. Затем он, досадуя и проклиная, отвинтил чубук, вставил вместо мундштука гусиное перо, снова закурил и выпустил, как из трубы, целое облако дыма. Я слегка расправил старые кости и продолжал свой рассказ:

— На другой день я пришел в баню заблаговременно, задолго до того, как народ стал помаленечку собираться. Банщик Берл сидел в сенях на скамье среди шаек, составленных пирамидкой, и вязал веники, просматривая листья с таким серьезным видом, с каким хозяйки перебирают горох. Неподалеку у печки стоял сторож Ицик, человек с окладистой бородой, который вот уже лет тридцать только тем и занимается, что смотрит сложа руки на узлы с вещами, говорит каждому при выходе «с легким паром!» — и таким образом добывает себе пропитание. Он громко зевал, потягиваясь всем телом, подсчитывая, сколько потребует жена его, чтоб справить субботу, и, беседуя с Берлом насчет нынешних скудных заработков, высмеивал каждого посетителя в отдельности, всех под орех разделывал: этот, мол, такой, а тот — сякой, перевелись, мол, прежние люди и баня уж не та, что прежде. Бывало, меньше алтына и сквалыга не даст, а нынче... Ицик сплюнул и закончил: «Нынче пропади они пропадом все вместе!..»

Берл и Ицик встретили меня очень радушно: давненько-таки не видались, а я считался у них желанным гостем. Разговорились о разных вещах, и тут я вспомнил о Фишке. Где, спрашиваю, наш Фишка?

— Фишка! — говорит Берл, потряхивая веником.—

Эге-ге! Фишка в люди вышел: женат, счастлив дальше некуда!

— Фишка! — подхватывает Ицик и качает головой.— Фишка нынче барином стал! Дай бог всякому... Ну, Фишка! Он о таком счастье никогда и не мечтал.

И вот что рассказал мне под конец банщик Берл:

— Однажды в четверг, под вечер, затопил это я все печи, здорово устал от работы и прилег с нашей братией в бане на скамьях — дух перевести. Кроме нас, лежали, растянувшись, еще несколько бездельников, проживающих тут. И вот лежим это мы спокойно, покуриваем, оживленно беседуем — и вдруг слышим: кто-то подкатил к самой бане. Ну, что ж, подкатил так подкатил, не все ли равно? Не успели мы, однако, оглянуться, как входят три здоровенных молодца и все в один голос:

— Добрый вечер, друзья! Где Фишка? Давайте сюда Фишку!..

Тут уж я малость перепугался: что за разговор такой? Почему такая спешка? «Давайте сюда Фишку»? Однако, с другой стороны, я подумал: чего тут пугаться? Фишка, упаси бог, не вор, крупными делами он тоже как будто не ворочает, а если даже допустить, что эти люди — ловцы [1], так опять-таки Фишке их страшиться нечего: при его хромоте можно, слава богу, рекрутчины не бояться.

— Вам нужен Фишка? — отвечаю я, набравшись духу.— Его сейчас нет. Но скажите мне, дяденьки, на что вам Фишка, хотел бы я знать?

Дяденьки переглянулись, затем один из них выступил вперед и говорит:

---

[1] Ловцы — то есть те, кто ловит рекрутов.

— Ну, что ж, можем вам сказать. Отчего же? Тут стыдиться, упаси бог, нечего: дело житейское. Суть вот в чем.

Слепую сироту вы, конечно, знаете? Ту, что с давних пор сидит обычно у «мертвой» синагоги, возле старого кладбища, и попрошайничает, напевая известную песенку, которую какой-то сочинитель для нее составил. Так вот эта слепая сирота в нынешнем году овдовела. Она поторопилась обручиться с каким-то грузчиком, обязалась прилично одеть его, дать ему все, что потребуется, да к тому еще немного денег в приданое. Нынче должно было состояться венчание. Приготовили прекрасный ужин, водку, булки, рыбу, жаркое, бульон с курицей — все честь честью, как полагается. Влетело это, разумеется, в копеечку. И вот: все готово, невеста разодета, сияет... Пошли за женихом. А этого сокровища, представьте, и дома нет! Ждем час — нет, ждем другой — не является... Пропал человек. Что же в конце концов оказывается? Парень, сгореть бы ему, раздумал! Бабушка его, видите ли, которая уже много лет служит кухаркой у нашего богатея, дай ему бог здоровья, плачет, убивается, скандалит: не нравится ей невеста, не пристало ее внуку на такой жениться. Как-никак, она столько времени служит у местного богача, близко знакома со многими горожанами, пробирающимися к ее хозяину черным ходом, через кухню. Она прекрасно готовит, славится своими галушками... Шутка ли, богатеева кухарка,— она задает тон в мясной лавке, синагогальный служка приходит к ней лично с пальмовой ветвью в праздник кущи, помощник кантора из молельни специально для нее читает на кухне сказание об Эсфири, а проповедница Рикл приходит к ней по большим праздникам выпить стаканчик

цикория! Разве допустимо, чтобы сейчас, на старости лет, внук опозорил, обесчестил ее? Нет, хоть режь его, хоть убей его, хоть караул кричи,— не поможет! Не желает он жениться, не подходит ему невеста. «Думайте обо мне что хотите,— говорит он,— называйте как угодно, жалуйтесь хоть самому господу богу!» Так и остались мы ни с чем. Обидно, однако, не столько то, что жениха потеряли, сколько то, что ужин пропадает. Что делать с ужином, с такой рыбой, с таким жарким? Мы-то сколько хлопотали, набегались, намаялись за целый день. Нам еще и за сватовство кое-что причитается. Право, жаль стольких трудов, наших трудов! Думали мы, думали, прикидывали, размышляли и вспомнили про Фишку! Честное слово, пусть он выручит всех из беды. Пусть Фишка будет женихом, не все ли равно? Ему-то что? Вот мы и пришли взять его к венцу наместо грузчика.

В это время как раз заявился Фишка. Мы за него взялись, схватили раба божия и — без лишних разговоров:

— Иди, брат, на своих ходулях! Довольно дурака валять! Иди, парень, под венец!

Все было проделано так быстро, что Фишка и оглянуться не успел. Братия хорошо поужинала; ела, пила в полное свое удовольствие и не скупилась на пожелания новобрачным.

Фишка носит теперь тот самый черкасский кафтан, который предназначался грузчику, и стал совсем приличным человеком. Его дело теперь — приводить утром жену, слепую сироту, на ее место у старого кладбища, а под вечер отводить ее обратно домой. О хлебе насущном Фишке заботиться нечего. Жена у него бой-баба, заработок у нее верный. Парочка жи-

вет в любви и согласии, а попрекать друг друга недостатками им не приходится.

— Вот, реб Алтер, что рассказал мне банщик Берл. Видите,— говорю я,— какие дела на свете бывают. Как у нас сочетают, как венчают хромых со слепыми. А ради чего? Ради того, чтобы благодетели могли сытно поесть и напиться! Так водится у бедняков, у нищих, так же водится и у богачей. И у них очень часто заключаются подобного рода нелепые браки. Конечно, там и ужин другой, и обхождение благопристойное... Но не об этом речь. Право же, реб Алтер, не горюйте! Не удалось вам сочетать двух мужчин, зато, бог даст, сосватаете другую пару. Вы только духом не падайте. Ничего! Вы, я вижу, годитесь для этого, вы сразу мастерски уловили самую суть! Наоборот, вы начали очень хорошо, совсем как заправский сват! А что парень... Ну... Бе! Ничего не попишешь! Зато уж если вы где-нибудь пронюхаете девицу, дело пойдет как по маслу. Будь она слепая, немая, кривая,— иди, дочка, жалуй с богом под венец! Типограф требует денег, кляча есть хочет, девицу надо замуж выдавать, жена, в добрый час, мальчика родила... Иди же, дочка, шагай под венец!..

Сделайте одолжение, подвиньтесь немного, реб Алтер! Чуточку дальше. О, вы, не сглазить бы, потеете, как бобер! Потейте, потейте на здоровье!

7

— Словом, как бы то ни было, а пока что скверно! — произносит Алтер, как бы ни к кому не обращаясь.

Огорченный, опечаленный, он вздыхает, и крупные

капли пота выступают у него на лице. Он поднимает глаза и смотрит на меня с такой трогательной миной, с таким жалостливым выражением лица, словно младенец, жаждущий припасть к груди матери. Алтер, бедняга, имел в виду заработок, ему хотелось заключить со мною какую-нибудь сделку: как же это возможно, чтобы два бородатых еврея средь бела дня лежали без всякого дела?! Если бы два торгаша попали куда-нибудь на край света, на необитаемый остров, где, кроме них, не было бы ни души,— можно не сомневаться, что один из них затеял бы со временем какую-нибудь торговлю, другой тоже завел бы какое ни на есть дело, и оба стали бы торговать друг с другом, открыли бы один другому кредит, давали бы товар на комиссию, да так бы и кормились друг возле дружки...

Алтер и в самом деле спросил:

— Что у вас там, почтеннейший, сегодня в кибитке?

Это означало: «Распаковывайте, реб Мендл, выкладывайте товар!»

Ничего не поделаешь! Лениться нельзя. Я выкладываю свой товар, Алтер — свой, и мы старательно принимаемся за дело. Толкуем, прицениваемся, меняем... Я предлагаю Алтеру книжки каких-то умников с короткими строчками, от которых я — увы! — никак избавиться не могу. Но и он не дурак, он их и в руки брать не желает.

— Гнилой товар! — говорит Алтер, поморщившись.— Бред заплесневелых старых, просидевших скамьи греховодников! Кто их знает, что они там насочиняли! Для кого? Ведь ни один человек из народа ни слова в этих книжках не понимает. Тарабарщина

какая-то, прости господи, а не язык!.. Я уже однажды сглупил, возил с собой такой товар... Бросьте, реб Менделе, дайте что-нибудь путное!

Я выкладываю самый ходкий товар, книжку за книжкой. Алтер все еще мнется, ищет недостатков. Одна книжка ему все же пришлась по вкусу: он к ней сразу прилип. Это и в самом деле было нечто замечательное. Листы в этой книжке были разных цветов и разной величины. Буквы тоже какие-то сумасшедшие и разных шрифтов: то крошечные, то крупные, то четырехугольные, то круглые. А набор совсем какой-то дикий: то узенькие полоски с мелкими буковками по бокам, то широкая полоса с более крупным шрифтом посредине; внизу свисает брюхо, усаженное крошечными буковками, будто усеянное маком, а между отдельными столбцами тянутся вдоль и поперек дорожки, похожие на белые узкие тесемки. Все это качества, которые евреи в наших краях ценят очень высоко. Во многих местах и страницы были перепутаны. Но ведь в этом-то вся и изюминка: пусть человек поломает себе голову, пусть догадается и разыщет что к чему. Прочесть обычно, просто, как полагается,— на это у каждого невежды ума хватит!.. Об опечатках и говорить нечего,— это уж обязательно! Но на них никто не обижается: у еврея, слава богу, голова на плечах, ничего, он может и сам догадаться, чего хотел автор! Зато язык, язык книжки был замечательный! Ни слова не понять! Как раз в еврейском вкусе! Есть у нас немало книг, написанных таким языком, что не сразу поймешь, в чем дело,— и все же разобраться в них кое-как можно, можно раскусить, догадаться, наконец, что автор намеревался сказать. И в этом нет ничего особенного. Хорошей, по-настоящему хорошей

у наших доморощенных философов считается только такая книга, в которой ничего понять нельзя, сколько бы ты себе ни ломал голову. Если непонятно, значит что-то тут кроется!.. Но не в этом суть.

Мой Алтер ухватился за этот товар обеими руками, и по всему было видно, что душа его возрадовалась. Потом мы меняли причитания на сказки, молитвенники на «Тысячу и одну ночь», грамоты на ладанки, поменяли сотню житомирских тропарей на бершадские арбаканфесы, семисвечники на «волчьи зубы», субботние медные подсвечники на витые свечи и детские гарусные ермолки. Обе стороны от всех этих операций пока еще ни гроша в глаза не видели, но были чрезвычайно довольны самим процессом торговли. Как-никак, поработали, поторговали, дело делали, не сидели сложа руки.

Меланхолию Алтера развеяло, словно дым; выражение его лица доказывало, что ярмолинецкая ярмарка и все неудачи улетучились у него из памяти. Он что-то про себя высчитывал на пальцах, склонив левое ухо, точно внимательно прислушиваясь к расчетам невидимого бухгалтера, сидящего у него в голове. Судя по всему, расчеты эти сулили, с божьей помощью, заработок: рот расплылся во всю ширь, и меж густых усов зазмеилась сладкая улыбка.

Между тем наступили сумерки. Подул приятный ветерок, и по небу поползли обрывки долгожданных облаков. Деревья потихоньку зашевелились, склоняя друг к другу головы, беседуя на своем языке после столь долгого молчания. Ветерок разбудил сонные хлеба; колосья, как маленькие дети, проснулись и сердечно расцеловались. Ожили божьи создания в поле, в лесу и в воздухе. Одна за другой заливаются певчие

птички — на ветвях, на кустах, внизу и в вышине. Они расправляют перышки, чистят себя клювиками, отряхиваются, раскачиваются и оглашают воздух сладостным и звонким песнопением. Бабочки, богато разодетые в атлас, бархат и старинные шелка, унизанные драгоценностями, пляшут, порхая в воздухе, взмывают кверху и шаловливо кружатся. Два аиста, точно гвардейцы, стоят в траве на длинных красных ногах, задрав головы кверху, и горделиво поглядывают. Какая-то озорная птичка резвится, перелетает с дерева на дерево и кричит: «Ку-ку!», «ку-ку!» — будто играет в прятки. Из хлебов перекликается с ней другая: «Пик-бер-вик! пик-бер-вик! пик-бер-вик!» — будто говорит: «Никогда тебе меня не поймать, хоть соли на хвост насыпь! Убирайся-ка, уважаемая, подобру-поздорову!..» Неподалеку в рощице щелкает соловей, заливается на все лады, рассыпается трелью. И все живое вторит знаменитому певцу. Даже лягушки в пруду заквакали, даже мухи и пчелы — и те не молчат, а жук-сорванец жужжит на лету. Это был концерт, который стоило послушать... Весь мир словно ожил и приобрел радостный облик. Весело и приятно было слышать и видеть все вокруг, вбирать в себя ароматы, доносившиеся со всех сторон.

— Хорошо, реб Алтер! Чудесно, реб Алтер! Что-то тянет за душу, что-то говорит сердцу: хорош божий мир, сколько жизни в нем! Так и хочется ринуться туда, броситься с руками и ногами.

— Что это вы, реб Менделе... Фи, реб Менделе!..— морщится Алтер.— Помолились бы лучше. Пора уже. Смотрите, как бы вы на радостях не позабыли прочесть покаянную молитву...

Я подвязываю чулки, подпоясываю кафтан и начи-

наю весело, нараспев, фальцетом, читать молитву. Мой Алтер вступает вслед за мной басом, и оба мы возносим хвалу всевышнему, в то время как и коренья, и злаки на полях, и все животные и птицы в лесах славословят и поют гимны господу.

Уже в самом начале молитвы, когда Алтер, так сказать, выложил весь ассортимент упоминаемых в ней кореньев и благовоний: чистый ладан, корень-ноготок, имбирь и волокна шафрана,— он тем временем достал из-под облучка извозчичью благовонную жидкость — ведерко с дегтем. С молитвой он справился быстро, и, в то время как я успел добраться только до середины, он уже смазывал колеса.

— Не медлите, реб Менделе, поторапливайтесь! — подгоняет меня Алтер.— Принимайтесь за вашу кибитку, а я тем временем за лошадками схожу. Пора и в путь. До ночи мы еще, пожалуй, порядочный конец сделаем.

Алтер тут же уходит, а я принимаюсь за свою кибитку и воздаю ей должное. Я не тороплюсь, смазываю колеса основательно, не жалея дегтя, осматриваю оси, каждую мелочь в отдельности. Уходит на это довольно много времени, а мой Алтер не возвращается. Лошадки, видать, забрели далеко в лес и хорошенько подкормились. С этой мыслью я бросаю взгляд на солнце, которое уже близится к закату. Прошло еще довольно много времени. Солнце уже село. Последние лучи его постепенно сползают с деревьев, на которых они только что так весело играли, прощаются с лесом,— спокойной ночи!

Меня охватывает безотчетный страх. А вдруг Алтеру стало дурно? Шутка ли, так обильно потеть после долгого поста! А вдруг он лежит где-нибудь в обморо-

ке? Или напал на него кто-нибудь? Как-никак, лес — место глухое, в стороне от дороги! Нельзя больше ждать, нужно пойти посмотреть.

Набираюсь храбрости и отправляюсь в лес. Хожу, ищу — напрасный труд: Алтер с лошадьми точно в воду канул. Я забрался уже довольно далеко, дошел до длинного, узкого оврага, разделяющего лес на две части. Овраг зарос кустарником и какими-то колючими деревцами и тянется в одну сторону до большой дороги, а в другую — куда-то вдаль, к черту на кулички. Лес дремлет, накрытый сверху темным пологом. Кругом тишина. И только изредка слышишь, как два высоких деревца, растущих по соседству, о чем-то перешептываются, склоняя головы и лаская друг друга ветвями... Где-то шелестят, трепещут листочки, будто что-то волнует их, не дает им успокоиться. Это лес говорит во сне. Ему мерещится ушедший день со всеми его горестями и радостями. Вот слышен шорох сухих прутьев — это снятся лесу безвременно вырубленные деревья. Что-то стукнуло — упало внезапно разрушенное злодеем-ястребом гнездо с маленькими невинными птенчиками... Оттого-то и шепчутся листья над погибшей матерью и ее детьми, явившимися лесу во сне... Какая-то мрачная туча надвигается на лес, охватывая и мою душу. Фантазия-чародейка, всемирно известная обманщица, плутовским путем устанавливает какую-то связь между мной и оврагом, над которым я стою. Передо мною возникает множество причудливых образов, а моя разгоряченная фантазия воспринимает их и обрабатывает по-своему. Видения разрастаются, обретают страшные черты и возвращаются в овраг еще более чудовищными и пугающими... Является мне мертвец, убитый Алтер Якнегоз, и кости наших погибших

коняг. В моей голове все это искусно приправляется тысячью всяких подробностей и тут же немедля возвращается в овраг с добавлением здоровенного рыжего злодея и волка со страшной оскаленной пастью...

Я уже собрался спуститься в овраг, когда меня неожиданно остановила мысль: ведь наши кибитки брошены там, в поле, на произвол судьбы! От всего нашего добра может, пожалуй, и следа не остаться! Не мешало бы раньше всего взглянуть, что там делается. А может быть, Алтер давно уже вернулся с лошадьми и беспокоится сейчас обо мне? Эта мысль кажется мне разумной и придает мне бодрости. Надежда все более растет, разрастается и разрывает окутавшую меня мрачную тучу. На душе становится светлее.

Я быстро пускаюсь в обратный путь.

8

С божьей помощью, добрался благополучно, не сломав себе ноги, хотя по пути не раз падал, второпях налетая на дерево. Подниматься, если ты упал в лесу, не так зазорно, как в городе, где люди стоят и смеются над тобой. Я каждый раз вставал, вознося хвалу всевышнему за то, что все обошлось благополучно. «А коль скоро милость господня ко мне так велика,— думал я,— почему бы мне не надеяться, что я застану Алтера с лошадьми на месте?» Однако так много милости я у бога не заслужил.

Алтера нет!

Стою ошарашенный. На душе очень скверно! Бог знает, что случилось с Алтером, жив ли он? Постаралась, видать, судьба его злосчастная. Это, конечно,

неспроста. Да и мои дела неважны. Как быть? Что будет со мной? Я рассчитывал сбыть в Глупске свой товар, набрать там как можно больше траурных песнопений ко дню Девятого аба, с тем чтобы наделить ими, как я это обычно делаю, все окрестные местечки. Траурные три недели уже начались, времени в обрез, часа лишнего терять нельзя. Стоит мне замешкаться в пути,— люди в местечках останутся без молитвенников. Евреи — без скорбных гимнов!.. Нетрудно себе представить, как это будет выглядеть в канун Девятого аба: люди уже покончили с молочной лапшой, проглотили по крутому яйцу, посыпанному золой, сидят уже мрачные на земле в одних чулках с протертыми пятками; блохи кусаются; озорные мальчишки держат наготове колючки репейника, ждут только начала, ждут, что называется, доброго слова, а тут нет молитвенников! Менделе куда-то провалился ко всем чертям, не доставил скорбных гимнов!.. Вдесятером пользуются одним молитвенником. Толкотня, теснота, перепутались усаженные колючками волосы — бороды и пейсы, перемешались блохи... Друг другу прямо в нос отрыгивают только что съеденными яйцами и лапшой... Страдания женщин не так еще велики: они хватают что-нибудь первое попавшееся под руку — будь то жалобная молитва, псалтырь, требник или пасхальное сказание — лишь бы печатное,— не все ли равно? — и голосят над ним, плачут навзрыд. А что требуется, кроме рыданий?

Скверные дела! Куда ни кинь... Горько на душе... Но не в этом суть.

Отчаиваться все же нельзя. Надо что-то предпринимать,— не сидеть же сложа руки. Нужно снова отправляться на поиски. Взглядываю на звезды и вспо-

минаю, что уже пора перекусить. Принимаюсь за свою котомку, перекидываюсь с горя несколькими словами со своей бутылкой — буль-буль-буль,— прямо в рот, закусываю наспех, больше для очистки совести. Прощаюсь с бутылкой снова — буль-буль-буль,— и быстро отправляюсь в путь.

Я снова в лесу, снова у оврага. Спускаюсь вниз. Но скажем правду, на сей раз я не один и на душе у меня уже не так скверно, как раньше. Идем вдвоем, беседуем о приключившейся со мной истории — и ничего! — не так уже грустно... Видать, принимаясь второпях за бутылку после стольких страданий и мучений, я хватил лишнего, выпил больше, чем следовало натощак, и почти ничего не ел: кусок в горле застревал. Этот лишний глоток помог мне в нужде, как отец родной. Он придал мне бодрости и развязал язык во время этой приснопамятной прогулки. Таков уж я по натуре: стоит мне в праздник выпить лишний глоток, и — пошел сыпать словами, как из дырявого мешка. Обращаюсь к стенке и сладко при этом улыбаюсь. В такие минуты я делаюсь добрым, мягким, все тело у меня словно расплывается, становится каким-то легким, жидким, как каша-размазня. Вокруг со всех сторон болтаются какие-то частицы Менделе,— не чувствуешь даже, где самая важная точка, где центр, ухватиться не за что. В такие минуты я будто раздваиваюсь. Один Менделе тянется в Егупец, другой — в Бойберик, а ноги не знают, кому подчиняться. Один спрашивает, другой отвечает. Мой голос доносится ко мне будто издалека, словно эхо, да и не мой это вовсе голос, звучащий как из пустой бочки. Однако голову я все же не совсем теряю, кое-какие следы сознания остаются, как во сне.

— Добрый вечер! — здороваюсь я, низко кланяясь.— Куда изволите шагать среди ночи? — Вот... дурачье, лошадиные мозги! — отвечает второй Менделе с добродушной усмешкой.— Вздумалось им запропаститься. Смех, да и только! — Тут яма, реб Менделе! Берегите кости! И правда, честное слово, яма! Я уже, собственно, упал. В двадцатый раз, кажется.— Встаньте же, будьте добры! Неприлично все-таки валяться.— Благодарю вас, уважаемый! Я уже снова нащупываю кнутом дорогу... Чудеса, право! Кусты расхаживают! Ну и пускай себе на здоровье!.. Пошли вместе за компанию. Чур только не царапаться!.. Ай, опять царапаетесь! Нехорошо, чуть глаза не выкололи, тьфу! — Плюньте, реб Менделе! Сейчас избавимся от них. Выходите на тропинку, вот тут, пожалуйте, в чистое поле.— Я уже здесь! Ах, какая луна, словно хлебная дежа, чудесная луна! С носом, с глазами!.. Погодите-ка, а не освятить ли луну? — «Мир вам! Да будет с вами мир...— Мир вам! — Да будет с вами мир! Так же как я перед тобою прыгаю, а коснуться тебя не могу...» [1]— Прыгайте же, дяденька! Гоп! Гоп!.. «Пусть враги мои не смогут коснуться меня...» А чего они хотят от нас? — начинаю я вдруг всхлипывать.— Да разве я виноват, что живу и есть хочу? Тоже мне тело, прости господи! — Как щепка! Вечные хвори, боли... И у меня была мать, ласкала меня, целовала... Горе мне, ведь я же сирота! — разражаюсь я плачем.— Тише, тише! — утешает меня мой двойник.— Что поделаешь? Как не стыдно пожилому человеку с бородой, женатому, обремененному детьми, плакать под открытым небом, перед луной? Тише, неприлично, право же! Тише, черт

[1] Слова молитвы.

вас не возьмет! Ничего! Осторожно, здесь забор.— Да, честное слово, действительно забор. Я даже здорово треснулся. Что делать? — надо перелезать. Вот так, так. Большое спасибо, я уже обеими ногами в огороде.— Добро пожаловать, почтеннейший! Потрудитесь идти вперед.— Не беспокойтесь, иду. Какой, однако, урожай! Бобы, горох, огурцов без счету! — Попробуйте, дяденька, не стесняйтесь. На здоровье! — Огурчики хороши! Объядение!.. А?.. Удар!.. Что означает этот удар?

Удар исходил от здоровенного мужика, который схватил меня сзади и основательно намекнул на то, что лазить по чужим огородам неприлично. Удар означал, что таскать по ночам чужие огурцы не полагается. То ли от побоев, то ли от свежих огурцов, но я почти совсем протрезвился. Одно мгновение я стоял оглушенный, будто очнувшись от сна. Первым моим словом было, разумеется: «Спасите!..» Однако я тут же одумался и, решив притвориться ничего не понимающим, вежливо спросил у мужика:

— Чи не бачили, чуєш, туточки жидка с конями? Кажи-но, чоловіче!

Но тот и слушать ничего не желает, знай тащит меня за рукав, подталкивая сзади и приговаривая: «Идем, идем!..» Ничего не поделаешь, иду, отказываться неудобно: нельзя же поступать по-свински. И приходим мы, таким образом, к какому-то дому, возле которого стоит бричка, запряженная четверкой добрых коней. В окнах виден свет.

При входе в дом мужик толкает меня вперед, а сам, сняв шапку, останавливается у дверей. Поневоле снимаю шапку и я, почесываю голову и стою, ничего не понимая.

За столом сидит писаришка и пишет, скрипя пером. Перо поминутно просится в чернильницу — губы смочить, после того как его стошнит на бумаге. Писарю немало хлопот с этим пером: макая его, он каждый раз морщится и ругается. Видно, что оба, бедняги, мучаются, оба недовольны: перо — неуклюжей рукой и безобразными ошибками писаря, а писарь — омерзительными кляксами. Он нажимает — оно пачкает... Посреди комнаты стоит «красный воротник» с медными пуговицами, некое подобие человека с животом и одутловатой физиономией. Маленькие глазки его мечут молнии, а когда зрачки закатываются, видны налитые кровью белки. Он покручивает длинные усы и говорит басом, распекая двух субъектов, стоящих понурив головы близ дверей. Один из них высокий, с здоровенным бритым затылком и серебряной серьгой в левом ухе, второй — тощий, с острой бородкой, с бляхой на груди. Держа обеими руками длинную палку, он мигает глазками и ежеминутно кланяется. «Красный воротник» злится на первого, кричит: «В кандалы! В Сибирь такого старосту!..» — и второму: «Исполосую, сотский, такой-разэтакий, так-перетак!»

Стою ни жив ни мертв. Трясет меня как в лихорадке. В голове гудит, звенит в ушах. Не слышу и не вижу, что кругом творится. Я даже толком не слыхал претензий мужика, когда тот на меня жаловался. Но когда «красный воротник» обрушился на меня с грубой бранью, я сразу же пришел в себя. Перед моими глазами мелькал кулак, доносились страшные слова: вор, контрабандист, мошенник, кандалы, тюрьма, кнуты, Сибирь!.. И вдруг он добирается к моим пейсам, хватает в сердцах со стола ножницы и начисто срезает

мне один пейс! Я обливаюсь слезами, глядя на валяющийся на полу клок волос, седой стариковский пейс, росший вместе со мной с самого раннего детства, видавший вместе со мной на своем веку и радость и горе. В молодости моей мать ласкала, холила этот черный, красивый, вьющийся локон, наглядеться на него не могла. Он был украшением моего лица в лучшие годы, когда я был свеж и крепок здоровьем. Он преждевременно поседел, бедняга, от горя, но седина его не была для меня зазорной. Оба мы состарились от перенесенных мытарств, нужды, нищеты и бедствий, незаслуженной ненависти и гонений. Кому он, бедный, мешал? Кому причинили зло мои седые волосы?

Сердце мое кровью обливается, безмолвно протестует, но я молчу, не произношу ни слова. Гляжу молча, как овечка, которую стригут, а из глаз невольно текут слезы. Моя оголенная щека пылает, лицо, надо полагать, страшно изменилось. На меня, должно быть, жалко смотреть: у «красного воротника» сразу будто язык отняло, он заговорил со мной ласково, положив обе руки ко мне на плечи. Под медной пуговицей, видать, забилось человеческое сердце. Моя седина и весь мой вид свидетельствовали о моей честности, и, словно извиняясь передо мной, он набросился на приведшего меня мужика, который из-за какого-то завалящего огурца таскает старого человека; он цыкнул на него и выгнал вон. Сам он взял свою фуражку, походил по комнате, отдавая распоряжения, затем вышел на улицу. Вскоре донесся стук отъезжавшей брички.

Люди в доме сразу ожили. Писарь отшвырнул перо, посылая его ко всем чертям. Староста и сотский выпрямились, подняли головы и, махнув рукой в сто-

рону улицы, переглянулись, будто говоря: «С богом! Скатертью дорога, только бы тебя больше не видеть!..» Затем староста перевел дыхание, залез всей пятерней к себе в волосы и, тряхнув головой, проговорил: «Ну и становой!..»

Когда я рассказал им о своей беде, крестьяне посоветовали мне отправиться в корчму, что неподалеку от деревни. Там сейчас должно быть много народу, едущего с базара. Авось у них я что-нибудь узнаю. Я поднял свой пейс, спрятал его в карман, подвязал платком щеку и, пожелав спокойной ночи, ушел.

9

Корчма была осаждена подводами и телегами, частью пустыми, с оставшейся на дне соломой, частью — груженными всякими вещами, то ли непроданными, то ли купленными на базаре. На одной телеге лежала в мешке свинья. Она высунула рыло из дыры и оглушительно визжала. К задку воза, доверху нагруженного новыми лопатами, глиняными горшками, плошками и корчагами, привязана была пятнистая однорогая корова, изо всех сил рвавшаяся с привязи,— ей хотелось поскорее вернуться к своим подружкам в хлев с доброй вестью: ничего, мол, от меня еще не избавились; опять, слава коровьему богу, свиделись!.. Пара седых, широкопузых ладных волов стояла, запряженная в ярмо, и сосредоточенно и безостановочно с аппетитом жевала жвачку. Можно было подумать, что они с головой ушли в чрезвычайно важное дело и своими воловьими мозгами хотят додуматься до чего-то очень умного. Арендаторова

коза забралась тем временем на воз. Она то и дело совала голову в какой-то мешок, набивала себе полон рот и фыркала, помахивая хвостом. Озираясь по сторонам, она быстро жевала, поводила мордой и трясла бородой. Старая, изможденная дворняга с перебитой ногой и колтуном на кончике хвоста, оставшаяся на старости лет без службы и живущая подаянием, приблизившись к возу, почтительно посмотрела на козу, сделала еще несколько шагов, повела носом... Затем, отыскав высохшую, обглоданную кость, убежала со своей находкой в сторонку и, растянувшись на земле, принялась грызть, положив при этом голову набок, на передние лапы. Лошаденке, запряженной в один из возов, надоело стоять без дела на одном месте, дремать, качать головой и прясть ушами. Она вздумала нанести визит паре волов, отводивших душу над мешком половы, и напроситься в гости на ужин. Но на ходу ее телега задела колесо другого воза и чуть не опрокинула его. Другая лошадь, выскочив из оглобель, наступила на ногу третьей. Та встала на дыбы и заржала. Перепуганная коза торопливо соскочила с воза, наступила дворняге на хвост, и пес, ковыляя на трех ногах, стал поспешно удирать, оглашая двор неистовым визгом.

С большим трудом пробиваюсь сквозь строй возов и пристально смотрю по сторонам, нет ли здесь моей пропажи. Направляюсь в корчму.

Все, что происходит в корчме, я воспринимаю не сразу, а постепенно. Первое угощение получает мой нос. Уже на пороге меня встречает пронзительный и сложный смрад водки, махорки и человеческого пота. Когда нос гулко отчихался в ответ, наступает очередь ушей. Смешанный гул голосов — тонких, грубых,

осипших, скрипучих и хриплых — врывается в уши оглушающим скрежетом. Когда нос и уши получили свое, за работу принялись мои бедные глаза. После долгого блуждания в полумраке, среди густой толпы слившихся в одну массу людей, глаза понемногу начинают различать сальную свечку в глиняном подсвечнике, стоящем вдалеке на длинном деревянном столе. Свеча горит режущим глаза красным огнем в нимбе подобных радуге желто-зелено-сине-серых кругов горячего пара и облаков дыма, лениво расползающихся по всему помещению. Постепенно из тусклого тумана выплывают носы, бороды, бородки, чубы, лица и физиономии мужчин и женщин. Выплывают кучки людей. Часть еще держится на ногах,— они выпили всего лишь четыре-пять рюмок. Двое пьянчуг в сторонке обнимаются и от полноты чувств ругают друг друга самыми отборными словами. Возле них стоит баба, босая, в короткой юбке и вышитой рубахе с глубоким вырезом, любуется ими и, ласково похлопывая то одного, то другого по спине, приговаривает: «Хватит! Домой! Домой!» Но пьяная пара еще больше тает от взаимной любви, еще крепче обнимается и валится на пол. В другом углу на длинных лавках за выпивкой и закуской сидят два крепких мужика, пьют на пару и оба уже, что называется, под мухой. Еще один, страстный любитель спиртного, здешний завсегдатай, попыхивая трубочкой, кланяется издали то сидящей за столом паре, то еще кому-то и произносит: «Ваше здоровьице!» — хотя никто на него и не оглядывается. Наконец из полумрака вырисовывается фигура женщины, подвижной, расторопной, в потрепанной смушковой шубейке с неким подобием платка на голове... Это жена шинка-

ря собственной персоной. Она хлопочет среди бочонков, бутылей, стопок и рюмок, связок баранок, вареных яиц, вяленой рыбы и жестких кусков печенки. Рот у нее ни на минуту не закрывается, руки все время в движении: она толкует, говорит с каждым в отдельности, подает и принимает — либо наличные деньги, либо залоги, записывает мелком на счета своих клиентов черточки и кружочки.

Брожу, как чужой, среди всего этого народа, пытаюсь заговорить с одним, с другим, но толку мало... Как Алтер говорит: словом, короче говоря, ничего не выходит...

Между тем толпа в корчме редеет. Народ понемногу разъезжается. Подхожу к хозяйке, держа свой кнут под мышкой, на виду. Делаю я это с умыслом, из высших соображений: корчмарки, знаю я, любят извозчиков, подкупают их водкой, закуской и еще кое-чем, чтобы те заезжали к ним с пассажирами. Кнут сослужил службу и здесь: он снискал мне благорасположение хозяйки. Между нами завязался разговор:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер!

— Где ваш муж?

— А на что вам мой муж?

— Так, вообще...

— А может быть, я пригожусь?

— Ну, что ж, пожалуй!

Слово за слово,— разговорились. Рассказываю ей, какая беда стряслась со мной, в какое тяжелое положение я попал. Она сочувственно вздыхает. Подперев голову рукой и положив два пальца на щеку, она то и дело приговаривает:

— Вот так история! Скажите на милость!..

И снова вздыхает. Я рассказываю подробно, кто я такой, как меня зовут, чем я торгую, а она, в свою очередь, говорит без умолку, выкладывает всю подноготную, жалуется на мужа-ротозея, рассказывает о детях, о заработках... Между нами устанавливается близкое знакомство. Выясняется, что мы даже дальние родственники! Ее зовут Хае-Трайна — по имени моей какой-то троюродной тетки со стороны бабушки. Радость, восторг! Она расспрашивает меня о моей жене, о детях, о каждом в отдельности. А тем временем приходит ее муж, и Хае-Трайна единым духом сообщает ему радостную весть:

— У нас гость! Дорогой гость! Реб Менделе Мойхер-Сфорим! Мой родственник!..

И тут же, упершись в бока, гордо заявляет:

— А ты думал — я в хлеву родилась? Ничего, авось и мы не хуже других! Можешь гордиться моей родней!

«Бог ты мой! — думаю я.— Пусть так. Саул искал ослов — и обрел царство [1], я ищу лошадей — и нашел Хае-Трайну!..»

Муж Хае-Трайны — человек с длинным носом, с редкой льняной бородкой и такими же пейсами и бровями. Когда молчит, он жует язык, а прежде чем вымолвить слово, облизывается так, что, глядя на него, начинаешь понимать, что значит «шляпа»... Приветствуя меня, он бормочет что-то невнятное, и по всему его поведению я сразу же вижу, что он у жены под башмаком и дрожит перед ней как в лихорадке. Впо-

---

[1] Библейское выражение о Сауле, который в поисках ослиц обрел титул царя.

следствии выяснилось, что соседи его прозвали: «Хаим-Хона Хае-Трайнин», а ее самое зовут «Хае-Трайна-казак».

— Где это ты пропадал до сих пор? — берет мужа в работу Хае-Трайна.— Куда это тебя, растяпу, черти носят? Слыханное ли дело? Бросил дом, хозяйство, и хоть бы что... Ничего, ничего, реб Менделе свой человек, при нем можно говорить откровенно. Что ты за растяпа, наказанье ты божье! Полюбуйтесь на него! Стоит как истукан и язык жует...

— Ведь ты же... сама же... ты меня... меня к Гавриле посылала за мешком картошки... меня посылала! — оправдывается Хаим-Хона, предварительно облизнувшись.

— А учитель, этот хваленый учитель, хвор был мешок картошки притащить? Ест он небось за десятерых!

— Так ведь учитель-то... учитель пошел отводить пеструю корову с теленком... в поле отводить!.. — объясняет Хаим-Хона.

— Ты уж помолчи лучше, знай жуй свой язык! — отвечает Хае-Трайна, сердито глядя на мужа. Затем она обращается ко мне с жалобой: сколько ей, бедной, приходится терпеть от всех! Не будь ее, весь дом пошел бы прахом... При этом она то и дело повторяет: «Ничего, с вами можно говорить, как с отцом родным, ведь вы свой человек, реб Менделе!»

Я стараюсь примирить супругов и облегчить участь мужа. Ради установления мира я даже привираю, обвиняю вообще всех мужей и себя в том числе, и льщу, превозношу до небес всех жен, а в особенности Хае-Трайну. Без них, упаси бог, весь мир полетел бы кувырком... Хае-Трайна смягчается.

— Дай вам бог здоровья, реб Менделе! — говорит она с сияющим лицом и тут же обращается к мужу, на сей раз по-хорошему: — Хватит тебе язык жевать! Возьмись-ка лучше, Хаим-Хона, вытри рюмки и тарелки, из которых мужичье жрало. Реб Менделе, наверное, сильно проголодался,— говорит она мне, поднимаясь с места.— Я сужу по себе. В базарные дни мы всегда запаздываем с ужином. Все, слава богу, некогда. Пойдемте,— милости просим к нам в дом!

Прямо из шинка попадаешь в темную комнатушку, откуда одна дверь ведет в такую же комнату, а другая — налево — в просторное помещение с низким потолком, земляным полом и маленькими окошками. Стекла в окнах частью потрескались, частью составлены из кусочков, а частью и вовсе выбиты. Лишь кое-где в уголочке торчит, словно единственный зуб у старухи, застрявший осколок стекла, который при малейшем дуновении ветерка раскачивается и уныло звенит: «зим-зим-зим»... В углу, что к улице, стоит стол, возле него по стенам длинные, узкие, некрашеные скамьи. В другом углу — кровать со множеством перин и подушек: больших, средних, маленьких, крошечных, высящихся пирамидой до самого потолка. Вдоль печи тянется широкая лавка, по ночам служащая кроватью.

По стенам развешаны картины, покрытые паутиной, засиженные мухами и тараканами. Из-под густого слоя грязи проступают какие-то смутные блики. «Восток» [1], разукрашенный кроликами и какими-то

---

[1] «Восток» — картина с надписью «Мизрох» («Восток»). Верующие евреи вешают ее на восточной стене, к которой обращают лицо во время молитвы.

причудливыми зверьками — полукозами-полуоленями, полульвами-полуослами, полулеопардами-полудраконами. Высокий Аман [1], одетый унтер-офицером, висит на виселице, едва доходящей ему до плеча, так что, пожалуй, скорее виселица болтается на нем. Рядом стоит торжествующий Мордухай [2] в раввинской шапке, в атласном кафтане с пояском, в кацавейке, в туфлях и чулках, с пейсами,— настоящий Мондруш [3]. Его окружают бородатые и носатые личности с бокалами в руках, провозглашающие: «Лехаим, реб Мордхе!» Жену Амана, Зереш, мухи так разделали, что от нее осталось лишь полголовы и небольшая часть бюста. Наполеон, бедняга, тоже попал в еврейские руки. Горе ему! Как он, несчастный, выглядит! По одну сторону от него висит изображение жены Потифара, отвратительной мегеры с распутной улыбкой, хватающей за полы Иосифа Прекрасного, а с другой — замызганное, сильно наклоненное вперед зеркало, из-за которого торчит высохшая пальмовая ветвь и голые ивовые прутья.

В комнате толчется плотная, дебелая девка с пухлыми, как сдобные булки, щеками. На голове у нее очень мало волос, а позади болтаются две косички. Локти у нее плотно прижаты к бокам, а руки выставлены вперед, точно оглобли, между которыми она двигается, скользит, не поднимая ног, головой вперед. Двигается она быстро, неся в руках скатерть, тарелки, и накрывает на стол.

Хае-Трайна шепнула ей что-то на ухо, и девица,

---

[1] Аман — персонаж библейской книги «Есфирь».
[2] Мордухай — персонаж из той же книги.
[3] Мондруш — клоун в народных представлениях.

повернув оглобли, устремила голову вперед, затем засеменила ножками и тотчас же исчезла из комнаты. В уголочке о чем-то спорили четверо девочек и мальчиков,— они ссорились из-за щенка, который истошно визжал, и не обращали никакого внимания на то, что происходит в комнате. Хае-Трайна неожиданно налетела на них, втихомолку угостила одного щипком, другого пинком, затем взяла щенка и вышвырнула его из комнаты. Ребята ткнули друг другу кукиш под нос и разбежались по углам. Вскоре явился Хаим-Хона с большой кринкой сметаны. Жена взяла у него сметану, а нам велела идти мыть руки.

Вдруг в комнату вбегает паренек, без кафтанчика, босой, в одном арбаканфесе и штанишках.

— Учитель поймал в хлеву воробушка! — сообщает он радостную весть.

Все ребята застывают, ошеломленные, с вытянутыми от изумления лицами. Но прежде чем они успевают опомниться, входит молодой человек с разбухшим носом и толстыми губами. Он торопливо моет руки над помойным ведром, садится за стол и засовывает в рот большой кусок хлеба. Все это он проделывает в страшной спешке, не одарив никого даже взглядом, точно опасаясь, как бы, упаси бог, не опоздать, как бы не поели без него. Тем временем в комнату возвращается та самая дебелая девица со сдобными щеками, разряженная в субботнее платье, и тоже садится за стол. Хае-Трайна, указывая на девицу, говорит мне:

— Это моя старшая дочь, Хасе-Груня.

Все принимаются за еду — сначала чинно: зачерпнут ложкой и положат ее на место; вскоре, однако, наступает оживление: десять ложек деловито оруду-

ют в общей миске и быстро направляются в десять ртов, хлебающих каждый на свой лад. Горячка, суматоха, все усиленно хватают: «вуф, уф, уф, вуф!» Мои новоявленные родственники все время подгоняют меня:

— Кушайте, не стесняйтесь!

А я — по своему: «ввиф-ффиф»!

Молодой человек с разбухшим носом не зевает, трудится за десятерых и добирается наконец до птицы, намалеванной на дне миски. Покончив с работой, он испускает глубокий вздох, идущий от самого нутра, выпучивает стеклянные глаза и смотрит на всех. Внезапно он приподымается, протягивает мне руку и говорит:

— Здравствуйте! Ваше лицо мне почему-то знакомо... Как вас звать?

Я называю себя. Он вскакивает от изумления.

— Реб Менделе!.. Реб Менделе Мойхер-Сфорим! Шутка ли! Кто же не знает реб Менделе! Я как-то имел честь, будучи в Глупске, купить у вас молитвенник.

— Реб Менделе — мой родственник! — с гордостью заявляет Хае-Трайна и тает от удовольствия.— А это наш учитель! — рекомендует она молодого человека и тут же обращается к пареньку, который вбежал без кафтанчика: — А ну-ка, Ешийкеле, реб Менделе проверит тебя. Не стесняйся, дядя тебя не съест.

Ешийкеле ковыряет в носу, глядит, насупившись, в сторону и, подергивая плечами, говорит:

— Я стыжуся, я стыжуся...

— Сколько лет вашему Ешийкеле? — справляюсь я.

— Моему Ешийкеле, дай ему бог здоровья,— отвечает счастливая мать,— весной исполнилось тринадцать.

— Ну, Ешийкеле,— обращаюсь я к мальчику, ласково ущипнув его за щечку,— скажи, не стесняйся, какой отдел пятикнижия читают на этой неделе?

— Говори, говори! — подгоняют мальчика со всех сторон. Но Ешийкеле уставился в одну точку и молчит.

— Б... б... б...— пытается подсказать толстогубый учитель.

— Б... бугай! — выпаливает ученик, глядя на учителя.

— Ну, «Болок» [1], «Болок»,— отвечаю я сам за ученика и снова спрашиваю: — А что велел передать Болок? [2]

Учитель лижет палец, чтобы натолкнуть мальчика на правильный ответ.

— Лизать! — вскрикивает от радости ученик.

— Кто? Кто? — подгоняет учитель, с облегчением думая, что его питомец на пути к истине.— Кто? А?

— Учитель! — громко заявляет Ешийкеле.

— Ну что за тупица! — сердится учитель.— Кто, говорил Болок, будет лизать?

— Евреи! — отвечает Ешийкеле визгливым голосом.

— Так, так, евреи...— говорю я, потрепав мальчика по щечке.— Очень хорошо, Ешийкеле, ты знаешь.

Мать наверху блаженства. Она сложила руки на

---

[1] Болок — библейское имя. Этим именем назван один из разделов пятикнижия.

[2] Согласно библейскому преданию, Болок (Валак) послал послов к Валааму и просил его проклясть евреев.

животе и радуется: благо, мол, чреву, выносившему такое сокровище! Отец жует язык и тоже доволен.

После ужина Хае-Трайна заговорила со мной о моих делах:

— Через час-другой должен приехать мой Янко с лошадьми. Тогда, реб Менделе, садитесь верхом — вы на одну лошадь, мой муж на другую — и езжайте прежде всего за повозками с товаром. Заберите их сюда, а там видно будет. А покуда что прилягте. Вот вам кровать и постель.

— Спасибо! — отвечаю я.— Но если я провалюсь в эти пуховики, вытащить меня будет нелегко. Бог знает, сколько времени я могу проспать, а время дорого. В другой раз, даст бог, когда я приеду к вам в гости с женой и детьми, тогда, видите ли, я распрощаюсь с вами со всеми и — будь что будет — надолго ринусь в бездну подушек.

— Милости просим! Милости просим! — говорит с улыбкой Хае-Трайна.— Не забудьте же,— со всеми детьми! И Яхне-Сосю с собой возьмите! Не откажите по крайней мере взять хотя бы подушечку с собой, в ту комнату.

— Спокойной ночи! — прощается она со мной.— Спите спокойно, муж вас на рассвете разбудит!

10

Сама Хае-Трайна — женщина благочестивая, добрая, но клопы у нее в доме свирепые, сущие злодеи. Они напали на меня, чуть только я улегся в боковушке на топчане, и между нами началась война. Обе стороны заупрямились и действовали энергично: они ртом,

я — руками. Они ползут, я подскакиваю; они — с претензиями: «Топчан, мол, наш, извольте не артачиться, уважаемый, давайте себя кусать!» Я вздыхаю и стиснув зубы почесываюсь изо всех сил; они кусают, я почесываюсь; они — на меня, я — на подушку; долой, ко всем чертям подушку! Треногий табурет падает, глиняный кувшин с водой летит с грохотом на пол. Тараканы бегают по полу, царапают, шуршат... Пух из разорванной подушки лезет в нос, в глаза. Топчан подо мной скрипит, трещит. Шум, тарарам! Я ошалел, растерялся, весь дрожу, ворочаюсь с боку на бок. Кусать не перестают. Воняет клопами!

Надоела мне наконец вся эта история,— надо бежать. Покидаю свое ложе и подбегаю к окошку — воздуху глотнуть и полюбоваться на божий мир.

По синему небу тихо и спокойно ходит золотая луна. Ее сияющее лицо серьезно, задумчиво. Кругом тишина... Задумчивость луны наводит на меня сладостную меланхолию, она что-то говорит моему сердцу, каждым взглядом своим томит мою душу. Луна будит во мне море чувств, в голове роятся думы, и все почему-то о себе самом. Невольно думается о горестной жизни, полной страданий, обид и оскорблений, преследований и несчастий — минувших и настоящих... Хочется приласкаться, пожаловаться луне как больное дитя — матери: «Ой, мама, больно!.. Ох, как приходится мытариться, мучиться!.. Мало того, что вечно у тебя голова кругом, что из забот не вылезаешь, так еще и другим глаза мозолишь. Мало собственных язв и ран, приходится еще терпеть невероятные муки от других. Тут еле дышишь; но и эта твоя жизнь, оказывается, кому-то в тягость. Ой, мама, как больно, как щемит сердце!

Луна, обратив ко мне свой светлый лик, смотрит по-прежнему серьезно, задумчиво, и кажется, что она меня успокаивает:

«Тише, бедное дитя мое! Успокойся! Ну, что ж поделаешь?» Еще сильнее ноет сердце, горячие слезы навертываются на глаза, склоняю голову на руку и обращаю к луне ту сторону лица, на которой срезан пейс: пусть она видит, пусть она хоть взглянет!

Нахлынувшие на меня чувства сжимают сердце, туманят мысли; глаза, полные слез, смотрят на мир с трогательной мольбой: «Помогите, сжальтесь! Больно, больно!» Так в одиночестве рыдает проснувшийся ночью больной ребенок, глядя с немой мольбой во взоре. Нет никого! Никого! Никто не слышит! Все спят. Тихо. Только собачонка стоит на улице, поджав хвост, задрав голову, и беззлобно лает на луну. Но луна идет своим путем, спокойная, задумчивая, не замечая собачьего лая...

На душе у меня становится легче. Неясное теплое чувство надежды согревает меня и утешает без слов: такое чувство испытывает человек, когда выплачет перед господом богом все свои горести. Оно делает человека мягким и податливым, безгранично добрым, готовым за каждого душу отдать, обнять и расцеловать весь мир.

А они, клопики, разве не божьи создания? Разве это их вина, что они воняют, бедные? Как же им быть, если им самой природой положено кусаться? Ведь они это делают не по злой воле, не из ненависти, а только ради пропитания: им, бедняжкам, пить хочется, насытиться чужой кровью. Ну, что ж поделаешь? Где мое не пропадало? Впервые, что ли, мне встречаться

с клопами? Да и кто же не страдает и не мучается из-за клопов?..

Отхожу от окна и, промолвив: «Тебе душу свою вверяю!» — валюсь на топчан и — ничего! — засыпаю. Снов рассказывать я не люблю. Глупости!

Встать на рассвете стоило мне больших трудов. Все тело ныло. Однако нужда заставила стремительно подняться с ложа. Жизнь еврея — в порыве. Нужда заставляет его бегать, носиться, работать, действовать. Стоит только чуть-чуть ослабнуть порыву, как еврей падает замертво. Лишь в праздники он начинает ощущать все свои боли, тогда лишь он обычно удосуживается хворать...

Нужда подняла меня с моего ложа, нужда держала на ногах, она же усадила меня верхом на лошадь, она погнала, и я двинулся в путь вместе с Хаим-Хоной, мужем Хае-Трайны. Человеку трудно лишь с места тронуться, а там только пружину нажми — все идет как по маслу, он лезет даже туда, куда не нужно, куда его и не просят. Он тогда и на стену лезет. Я сразу собрался с силами, снова стал бодрым и свежим, как ни в чем не бывало.

Недаром в народе говорят: чужая душа — потемки. Вначале я думал, что Хае-Трайна обрадовалась мне просто потому, что неожиданно нашла родственника, да еще такого, который причастен к книгам! У нас ведь сама причастность к какому-либо делу — и та уже много значит. Еврей, будь он даже почтенный обыватель, когда ему приходится иметь дело с присутственными местами, начинает со сторожа: ведь сторож как-никак имеет касательство к начальству... Еврей поговорит с ним и уходит удовлетворенный. На первый раз, думает он, хватит. Сторож — человек не-

плохой... Служку казенного еврейского училища кое-кто величает «инспектором». Еврея-письмоносца называют почтарем, чуть ли не почтмейстером. Короче говоря, как в поговорке: «И прислуга раввина может законы толковать...»

Уже за ужином, глядя на дебелую, толстощекую дочку Хае-Трайны, которой пора под венец, я почуял, что радость Хае-Трайны не беспричинна: я могу ей пригодиться, чтоб просватать дочку. Похоже даже, что она на меня самого имеет кое-какие виды. Потому, должно быть, эта девица и разоделась... Все это стало гораздо яснее после разговора с Хаим-Хоной. Когда мы с ним ехали, он почему-то чрезмерно интересовался моим сыном.

— Вот как! — говорил он.— Значит, вашему пареньку, то есть пареньку вашему, уже исполнилось тринадцать лет, и он все еще не жених! Я в его годы был уже женат, в его то есть возрасте... Моя Хае-Трайна мне по ночам спать не дает: жениха подай ей! Чего ты, кричит, лежишь колодой, разбойник! Жениха, бога ради! Девицу мою вы ведь видели, то есть дочку, она прекрасная хозяйка! Может быть, ей и вправду замуж пора, то есть выйти замуж... Как вы полагаете, реб Менделе? Ведь вы человек ученый. Пора? Жена со мной нынешней ночью говорила... Она вас очень уважает... Все приходит неожиданно. Надо же было случиться, чтобы вы попали к нам... Право, мы очень рады... Стало быть, вашему пареньку, говорите вы, уже исполнилось тринадцать лет... То есть сыну вашему...

Вот так, беседуя, мы добрались до наших кибиток. Прежде всего, я со всех сторон осмотрел свою кибитку. Слава богу, все цело. Подошел к кибитке

Алтера. Тоже как будто ничего не тронуто, все на месте. Однако, как только я взялся за полотнище, которым была покрыта кибитка, и пощупал его, меня охватила дрожь: под полотнищем что-то шевелилось... В испуге я отскочил далеко в сторону. В это время полотнище приподнялось, и я увидел перед собой сидящего на возу Алтера Якнегоза!.. На голове у него была повязка.

11

Что случилось с Алтером, где он пропадал, каким образом вернулся и почему у него оказалась повязана голова,— обо всем этом мы вскоре узнали от самого Алтера.

— Ну,— начал он,— иду это я, стало быть, за лошадьми. Ищу, ищу — нет лошадей! Ладно, думаю, видать, забрели далеко. Трава в лесу хороша, место тенистое,— почему бы им не забрести? Человек, к примеру сказать, и тот ищет, где лучше. Что ж, иду я все дальше и дальше. Однако, понимаете ли,— не видать, не слыхать. Что ты будешь делать? Невесело! Вдруг чудится мне шорох в лесу, где-то по ту сторону оврага. Недолго думая спускаюсь вниз, потом взбираюсь на другую сторону,— нет ничего! Между тем становится уже поздно, надвигается ночь... Дело скверное!.. Снова послышался мне шорох. Я опять туда — всматриваюсь, ищу,— нет ничего! Тут уж меня, понимаете ли, досада взяла: что за история такая? Однако опять слышу шорох и будто бы шаги. Вот вы где, голубчики! Чтоб вам провалиться! Ругаюсь в сердцах и пробираюсь в самую чащу. Ага, думаю, попались!..

Но — где там! Оказывается, какая-то рыжая корова, черт бы ее побрал! Отбилась, как водится, от стада и забралась в лес. Дальше что? Я даже не знаю, где нахожусь. Однако стоять на месте толку мало... Пошел скрепя сердце куда глаза глядят, и набрел на тлеющий огонек. Головни дымят, еще не совсем погасли, трава кругом вытоптана, валяются корки хлеба, яичная скорлупа, шелуха от огурцов, очистки лука и чеснока, тут же какие-то лохмотья и тряпки... Была здесь, видать, большая компания,— судя по всему, цыганский табор. Это и вовсе не весело! Народ такой, что легко мог увести наших лошадей. Вдруг доносится до меня издали какой-то голос. «Уж не зовет ли меня реб Менделе?» — приходит мне в голову, и я прибавляю шагу. Голос то пропадает, то опять слышится, и чем ближе, тем сильнее и истошнее, будто на помощь зовут! Страсти, да и только! Ничего, однако, не поделаешь. Я знай шагаю вперед. Другого выхода нет. Озираюсь лишь хорошенько по сторонам, приглядываюсь, голову свою берегу. Словом, поодаль вижу я вдруг корчму не корчму,— развалину на курьих ножках. Что-то она мне не понравилась. Спрятался я в сторонке меж ветвей. Кстати, дубинку подобрал и взял в руки, для верности, знаете... Притаился и жду,— что дальше будет. В голову лезут всякие страшные истории о разбойниках, о глупских ворах. Вдруг снова раздается крик, отчаянный, словно человек в страшной опасности. И кажется мне, что крик этот доносится из лачуги. За сердце меня взяло. Подняло с места, и не успел я опомниться, как очутился возле корчмы, даже не понимая, как я сюда попал. В голове одна только мысль: свой, свой! Мало ли что, а вдруг реб Менделе в опасности! Я ведь не знаю

даже, где нахожусь! Страшно, конечно, но раз уж так случилось, я не отступлюсь, хоть узнаю, что тут творится! Я, знаете ли, человек немножко упрямый. Словом, ступаю тихонько и чутко прислушиваюсь.

Доносится чей-то приглушенный крик. Подхожу к воротам, еле держащимся от ветхости. Шагнул в просторные сени. Иду на цыпочках, ищу, шарю в темноте,— ничего не слыхать. Достаю из кармана коробок спичек, дрожащей рукой пытаюсь зажечь огонь,— ничего не выходит: не горят! Наконец последняя спичка зажглась, и в ту же минуту я откуда-то со стороны услышал протяжный отчаянный крик. Спичка погасла, я снова брожу в темноте и вдруг на кого-то натыкаюсь. У меня волосы дыбом, не знаю, что со мной творится. К счастью, выглянула луна, и сквозь маленькое выбитое окошко в пропахшей плесенью комнатушке я увидел человека, связанного, как овца, по рукам и ногам. Он был смертельно бледен и едва дышал.

— Сам бог привел вас сюда! — промолвил несчастный.— Развяжите меня поскорей, а то мне конец приходит. Веревка врезалась в тело, а пить, пить хочется до смерти!

— Кто это вас связал? — спрашиваю я и, достав нож, разрезаю веревку.

— Пропади он пропадом! — ругается тот, расправляя члены.— Этакий разбойник, ворюга!

— Вор? — спрашиваю я, насторожившись.

— Да, да! И вор, и все что хотите! Сегодня лишь украл пару лошадей.

Я даже подскочил, услыхав это. Словом, начинаю расспрашивать, указываю приметы, и все выясняется. У того костра в лесу сидела, оказывается, целая

орава бродяг, прощелыг, а один из них прогулялся по лесу и забрал наших лошадей. Допытываюсь, по какой дороге двинулся весь табор, и решаю: немедля отправиться по их следам. Спасенный пробует меня удержать, пугает: этот черт, мол, настоящий разбойник. К тому же он не один, с ним много народу — все почти такие же, как он. Но я не могу успокоиться. Остаться без лошади? Нет, нет! Я должен их догнать! Будь что будет. Так себя обставить я не дам. Сейчас каждая минута дорога. «Оставайтесь вы тут, придите в себя, а когда я, даст бог, вернусь с лошадьми, я захвачу вас с собой, поедем вместе!» — говорю я несчастному, к которому меня как-то сразу потянуло, и, взяв, как говорится, шапку в охапку, быстро двинулся в путь.

Ветхая, заброшенная корчма стоит в лесу почти на самой опушке, в том месте, где дороги расходятся: налево — на Глупск, на Волынь, а направо — в Подолию. Сворачиваю направо. Не иду, а бегу. Зол ужасно. Вора, попадись он мне, разорвал бы, кажется, в клочки. При моих блестящих делах мне не хватает только остаться в чистом поле без лошади, без гроша в кармане. Но ничего не поделаешь! Однако ноги начинают отказывать, желудок знать ничего не хочет, требует пищи. Диво ли, после такого поста! Скверно! Меня грызет мысль: напрасный труд, зря бегу! Ведь те подлюги снялись с места гораздо раньше меня, и к тому же они едут, а я пешком иду. Единственная надежда — а вдруг попутная подвода попадется. Хорошо еще, что луна светит и кругом все видать, как средь бела дня. Словом, иду,— уже не так быстро, не с таким подъемом, как вначале, но все же иду и смотрю во все глаза. Кругом ни души. Ничего не по-

делаешь... Продолжаю путь. Уж если я, понимаете ли, взялся за какое-нибудь дело, я так не отстану. Как будто колеса тарахтят... Ко всем чертям! Точно назло, едут навстречу, в противоположную сторону. Коли не везет, так уж не везет! Обращаюсь к одному вознице, к другому... Куда там! Все пьяны как стельки. Тут я, понимаете ли, разозлился не на шутку! Прибавил шагу! Уж я далеко ушел вперед, да и время позднее. А я все еще надеюсь на попутную подводу, и действительно, кажется, будто издали какие-то подводы приближаются. Но черт бы их побрал,— снова встречные... Нет, думаю, на сей раз я этого так не оставлю! Последнее отдам, только бы подвезли меня. Подгоняю сам себя, иду решительно, но подводы вдали, как будто не двигаются с места.

Досада, понимаете ли, лопнуть можно! Но ничего не поделаешь... Словом, подошел я поближе, вижу — кибитки. «А может быть, это те самые бродяги и есть!» — мелькнула у меня мысль. Замедляю шаг, пробираюсь тихонечко и думаю, как тут быть? Вдоль дороги тянется рощица. Я — туда, спрятался за дерево, высовываю голову и разглядываю кибитки. Да! По всем признакам — они, те самые! Одна кибитка лежит опрокинутая, вокруг нее толпа: мужчины, женщины, молодежь, старики, ребятишки, оборванные, обтрепанные. Один стучит, другой гремит, третий что-то советует, четвертый клянет, ругается. Женщины визжат, ребята плачут. Шум, гомон, руготня, мордобой, стон, смех и плач — все вместе. Среди всего этого крика слышу голос: «Это все — новая коняга, чтоб она сгорела! Этакая дохлятина, всю дорогу в сторону тянула, будто назло. Вот еще напасть, чтоб ей

сдохнуть!.. Файвушкина находка, холера бы его побрала!..»

— Горлопаны, вонючки поганые, чучела соломенные, безрукие, безглазые! Ничего знать не хотите! Вам бы только жрать да дрыхать! — ругается какой-то рыжий широкоплечий верзила и грозит кулаком.

Всматриваюсь пристально и вижу: у последней кибитки в шлее стоит распряженная ваша лошадка, реб Менделе! Ее, видно, хотели было взять в работу! «Ах ты, умница моя! — обрадовался я.— Ну и натворила же ты им делов!..» Так, а где же моя коняга? Моя кляча, вижу, стоит тут же, привязана к той же кибитке. Осмотрел я свою дубинку, достал нож... Тихонько, по-кошачьи, подбираюсь к кибитке, и в то время, как вся орава занята осью, я перерезаю веревку, сажусь верхом и, не промолвив ни слова на прощание, уезжаю с обеими лошадьми.

Как будто недурно? Должно же было, однако, случиться так, что кто-то из этой оравы, черт бы его побрал, заметил меня и поднял гвалт. Началась суматоха. Рыжий верзила, вижу, сорвался с места и бежит за мной,— вот-вот догонит. Я настегиваю, подгоняю лошадей, а они на сей раз не заставляют себя упрашивать и бегут изо всех сил. Рыжий начал уже отставать. Но в эту минуту мою клячу угораздило запутаться в шлеях вашей лошади, которые я второпях забыл снять. Кляча упала. Задержка, стало быть! Тут рыжий дьявол налетел и зверем накинулся на меня. Боремся мы с ним, молча, онемев от злобы. Хотим друг друга повалить и падаем оба, сжимая один другого так, что кости хрустят. Короче говоря, работаем усердно: то я наверху и нажимаю на рыжего так, что из него чуть не дух вон, то, наоборот, он

наверху, а я под ним. Ну, ничего! Я, понимаете ли, как тресну его под микитки, а потом в пах! Он подскакивает и валится как мертвый. Но чепуха! Это одно притворство! Отпустил я его, а ему только того и нужно было. Повозился он и вытащил нож. «Эге! — говорю.— Вот ты каков!» И хлоп его по руке, да так, что нож вывалился и отлетел далеко. Тогда он собрался с силами, прыгнул на меня, как кошка, царапает мне шею, того и гляди в горло вцепится... Но тут послышался вдруг колокольчик. Это его испугало. Ведь он как-никак вор.

— Ваше счастье! — рычит он.— Так вот же вам на память!

Трахнул меня по голове и исчез. Я тут же встал, опять сел на лошадь и поехал своей дорогой. Потом только я почувствовал боль. Пощупал — шишка на лбу! Но — наплевать! Я своего добился: лошадки, понимаете ли, у меня!

— Благодарите бога, что так обошлось! — говорю я и от радости обнимаю Алтера.

— Ничего! — отвечает Алтер.— Пусть и этот рыжий благодарит бога за то, что я целые сутки не ел и очень устал. А все-таки наши лошадки здесь.

— Где они, наши орлы? — спрашиваю я, озираясь по сторонам.

— Погодите, реб Менделе! — отвечает Алтер.— Человек, с которым я вернулся, повел их на водопой. Тут внизу есть речушка и хорошая трава. Не беспокойтесь. Он хорошо присмотрит за ними. Я тоже пришел недавно. Разбитый, усталый, бросился в кибитку, накрылся пологом, хотел вздремнуть. Но только глаза закрыл, вы пришли, реб Менделе. И слава бо-

гу, что видимся в добром здравии. А вы почему повязаны, реб Менделе? Зубы, что ли?

— Вы, реб Алтер, говорю я,— пришли с повязанной головой, с шишкой на лбу, а я с повязанной щекой, без пейса; вы с человеком, которого спасли, а я с Хаим-Хоной, мужем Хае-Трайны! — вторично рекомендую я своего спутника, на сей раз со всем его титулом.

Алтер уставился вопросительно.

— Как? — изумился я.— Вы не знаете Хае-Трайны?

— Ну, ладно! — удивленно отвечает Алтер. — Пусть будет Хае-Трайна. Но какое отношение это имеет к вашему пейсу?

— Родственница, моя жена приходится родственницей! — простодушно замечает Хаим-Хона.

В то время как мы беседуем, сидя на травке, издали показываются наши кони. Они идут вприпрыжку, будто бегут. И кажется мне, что со вчерашнего дня вид у них стал совсем иной. Они гордо задирают головы, словно говоря: «Смеяться можешь, сколько тебе угодно, а ведь и на нас охотник нашелся... Ничего! Хоть и нога перевязана, и глаз течет, а все-таки, когда надо ходить в упряжке, мы ходим, и ось, когда требуется, мы ломать умеем не хуже других. Вся беда наша в том, что мы — еврейские лошади. Вы, уважаемые, только обещаете кормить нас, а на самом деле голодом морите». Когда моя коняга приближается ко мне, я ласково треплю ее по морде: «Ишь, озорница!..»

Следом за лошадьми появляется и новый знакомый Алтера. Увидав его, я от удивления всплескиваю руками и кричу:

— Фишка! Вот легок на помине!

— Тот самый Фишка? О котором вы мне рассказывали? — спрашивает Алтер, очень удивленный.

— Да, тот самый, что в бане служил! Ну, здравствуй, Фишка!

— Я вас, реб Менделе, тоже узнал! — говорит Фишка, отвечая на приветствие.

— Вашему Фишке надо спасибо сказать! — говорит Алтер, обращаясь ко мне.— Если бы не он, не видать бы нам лошадей как ушей своих!

— Если бы не реб Алтѐр,— отвечает Фишка, тоже обращаясь ко мне,— Фишке был бы капут!

— Слыхал, слыхал! — говорю я.— Скажи-ка лучше, Фишка, откуда ты взялся?

— Это длинная история! — отвечает он, глядя куда-то в сторону.

С минуту разглядываю Фишку. Он, бедный, раздет, разут. Ноги у него распухли, окровавлены, загорел от солнца и тощ как палка — кожа да кости. Больно глядеть на него. Немало горя, видно, пришлось ему пережить. Я беру его за руку и говорю:

— Твою историю, Фишка, мы послушаем немного погодя. Времени впереди еще много. А сейчас отдохни вместе с нами.

12

Какому-нибудь сочинителю с лихвой хватило бы материала для красочного описания всех нас в то замечательное утро. Материалом могли бы послужить четыре пожилых еврея, возлежащих в вольных позах на зеленой травке и молча наслаждающихся природой: солнцем с его лучами, небом, капельками росы,

певчими птичками, лошадками,— одно другого краше. Ко всему этому он мог бы кое-что добавить и от себя: стадо овец, пасущихся на лужайке, прозрачный ручеек, из которого «томимые зноем олени утоляют жажду». Он мог бы снабдить нас свирелями, на которых мы, подобно пастухам, играли бы хвалебный гимн — в честь возлюбленной невесты из «Песни песней». Торбы у нас, благодарение богу, собственные, в чужих не нуждаемся. Пусть сочинитель носится со своей. Однако хватит! Дальше просят не соваться! Влезать ко мне в душу, пичкать меня вашими остротами и сомнительными рассуждениями — это, знаете ли, не про вас. Поищите кого-нибудь другого... Свои мысли я предпочитаю излагать сам.

Попросту говоря, лежу я в компании, смотрю вокруг широко раскрытыми глазами и испытываю огромное удовольствие. От чего? Так, вообще. Хорошо на душе, без всякой причины. Напеваю я не с целью дать концерт или развить свой голос, а просто так: трим-брим, брим-трим... Так обычно напевает еврей — без слов, без дум,— когда забота о хлебе насущном на минутку оставляет его. Так обычно напевают евреи — каждый про себя и каждый на свой лад, когда они в праздничный день гуляют компанией, или в субботу после обеда, когда облачаются в халаты и теребят при этом — кто шнурок, кто бородку, или закладывают руки за спину.

Хаим-Хона тоже напевает с блаженным выражением лица. Затем он неожиданно встает, забирает свою бородку в кулак и, облизавшись, обращается ко мне:

— Ну, реб Менделе, я думаю, уже пора ехать. А?

— Вы уже хотите ехать домой? — спрашиваю я и тоже поднимаюсь.— Ну, что ж, счастливого пути!

— Что значит? — недоумевает Хаим-Хона.— А вы, реб Менделе, вы разве со мной не поедете? Ведь мы же говорили, мы же...

— Как же я могу? — отвечаю я, указывая на своих спутников.

— Милости просим! Пожалуйста! — говорит Хаим-Хона.— Пускай и они едут с нами. Моя Хае-Трайна готовит сегодня вареники. На всех хватит еды, то есть вареников.

— Очень вам благодарен! — отвечаю я с поклоном.— Некогда! Надо и о заработке думать. Передайте вашей жене мой сердечный привет.

— Господь с вами, реб Менделе! Моя жена меня уб...— Хаим-Хона хотел сказать «убьет», но спохватился и, смутившись, закончил: — без вас меня моя жена в дом не пустит! Она сегодня ночью обсудила со мной это дело... Понимаете? Ведь она вас ждет... И моя Хасе-Груня тоже... Вы понимаете?

— Понимаю, понимаю. Нужно, однако, набраться терпения. Моя жена меня тоже уб... то есть в дом не пустит, хочу я сказать, если я с ней не обсужу этого дела. Вы меня понимаете? Что поделаешь, реб Хаим-Хона!

Хаим-Хона стоял как побитый. Видно было, что он страдает. Он даже в лице переменился.

— Сделайте мне одолжение, поедемте! — стал он умолять меня.— А если не можете, дайте хотя бы письмецо к Хае-Трайне. В письменном виде, а то она мне не поверит. Она будет обвинять меня, говорить, что я разиня, шляпа... Она... Она... Вы меня понимаете? Напишите несколько слов, учитель ей прочтет. Прошу вас!

Ничего не поделаешь,— надо спасать человека. Хотя такой муж и стоит того, чтоб ему влетело как следует, но пусть ему попадет не из-за меня. Достаю котомку, беру карандаш, вырываю из молитвенника первый чистый лист и, прислонившись к облучку кибитки, пишу:

«Моей именитой, почтенной родственнице, благочестивой Хае-Трайне, да живет и здравствует она, аминь!

Довожу до вашего сведения, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии. Да не отвратит господь бог милости своей от нас и в дальнейшем и сподобит нас в ближайшем будущем слышать друг о друге радостные вести. Дай бог жить в довольстве, богатстве и чести, в добром настроении духа и ныне и во веки веков. Аминь! Вашим деткам, да будут они долговечны, я шлю сердечный привет, особенно дочери вашей, невесте, девице Хасе-Груне, прошу обязательно передать мой сердечный привет.

Затем извещаю вас о том, что товар я, слава всевышнему, нашел в целости вместе с кибитками на своем месте. И во-вторых, сообщаю, что лошади нашлись. Реб Алтер Якнегоз вызволил их из воровских рук. Все это, конечно, только благодаря заслугам наших предков. Воистину великие чудеса свершились. Мы даже недостойны столь щедрых милостей господних. Ваш супруг, да сияет светоч его, расскажет вам обо всем подробно. Это достойно записи в летописях.

Прошу у вас извинения, Хае-Трайна, как у родной матери, за то, что беру на себя смелость защищать вашего супруга. Он, бедный, в большом страхе и крайне огорчен оттого, что я нынче не еду к вам, как было

условлено. Пощадите его, пусть он, бедняга, не пострадает и не понесет наказания за то, что я не сдержал своего слова и не могу, как мы предполагали, приехать к вам сегодня. Вашего мужа, право же, от души жаль! Он всячески умолял меня, делал со своей стороны все возможное, расхваливал вас и особенно дочь вашу, невесту, которой я сердечно кланяюсь. Словом, он сделал все, что полагается делать преданному отцу... Вы меня понимаете? И, опять-таки, понимаете ли вы меня? Он даже соблазнял меня варениками и иными вкусными вещами. Но забота о хлебе насущном превыше всего. Приходится ради этого отказываться даже от вареников. Кроме того, ведь и у меня есть супруга. Понимаете? Вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду... В таких делах, знаете ли... Что значит муж без жены? Уповаю на всевышнего,— мы еще обязательно увидимся и на радостях, даст бог, покушаем у вас вареников, а может быть, и выпьем за счастье... Понимаете? А пока пусть ваш супруг не пострадает. Жаль его!.. Посылаю вам с вашим мужем подарок: «Новую молитву о хлебе насущном», «Молитву при освящении свечей и нового месяца», «Молитву праматерей Сарры, Ревекки, Рахили и Лии» [1], «Совершенно новую молитву на канун Судного дня» и еще посылаю вам «Чистый источник» [2], книгу, которую должна хорошо знать каждая женщина, дабы соблюдать все изложенные в ней предписания и правила. Это вам доставит большое удовольствие. И дочь ваша, невеста, тоже будет необычайно рада этой книге.

---

[1] Библейские мифические праматери.

[2] «Чистый источник» — сборник религиозных предписаний и правил для женщин.

Хае-Трайна! У меня к вам просьба. Когда клопы, принадлежащие вашей милости, вчера, не нынче будь помянуто, терзали меня, я снял свои бреславльские шерстяные чулки и второпях оставил их на топчане. Разыщите их, пожалуйста, и пусть ваш супруг пользуется ими на здоровье. Это будет подарок ему от меня. Будьте здоровы и еще раз кланяйтесь вашим милым деткам, а также вашей дочери-невесте — особенно сердечно. Не забудьте, ради бога, о вашем супруге! У него очень угнетенное состояние. Мой кнут, который я забыл у вас в комнатушке, я дарю учителю. Он ему пригодится... Кланяюсь вам и вашим деткам, каждому в отдельности, а также вашей дочери, особенно. Смиренный Менделе Мойхер-Сфорим».

Когда я прочел это письмо мужу Хае-Трайны, он был счастлив и пришел в восторг от замечательного языка, каким оно написано. При каждом слове он хлопал себя по лбу и изумлялся: как может человек так писать? При этом он повторял: «Ах, какой язык! Чистый мед, честное слово!..»

Мы тепло распрощались, и он с легким сердцем уехал.

13

И я и Алтер чувствовали себя очень усталыми и разбитыми после вчерашней ночи. Мы решили поэтому вздремнуть часок-другой, а потом со свежими силами продолжать наш путь уже до самой ночи. Фишка взял на себя присмотреть за лошадьми и приготовить кое-что на обед.

— Я ночью спал,— заявил он,— ночью после происшедшей со мной истории заснул, как после ба-

ни. Реб Алтеру, когда он вернулся, нелегко было меня добудиться.

Алтер, по моей просьбе, кладет голову ко мне на колени, и я лезвием ножа придавливаю шишку у него на лбу. Потом мы зеваем, расправляем свои косточки и укладываемся в тени под деревом.

Если бы не солнце, посылавшее из своего шатра огненные обжигающие лучи, мы могли бы проспать далеко за полдень. Раскрыв глаза, мы увидели неподалеку от нас веселый огонек, на котором варился в горшочке картофель, приправленный луком и сухой колбасой. Мы выпили по рюмочке и с аппетитом принялись за еду.

Расхваливаем поварские таланты Фишки. Картошка вкусная,— сам царь мог бы есть такую картошку! Фишка доволен и приговаривает:

— Кушайте на здоровье! Приятного аппетита!

— Где это ты, Фишка, раздобыл сухую колбасу? — спрашиваем мы.— Из нашей картошки и лука могла бы получиться только «рыбная» картошка.

— Где я раздобыл колбасу? — отвечает Фишка.— У себя в торбе. Мне случайно удалось припрятать свою торбу от этого злодея, черти бы его побрали!

— Расскажи, Фишка,— просим мы его,— что с тобой произошло?

— Эт! — произносит он со вздохом.— Долго рассказывать. Очень длинная история.

— День еще велик, времени у нас, слава богу, хватит. Можно слушать. Давайте запрягать! — обращаюсь я к Алтеру.— Поедем, а Фишка нам по дороге будет рассказывать.

Когда повозки наши были уже готовы, я пригласил всех к себе в кибитку. Но Алтер уговорил нас

сесть к нему. «У меня,— сказал он,— свободнее, не так много товару». Я пошел на уступки: мы сначала посидим немного у него, а потом у меня.

В КИБИТКЕ У АЛТЕРА ЯКНЕГОЗА

— Ну, Фишка! Давай! Выкладывай! — просим мы его, как только уселись в кибитке и добились от наших лошадок, чтобы они тронулись с места. Но Фишка мнется, сидит опустив глаза и хрустит пальцами.

— Не знаю, право... неловко как-то... Ни с того ни с сего — вдруг рассказывать! Не умею я. Неудобно, право...

Я подбадриваю Фишку. Алтер, со своей стороны, уговаривает его:

— Глупенький, трудно только начать. Стоит сказать первое слово, а там пойдет как по маслу. Я по себе знаю. Что тут особенного? Сам потом увидишь, что это пустяки... Словом, Фишка, женился ты, понимаешь ли, на слепой сироте. Ну, ладно, это мы уже знаем. Короче говоря, что же дальше?

— Дальше? Черт бы ее батьке и его прабатьке! — в сердцах выпаливает Фишка.— Сыграли они со мной шутку!..

— Ну, ну, ну! — подгоняем мы замолчавшего Фишку. Фишка снова раскрывает рот и начинает уже несколько спокойнее:

— Ох, и женушка!.. После свадьбы мы совсем неплохо жили. Как порядочной чете жить полагается. В долгу перед своей женой я как будто не оставался. Честное слово, отсохни мой язык, если вру! Ежедневно по утрам я, как полагается, отводил ее на место возле старого кладбища, где она обычно сидела на

соломе и просила милостыню, причитая таким жалобным голосом, что всех за душу хватало. Несколько раз в день я приносил ей туда то горшочек супа, то горячую пышку, то соленый огурчик, то яблочко. На, мол, подкрепляйся! Человек сидит все время на одном месте, хлеб зарабатывает! Не раз, бывало, я просто так приходил проведать ее, посмотреть, как она себя чувствует, а заодно и помочь ей справиться с выручкой: дать одному-другому сдачи с трех грошей, с алтына; напомнить ей о старых долгах, причитающихся с горожан, которые, проходя мимо, не расплатились тут же наличными, а пообещали отдать в другой раз; отогнать козу или корову, которым вздумалось, гуляя по улицам, выхватить из-под сидения клок соломы. Перед осенними праздниками я водил ее за город, на кладбище, на большую ярмарку. Там она обделывала свои дела не хуже всякого рода служек, канторов, причетчиц, почтенных попрошаек, псаломщиков, благодетельниц, могильщиц, плакальщиц и иных слуг боговых. И доилась коровка, родные мои! На жизнь, что и говорить, хватало! Но когда человеку хорошо, ему хочется лучшего; когда имеешь хлеб, хочется пирога.

— Знаешь, что? — стала поговаривать моя жена.— Такие люди, как мы с тобой, такая пара, уверяю тебя, нигде на свете не пропадет. В нашей профессии изъяны — не изъяны, а достоинства. Другие на нашем месте зарабатывали бы большие деньги. Мы с тобой разини и не делаем того, что нужно. Послушайся меня, я чуть постарше и опытнее тебя. Возьми-ка, Фишка, выведи меня в божий мир, в новые места, и ты увидишь,— попомни мое слово! — будем в золоте ходить. Здесь уже почитай и делать-то нечего. Проси-

дишь иной раз невесть сколько времени, пока кто-нибудь сжалится и подаст грош. Чего только люди не рассказывают об успехах холерного жениха Лекиша и жены его Переле! Они сразу же после свадьбы уехали, и везет им, не сглазить бы, с тех самых пор! Мотл-попрошайка встретился с ними в Кишиневе, когда они ходили побираться. Торбы у них, рассказывает он, полны всякого добра: кусков булки, побольше, чем те, что у нас по субботам дают дворнику, мамалыги, копченой баранины, колбасы, жира. Переле сияет как ясное солнышко. Загляденье, да и только! Разжирела, раздалась вширь, с двойным подбородком, графиня — да и только! Глупска она и знать не хочет! А люди, приезжающие из Одессы, надивиться не могут счастью другого холерного жениха — Ионтла. Они видели, как он передвигается на сидении от магазина к магазину. Господь бог помогает ему. Он недурно зарабатывает. Люди на него глядят не наглядятся. В Одессе, говорят, калек достаточно: со всех концов света туда добираются убогие, к ним уже привыкли. Но куда им до глупских! Каких поставляет Глупск, даже Англия не в силах поставлять. Глупск, говорят люди, славится на весь мир. На глупского калеку бегут любоваться, как на чудище заморское... Право, и нас бог не оставит. Давай, пока лето не прошло, двинемся в путь. Не медли! Дня и того жалко.

Разохотила меня жена, и мы пустились в путь.

Что вам сказать, уважаемые? Грех жаловаться,— дела у нас шли очень хорошо. В какую бы деревню, в какой бы город мы ни приходили,— всюду мы были в чести. Каждый обращал на нас внимание, никто не отказывал. Всякая богадельня бывала для нас откры-

та, домов сколько душе угодно,— знай ходи и бери — и в карман, и за пазуху, и в торбу! Синагогальный служка брал с нас несколько грошей и за это направлял нас на субботнюю трапезу всегда вместе в один двор. Жена учила меня ниществовать. Я в этом деле был еще новичок и не знал как следует всех правил хождения по миру. А она мастерица: знала все тонкости. Она меня учила, как надо входить в дом, как притворно стонать, кашлять, какую при этом корчить жалостную мину; где просить, а где и требовать милостыню, торговаться, приставать, настаивать... Когда благодарить, а когда и поносить, ругать, проклинать. Думаете, это так просто — ходить по миру? Нет! Это целая наука. У евреев, чтобы разбогатеть, нужно только счастье. Наглость, бесстыдство и другие качества приходят потом сами собой. Но для того, чтобы стать еврейским нищим, по-настоящему нищим, одного счастья мало. Нужно знать еще много вещей, необходимых для дела. Нужно уметь притворяться, влезать в душу, так чтобы тот хоть лопни, а вынужден был подать милостыню.

Мы с женой были нищими-пешеходами. Вы, я вижу, дорогие мои, смотрите на меня с большим удивлением; вам непонятно, что это значит? Разрешите, я вам объясню. Уж если я начал рассказывать, то постараюсь растолковать, как умею, вам и это.

Нищие, как солдаты, делятся на пеших... Погодите-ка, тут ужасная путаница: сотни различных видов, трудных прозвищ. Черт их, в общем, знает! Нищих — что мусору... Есть и такие и этакие: бедняки, нищие, убогие, неимущие, побируши, бездельники, попрошайки, местные лизоблюды... Без числа, без счета!.. Погодите, дайте-ка мне подумать.

Однако и размышления Фишки ни к чему не привели. Он запутался в огромных полчищах нищих и никак не мог выбраться. Из его слов я понял, что нищие всех видов делятся у нас на следующие категории: пеших, или нищих-пешеходов, скитающихся пешком, и конницу, или нищих, кочующих в кибитках. Кроме того, они еще подразделяются на виды: городские нищие, то есть такие, которые родились в каком-либо городе, обычно где-нибудь на Литве, и полевые нищие, которые родились в поле, в кибитке. Их предки испокон веков кочуют. Это еврейские цыгане. Они вечно скитаются по белу свету, рождаются, растут, женятся, плодятся и умирают в пути. Это люди, свободные от всего — от налогов, коробочного сбора и тому подобного, от молитвы и от всех вообще предписаний еврейской религии. Они никому не подчиняются. К разделу городских нищих относятся просто нищие: мужчины, женщины, девицы и парни, которые ходят с сумой по миру в начальные дни месяца и просто в будни и собирают гроши или куски хлеба. Большая часть подростков из этой категории бегает по улицам и пристает к прохожим так назойливо, что поневоле подашь им милостыню, лишь бы отделаться. Далее следуют нищие, промышляющие божьим именем. Это попрошайки, бездельники, ютящиеся в каждой молельне. Они читают псалтырь и поминальную молитву над покойниками, на кладбищах и в годовщину смерти. К ним можно присовокупить и часть синагогального причта. К городским относятся также *нищенствующие во имя священного писания и ради благодеяний*. Это отшельники, покидающие жен и детей, забирающиеся куда-нибудь на чужбину, в молельню, *изучающие талмуд* и живущие на обществен-

ный счет. Ешиботники, которые околачиваются без дела, почесываются за печкой в синагоге и кормятся по дням у городских обывателей. Евреи, расхаживающие с платочками в руках, и всякого рода благодетели, собирающие пожертвования якобы на богоугодные дела. *Скрытые нищие* из обывателей, получающие пожертвования и милостыню тайком. *Полунищие,* как например, учителя талмудтор во многих городах, которые и ребят обучают и побираются в то же время, равно как и синагогальные служки, стряпчие, раввины: каждый из них наполовину то, что он есть, а наполовину, как и все прочие,— нищий с сумой. *«Праздничные»* нищие, которые обыкновенно побираются в «пурим»[1], или накануне праздников, когда евреи вообще настраиваются на веселый лад и на радостях пускаются по миру целыми компаниями собирать милостыню якобы для других, несчастных. *Нищие-заемщики,* которые в течение всей жизни принимают пожертвования под видом краткосрочных займов: не сегодня-завтра, мол, они с благодарностью вернут должок.

— Напомните мне, реб Алтер,— говорю я, после того как изложил по-своему сообщение Фишки и навел некоторый порядок в перечне наших нищих,— напомните мне, пожалуйста, может быть, есть еще какие-нибудь нищие, которых я, чего доброго, забыл внести в этот список!

— А не все ли равно? — отвечает реб Алтер и укоризненно морщится при этом, как морщится пожилой человек при виде дурачеств подростка.— Поду-

[1] Пурим — весенний еврейский религиозный праздник.

маешь, какая беда, если даже, не дай бог, забыли... Велика важность — список! Как будто нельзя, упаси бог, быть нищим, не состоя в вашем списке!..

— Не скажите, реб Алтер! — стою я на своем.— Наши нищие невероятно заносчивы, жаждут почета. Только померещится кому-либо из них малейшая обида,— он готов вас живьем съесть. Упаси вас бог от нищего-аристократа! Видите, вот я и вспомнил! Есть, не сглазить бы, еще много всяких нищих: достославные «внуки» праведников, евреи из Иерусалима, палестинские евреи, погорельцы, больные, страдающие геморроем и имеющие на то свидетельства от врачей; покинутые жены, всякого рода вдовы, сочинители, недавно появившиеся сочинительши с произведениями своих мужей. Да и нас с вами, реб Алтер, тоже черт не взял. Можно смело прибавить книгонош. А уж если на то пошло, то и наших печатников и всякого рода редакторов и всех работников — наборщиков, корректоров, писателей, корреспондентов... Всех их в один ряд с остальной нищей братией!.. А сейчас, реб Алтер, надо этих людей рассортировать, поставить каждого на свое место в списке. Кажется, никого не забыл, а?

— Фи, бросьте, реб Менделе! — в сердцах говорит Алтер и начинает почесываться.— Довольно, хватит ваших нищих! У меня по всему телу зуд пошел, будто блохи одолели. По мне, вы могли бы сделать все это покороче: все евреи — сплошь нищие, и дело с концом. И все тут. Дайте Фишке продолжать рассказ и не перебивайте его. Подсказать слово, когда оно застревает у него в горле и он начинает давиться, или поправить его,— это еще куда ни шло.

С самого начала Фишка был вроде одного из тех канторов, которые кривят рот и произносят ломаные,

искалеченные слова, а я — его подпевалой, помогавшим ему в трудную минуту тем, что подхватывал слово, которым он давился. Без меня Фишку трудно было бы понять. Я потом покажу это на примере. Алтер же только подгонял его своими словечками: «словом, короче говоря», «в общем ничего». Так иной прихожанин в синагоге подгоняет и поторапливает кантора, предвкушая у себя дома добрую рюмку вина и праздничный обед.

14

— Мы с женой пьинадьежайи к пешим. Ну, можете себе пьедставить, как мы с моими бойными ногами медьенно пьейись, пойзьи, как яки...— так начинает Фишка на своем косноязычном наречии.

На исправленном при моей помощи языке это означает:

— Мы с женой принадлежали к пешим. Можете себе представить, как с моими больными ногами мы медленно плелись, ползли, как раки...

Так, с моими исправлениями, Фишка продолжает свой рассказ:

— Жена стала меня понемногу поругивать, проклинать, говорить мне колкости, сочинять для меня прозвища и попрекать больными ногами. Предъявляла ко мне претензии: она, мол, во мне окончательно обманулась. Она меня в люди вывела, обеспечила заработком, создала мне положение, а я ей не предан и все делаю ей наперекор. Однако это случалось редко. Я не обращал внимания на ее речи, проглатывал все обиды, думая про себя: все жены таковы, иначе и быть не может. Каждая жена потчует своего мужа

словцом, а иной раз и тумаком. Как только гнев у нее остывал, жизнь снова налаживалась, и Фишка снова бывал в почете. Она клала руку мне на плечо и говорила: «Айда, Фишка!» Я шагал впереди, она за мной, и у обоих бывало хорошо на душе. Так-то мы ползли и передвигались.

До Балты мы тащились что-то очень долго и упустили там большую ярмарку, славящуюся на весь мир. Жена была вне себя, страшно огорчалась, будто потеряла невесть какие богатства. Я старался ее утешить, убеждал:

— Ну, ничего особенного! Дома в Балте для нас, слава богу, остались. Мало нам стольких домов, что ли, такого города? Не греши!

А она знай твердит свое:

— Чтоб тебе сгореть вместе с твоими домами! На что мне, будь ты проклят, твой город, такой грязный город? И этакий город ты мне предлагаешь? Не желаю! Слышишь? Не хочу я такого города! Провались ты сам в это болото и подавись твоим городом, твоей грязной Балтой!

— Реб Алтер, есть! — восклицаю я неожиданно.— Вспомнил еще один вид нищих! Нищие-банкиры!

— Подумаешь, находка! — говорит Алтер, прищелкивая языком.— По мне, хоть бы их и на свете не было!

— Одного из этой братии, Симхеле Живучего, я очень хорошо знаю в Глупске. У него в особой книге записаны все дома с оценкой,— сколько каждый из них должен в течение года принести ему дохода. «Дома,— говорит он,— принадлежат мне, они платят мне подать, весь Глупск — моя вотчина!» Обычно он каждый день обходит определенный район. В дом он хо-

дит весело, развязно. Если сразу подают милостыню,— ладно. Если нет, он говорит: «До свидания! Ничего, я запишу за вами должок!» — и убегает.

А не слыхали ли вы, реб Алтер, истории о том, как один нищий из Глупска породнился с нищим из Тетеревки и дал в приданое все глупские дома? Это был Симхеле Живучий! А то, может, слыхали, как один богач, справляя свадьбу, устроил обед для нищих. И вот один из приглашенных нищих пришел в сопровождении другого, непрошенного. Когда его спросили: «Уважаемый, по какому случаю вы тащите за собой лишнего человека?» — он ответил: «Это мой зять, он у меня на хлебах...» Это опять-таки был Симхеле Живучий. Словом, Симхеле прибрал к рукам Глупск со всеми домами.

— По мне, ваш Симхеле Живучий мог бы окочуриться! — коротко замечает Алтер и просит Фишку продолжать.

Фишка начинает на свой манер, я помогаю ему по-своему, и рассказ продолжается:

— Мы шли не прямо из города в город, все дальше и дальше вперед. Мы ползли то туда, то сюда, сворачивали то направо, то налево, как придется. Однажды мы очутились в городе, который мог бы провалиться к дьяволу, до того как я в него попал. То есть, против самого города я ничего не имею. Наоборот, город очень хорошо меня принял и дал мне все возможности побираться, но там я повстречался с этим душегубом, чтоб его без ножа зарезало! Паралич его разбей! Вот как это было:

В городе, куда мы прибыли, расположилась *«конница»* — полевые нищие в кибитках. Нищие бунтовали. Дело в том, что некоторые местные обыватели, из

нынешних, вздумали ввести новшество: чтобы нищим, за исключением стариков, больных и калек, ничего не давать. Здоровые парни, женщины и девицы, говорили они, могут служить, работать и собственным трудом заработать себе кусок хлеба. Глупая еврейская жалостливость ничего, мол, кроме вреда, не приносит. Из-за этого, по их мнению, среди евреев развелась такая уйма дармоедов, которые, подобно клопам, сосут чужую кровь и поедом едят людей. И вот горожане устроили нечто вроде фабрики, и крепким, здоровым нищим, приезжающим погостить в этот город, предлагали заняться каким-нибудь ремеслом: вить веревки, шить мешки... За работу кормили. Нищие стали заглядывать сюда пореже. «Конница», которую мы здесь застали, была ужасно возмущена новыми порядками.

— Что ж это такое! — кричали они.— Светопреставление, да и только! Где же еврейское милосердие? Значит, конец еврейству?!

Один из нищих, рыжий, здоровенный детина — разрази его громом! — был у них коноводом; он кричал больше всех:

— Содом! [1] Настоящий Содом! Почему это богачи могут сидеть себе спокойно, как баре, а другие должны на них работать? Разве их богатство — не чужой труд, не чужая работа, не чужой пот?! Все они холят и берегут себя, а работать заставляют других. Богач, чем он толще, чем здоровее, чем жирнее у него брюхо, тем он солиднее и почтеннее, а наш брат должен, наоборот, скрывать свое здоровье, стыдиться его,

---

[1] **Содом** — библейский город; согласно легенде, уничтожен богом за грехи его жителей.

будто украл. Каждый имеет право кричать, надрываться: «Почему такой здоровяк работать не идет?» Пора бы, честное слово, поменяться, пусть богачи попробуют поработать! В чем дело? Не в силах они, что ли?

— Правильно, Файвушка, правильно! Мы тоже евреи, тем же миром мазаны, что и они! — дружно поддержали нищие рыжего коновода, уходя один за другим из богадельни.

Однажды вечером прохожу я случайно мимо синагогального двора. Было уже темно. На улице вертится много всякого народа. Вдруг из-за угла доносится до меня чей-то плачущий голос, с мольбой, способной даже камень тронуть. Останавливаюсь и неподалеку от себя вижу согнувшегося в три погибели человека. На руках он держит подушечку, а оттуда доносится истошный визг младенца. Несчастный отец бросается то туда, то сюда, трясет, качает ребенка, стараясь унять его, и горько стонет: «Ах ты горе мое горькое! Жена умирает, оставляет у меня на руках такую крошку! Горе тебе, несчастная моя сиротинушка! Каково тебе будет без матери! А-а-а! Тише, тише! Ну, что же мне с тобой делать, бедняжечка моя?» Каждый прохожий подает ему сколько может, женщины пытаются утешить его добрым словом, а он знай твердит свое: «Ох, горе мне! Ох, несчастное дитя мое!» И все время трясет подушку и места себе не находит. Сердце у меня надрывалось от жалости к горемычному отцу и злосчастной сиротке, еще в пеленках лишившейся матери. Вытащил я из кармана три гроша и подошел поближе к несчастному. Но как только я протянул к нему руку, он меня как ущипнет, приговаривая при этом скорбным голосом: «Ой, лихо тебе!»

И так выговаривает слово «тебе», будто имеет в виду меня. Хватаюсь за руку от боли, отскакиваю в испуге в сторону и несколько секунд не могу прийти в себя от изумления. Несчастный отец тотчас оборачивается ко мне, я всматриваюсь и чувствую, как озноб проходит у меня по всему телу...

— На сегодня хватит. Пойдем! Подержи-ка ребенка! — говорит он и сует мне в руки подушечку.

Сиротка оказалась куклой, завернутой в лохмотья, а несчастный отец — рыжим жуликом, Файвушкой, побей его бог! Он это проделывал мастерски! Одновременно плакал и стонал за себя и пищал, заливался за ребенка...

— Вот так,— говорит он,— нужно поступать с дураками. Не хотят давать добром — приходится брать хитростью, без этого не обойдешься. И раввин, и дайен [1], и все прочие духовные лица наши — все они прикидываются, комедию ломают. Они орудуют кривлянием, а я — горе мне — моей несчастной сироткой... Главное, чтобы коровы доились!.. Скажи аминь, Фишка!

Во время нашего пребывания в богадельне рыжий черт стал примазываться к моей жене, приставать к ней, любезничать. Она ему почему-то очень понравилась. Он усиленно ухаживал за ней, старался ей услужить. Понемногу все больше втирался в доверие и добился того, что стал с ней запанибрата. Он просиживал с ней долгими часами и болтал, отпуская иной раз грубые, неприличные словечки. Моя жена затыкала уши и, казалось, даже слушать его не хоте-

---

[1] Дайен — помощник раввина.

ла. А когда он начинал расхваливать ее: она, мол, ядреная, гладкая, чистая, совсем в его вкусе,— она его, бывало, ругнет, ударит по спине, но все же смеется. Я тоже смеялся,— иной раз, правда, при этом кошки скребли на сердце, но тут же думал: «Что мне до этого болтуна? Не сегодня-завтра мы от него избавимся. Разойдемся в разные стороны — и никогда больше его противной рожи не увидим. И, наконец, по миру жена ходит все-таки со мной! А когда он пытался взять ее за руку и вести, она его сердито отталкивала:

— Идите, идите, фи! Я замужняя женщина! У меня есть, слава богу, с кем по миру ходить!

На другой день после встречи с этим рыжим дьяволом, разыгравшим несчастного отца, я побирался в одиночку. Жена с утра все жаловалась, что ей не по себе, она потягивалась, зевала,— видать, от дурного глаза. Вот и осталась дома. Я и сам чувствовал себя неважно, что-то подпирало под ложечкой. Да и скучно мне было одному без жены, чего-то не хватало. Должен признаться, что с тех пор, как рыжий стал приставать к моей жене и заигрывать с ней, она стала мне дороже.

Иной раз, бывало, досада берет, весь горю от злости, а в то же время — сам не знаю почему — тянет меня к ней,— наваждение, да и только! Не знаю, как вам это объяснить, но это была какая-то сладостная боль, как от почесывания волдыря на теле. И больно, и вместе с тем как-то очень приятно... В общем, я в этот день побирался кое-как, без всякой охоты. Обошел наскоро свои дома, на живую нитку, как говорится, скорее пробежал, чем обошел, и вернулся домой раньше обычного.

Вхожу в богадельню и застаю свою жену рядом

с этим рыжим жуликом. Сидят и о чем-то шепчутся. Лицо у нее пылает, голову склонила к нему, прислушиваясь к его словам, и сладенькая улыбочка не сходит с ее губ.

Когда я подошел и спросил, как она себя чувствует, жена вздрогнула, с минуту не могла слова сказать, не знала, что делать, затем, по своему обыкновению, ощупала меня и говорит:

— Знаешь, Фишка, отчего я больна? Это не от дурного глаза. Это оттого, что я пешком хожу. Цирюльничиха, которая заходила сюда, велела мне сходить в баню, попариться, поставить себе банки, хорошенько натереться на ночь и пропотеть. Нет, Фишка! Пешком я больше ходить не могу. Реб Файвушка так добр, что хочет взять нас с собой в кибитку. Как быть, Фишка? Что ты скажешь?

Рыжий дьявол,— побей его бог! — поглядывал на меня одним глазком, ухмыляясь при этом так, что меня всего передернуло. Защемило у меня сердце, почувствовал я себя как мальчишка, которому ребе велит ложиться на скамейку, чтобы выпороть его. Я долго мямлил, ворочал языком, не зная, что сказать.

— Что же ты молчишь? Почему не отвечаешь? — раскричалась моя жена.— Я знаю, тебе дела нет до моего здоровья, ты хочешь поскорее от меня избавиться, в могилу раньше времени загнать! Погоди, погоди, изверг этакий! Не дождаться тебе этого. Сам раньше подохнешь! Слышишь, Фишка, гнида ты этакая! Я тебя в порошок сотру! Ни одного волоса на голове не оставлю! Зубы все повышибаю!..

Когда жена раскрывала рот, у меня в желудке холодело. Я стоял возмущенный, пришибленный, забитый, одному богу известно, каково было у меня на

душе. Но что я мог поделать? Я склонил голову и сказал:

— Тише, не кричи, не волнуйся! Поедешь! Отчего ж не поехать?

— Вот так и говори! — сказала она уже мягче.— Почему же ты, когда с тобой говорят, стоишь как истукан? И ни слова не отвечаешь. Человек так добр, так любезен, хочет взять нас бесплатно, а ты хоть бы спасибо сказал! Стыдись, грубиян этакий!

Ну что я мог поделать? Пришлось и на это пойти, поблагодарить этого черта!

— Реб Алтер! Есть еще один! — восклицаю я.

— В чем дело, реб Менделе? Еще какой-нибудь клад отыскали? — насмешливо спрашивает Алтер.— Новый вид нищих вспомнили? Пошли вам бог находки получше! Хватит уже нищих.

— Нет, реб Алтер! Я имею в виду еще одного Хаим-Хону Хае-Трайны, как и он, трепещущего перед женой. Нашему Фишке, кажется, тоже не раз доставалось от его благоверной.

15

Фишка снова начинает на свой манер, я стараюсь, помогаю, как могу, Алтер подгоняет его по-своему, и рассказ продолжается:

— На другой день после этого разговора «конница» снялась с места и выступила из «Содома», как прозвала город эта шайка. Уходила она с шумом, с гамом, со скрипом колес, проклиная город на чем свет стоит:

— Чтоб он сгорел! Чтоб его жители десять раз на

дню подыхали с голоду! Чтоб они, как погорельцы, по миру скитались...

В трех кибитках было битком набито всякого народу: стариков, старух, женщин, девиц, парней, детей. Среди них был и я с женой. Мы в добрый час получили повышение: перешли на службу в «конницу».

Должен вам сказать, дорогие мои, что передо мной раскрылся совсем новый мир. Вначале мне с этой оравой было довольно весело. Насмотришься, бывало, и наслушаешься такого, что передать все это подробно нет никакой возможности. Я слушал, к примеру, как они издеваются, насмехаются над всеми, как они всех передразнивают. Каждый из этой полупочтенной компании на каком-то воровском языке рассказывал о своих похождениях. Один — о том, как он «стырил краюху» (украл хлеб), другой — как он «слямзил квочку» (украл курицу), третий — о том, как он «замотал юсы» (украл деньги), четвертый хвастал тем, что «отчехвостил фраера» (избил порядочного человека)... Богачей они проклинали почем зря, без всякого повода. Я готов поклясться чем угодно, что они ненавидят богачей гораздо больше, нежели богачи их. Богач на их языке — это пиявка, раскормленная кишка, тупица, замороженная душонка, маменькин сынок, медный лоб и черт их ведает, что еще. Считалось добрым делом напакостить по силе возможности богатому человеку. Чуть случалась какая-нибудь беда, они призывали на головы богачей всякие муки, корчи, колики и прочие болезни. Меня они иногда в шутку называли богачом, за то что я иной раз заступался за богачей и охранял их честь. Как-никак, а, пребывая в бане, я воспитывался среди богатых

людей, возился с ними немало: стерег их вещи, подавал им узелки с бельем; одному принесешь шайку воды, другому подашь огонька, ну и так далее.

Приходилось мне слушать разговоры между парнями и девицами, как они шутят, сватаются друг к другу. Одна кибитка роднилась с другой. Умение притворяться ценилось очень высоко: оно необходимо для дела. Иной раз, при случае, они устраивали целые представления: один притворялся горбатым, другой — хромым, этот — слепым, тот — парализованным, одна — немой, другая — кривой. Но настоящие не «поддельные» калеки, вроде меня и моей жены, были на особом счету. Они часто говаривали, что такие изъяны, как наши, для нищих — клад, дар божий: это чистый доход. Особенно ценилась слепота моей жены. Наконец, они попросту восхищались ее острым язычком. Волосы вставали дыбом, когда она раскрывала рот.

Рыжий черт вьюном вился вокруг моей жены, прямо вешался ей на шею. Он любезничал, ухаживал за ней, приносил ей всяческие подарки, чего только душа просит: вареный горох, бобы, сливы,— все, что ему удавалось раздобыть. Но я решил: черт с тобой! Какое мне до этого дело? Увивайся, подмазывайся! Чего ты этим можешь добиться?.. Ничего! Ведь она — мужняя жена! Значит, опасаться нечего... Значит, ты имеешь в виду ее изъян: слепая, мол, может приносить хороший доход... Так вот же назло тебе, хоть желчью изойди, мерзавец этакий, жена моя покуда только со мной по миру ходит. Чего же ты, дурак этакий, добился тем, что приманиваешь ее к себе, волочишься за ней? Побирается-то она все-таки не с кем-нибудь, а со мной! А ведь это самое важное!..



Эти мысли вызвали у меня сильное желание изучить нищенскую профессию до тонкостей, чтобы понравиться своей жене. Дело у меня пошло на лад. Я научился уже заходить в дом. Секрет в том, чтобы входить с недовольным видом, насупившись, и требовать милостыню, как долг, не останавливаться у дверей, а лезть вперед, входить в комнаты и добираться даже до спальни, чтобы найти хозяина или хозяйку. Торговался я мастерски. Тут весь фокус в том, чтобы никогда не быть довольным тем, что подают. Подают тебе кусок хлеба, проси варева, тарелку борща; подают деньги — проси рубаху, старые кальсоны, чулки... Надо всегда морщиться, дуться, никогда не благодарить, ворчать, а иной раз и проклинать.

Что же делает рыжий дьявол, разрази его громом! Он стал ломать голову, как бы от меня избавиться. Он, видимо, полагал так: «По части нищенства ты, Фишка, в сравнении со мной — щенок. Я знаю все тонкости этого ремесла во сто тысяч раз лучше тебя. А уж если я надумал взять в оборот твою слепую, значит так тому и быть. Ничего, братец, уж я о тебе позабочусь!..»

Он принялся за дело, и вскоре я стал для всех посмешищем. Я очень низко пал в глазах жены, потерял для нее всякое значение.

Я от нее только и слышал:

— Чтоб ты распух! Чтоб ты подох! Чтоб тебя черви съели, обжора, подлюга, такой, сякой, разэтакий!

Рыжий, чтоб ему из мертвых не воскреснуть, не переставал под меня подкапываться, старался меня доконать и добился того, что все надо мной издевались и во всех кибитках только и разговору было, что обо мне. Каждую минуту придумывали что-нибудь

новое, каждую секунду я получал другое прозвище. Всякий, кому не лень, мог со мной поступить, как ему вздумается. Я стал козлом отпущения. А если я иной раз, бывало, не стерплю и разозлюсь, все возмущались.

— Скажите пожалуйста! — говорили они в таких случаях.— Как наш *богач* взъерепенился! Чего доброго, еще заревет!

Когда я, избитый до полусмерти, обливаюсь, бывало, горькими слезами, мне говорили:

— Чему это ты так обрадовался, Фишка? Чего ты зубы скалишь? Полюбуйтесь, братцы, как Фишка хохочет!

— Дайте ему, ребята,— доносился голос рыжего дьявола,— дайте ему, бедному, хорошего тумака, стукните ему между лопаток! А если, упаси бог, не поможет, придется его погладить по головке, ухватить за ухо и сказать несколько слов по секрету. От этого у него слезы на глаза навернутся, как от хрена. Надо ведь спасать человека...

Нередко меня выбрасывали из кибитки, и я, на больных ногах, задыхаясь, изо всех сил бежал за ними вдогонку. А они хлопали в ладоши и, посмеиваясь, кричали:

— Браво, Фишка! Вот так! Попляши, попляши! Посмотрите, братцы, как Фишка ножками дрыгает, как замечательно он танцует! Он мог бы на свадьбах плясать. Не сглазить бы его!

Однажды рыжий дьявол — разрази его громом! — вдруг заявляет:

— А знаете, братцы, Фишка-то ведь вовсе не хромой. Он только притворяется, жулик! Он над нами над всеми издевается! Надо попробовать его выров-

нять. А ну-ка саданите его под живот, увидите, как он сразу выпрямит ножку...

Словом, мучили меня и истязали всячески. Эх, вспоминались мне счастливые годы, когда я барином сидел в бане и жилось мне как у бога за пазухой! Чего мне тогда не хватало?

— Ну что же! Взял бы да развелся! — перебивает Алтер.— На то у евреев и развод существует.

— Да, конечно! — отвечает со вздохом Фишка.— Если бы я сделал это вовремя, как бы хорошо было и мне, а может быть, и еще кое-кому... Но я не знаю, что со мной случилось. Будто околдовали меня. Больно и стыдно признаваться, но что-то тянуло меня к моей жене... Как ни страдал я, сколько ни терпел, а все же чувствовал, что сохну по ней. Не знаю, может быть, это было упрямсгвом с моей стороны: ежели тебе, рыжему дьяволу, хочется разладить нашу жизнь, избавиться от меня,— так вот назло тебе буду держаться за нее, держаться пуще прежнего, обеими руками. А может быть, это было... не знаю, как сказать... так, вообше само по себе... Наваждение, да и только! Нравилась она мне. Крепкая, полная, ядреная, круглолицая, не скажу, что красивая, но миловидная. Нередко случалось, что от боли и досады хотелось покончить с собой. Я желал смерти и себе и ей. «Сегодня,— думал я,— сегодня надо положить этому конец! Сегодня скажу ей: «Развод!» Но стоило мне только подойти к ней поближе, стоило ей заговорить со мной или положить мне руку на плечо и сказать: «Веди меня, Фишка!» — как у меня отнимался язык и я становился другим.

Как-то раз, когда мы с ней ходили побираться и оба были в хорошем настроении, я ей сказал:

— Бася, душа моя! Ну что толку от вечного скитания? Честное слово, нам это вовсе не подобает. В Глупске мы как-никак пользовались добрым именем. Ты меня там забрала из бани. Шутка ли, глупская каменная баня, в которой бывают такие львы, такие большие люди! Тебя тоже все знали и уважали. А сейчас мы скитаемся на чужбине с какими-то бродягами. Что за жизнь, прости господи!

— Уж не хочется ли тебе обратно в Глупск? — с раздражением спросила она.— Можешь возвращаться туда, если тебе так хочется. А я — ни в коем случае! В Глупске нынче и без меня достаточно нищих. Там что ни день они вырастают, свеженькие, новенькие, как из-под иголочки... Там нынче обыватели друг к дружке за милостыней ходят.

— По мне, пусть будет другой город! — ответил я.— Выбери себе любой город, какой тебе больше по душе придется, и давай поселимся там. Когда знаешь, что город — твой, что дома — твои, обыватели — твои, тогда и само дело как-то лучше идет. Как это говорится: каждая собака свой мусор стережет...

— Скоро, Фишка, скоро! — сказала она, ласково похлопывая меня по плечу.— Давай еще немного поездим, потолкаемся по белу свету. Хорошо как-то, весело, приятно. Повремени малость, Фишка, со своим городом. Скоро, скоро!

Это «скоро» тянулось очень долго, и не было ему ни конца ни края. За это время я перебывал во многих городах, перетерпел немало горя и мук. И все это из-за него, рыжего черта, разрази его громом!..

Фишка глубоко вздохнул и умолк, прикрыв глаза. Мы дали ему немного прийти в себя. Затем он снова продолжал свой рассказ.

16

— Вдобавок к прозвищу «богач» я в последнее время получил еще новый титул — «приживальщик». Это новое звание присвоил мне все тот же рыжий мерзавец, черт бы его побрал! Так все в этой банде меня и называли: Фишка-приживальщик. А «приживальщик» у них до того позорная кличка, что, произнося ее, семь раз сплевывают.

Вражда, которая царит обычно среди ремесленников, торговцев, лавочников и иных людей одной профессии, ничто в сравнении с ненавистью, которую питают кочевые нищие к городским своим собратьям. Особенно не терпят они приживальщиков, всю эту свору мерзких паразитов, протухших аристократов, замызганных «почтенных людей». «Их,— с ненавистью говорили мои спутники,— точно клопов, полно в каждом доме, житья от них нет! С ними нянчатся, их откармливают на семейных торжествах, они дерут с живого и с мертвого, а мы, несчастные, выбиваемся из сил, мотаемся, трудимся, мучаемся и в поте лица своего добываем кусок хлеба... Вся эта мразь, все эти бездельники взяли на откуп псалмы Давида и торгуют ими. Если бы царь Давид знал, в чьи руки попадут его псалмы, какое прибыльное дело из его гимнов сделают эти гнилые, заплесневелые картузики с рожицами постников, он бы, конечно, не стал их и сочинять».

— Нет, Бася! — говорил рыжий черт моей жене.— Из вашего Фишки толку уже не будет. Нет, нет, это не наш человек! Он — приживальщик до мозга костей, со всем, что приживальщику присуще. И то, что вы с ним разъезжаете, бываете на людях, нисколько

ему не поможет. В нищенстве он ни уха ни рыла не смыслит. Никудышный человечишка! У нас с ним будут одни неприятности. Эх, Бася! Мне бы такую Басю! Да я бы с вами, честное слово, горы перевернул.

Рыжий применял все средства для того, чтобы поссорить нас с женой и отстранить меня от нее: сплетничал, выдумывал всякие небылицы... В конце концов ему удалось-таки придумать нечто совершенно новое. Он донес жене, нашептал ей, что я стакнулся с девушкой из другой кибитки и чересчур с ней любезничаю...

Среди этой банды действительно была одна горбатая девушка, с которой я и в самом деле очень часто любил беседовать и...

— Эге! Это что еще за девушка? — перебиваем мы с Алтером.— А ну-ка, Фишка, признавайся!

— Девушка эта была совсем чужой в кибитке. Она, бедная, достаточно натерпелась и настрадалась в юные свои годы. Признаюсь, я действительно любил посидеть и поговорить с ней. Мы изливали друг перед другом наши наболевшие души. Она жалела меня и нередко проливала слезы над моими и своими страданиями. Ах, если бы вы знали, что это за *девушка!* Если бы вы знали, сколько горя она, бедная, перенесла! — заканчивает Фишка со слезами на глазах.

Мы упрашиваем Фишку разъяснить нам, кто такая эта девушка и что с ней приключилось.

— Что ж, если вы меня так просите,— начинает Фишка, вытирая рукавом глаза,— если вам еще не надоело слушать меня, я, так и быть, расскажу как умею. Слушайте и не взыщите, если у меня не все гладко получится.

Девушка эта была еще ребенком, когда мать привезла ее в Глупск вместе с узелком старого тряпья. Узелок мать оставила в лачуге у какой-то старой бабы, настоящей ведьмы. Наверное, это была маклерша по найму прислуги. Старуха уходила с матерью, обе пропадали весь день, а ребенок оставался один без еды. Когда девочка однажды стала плакать и умолять, чтобы ее взяли с собой, ведьма ужасно разозлилась и сказала матери:

— Ни в коем случае! О ней никто не должен и знать! Это может испортить все дело.

Спустя несколько дней мать взяла девочку с собой и потихоньку привела ее, в добрый час, в чью-то кухню. Вскоре они, однако, перешли в другую кухню, затем в третью и, в общем, за короткое время переменили немало мест.

Мать с каждым разом, при переходе к новым хозяевам, становилась все злее и безжалостнее к своей дочке. Отца девочка почти не знала. Дома он бывал редким гостем, постоянно в разъездах, а потом, когда началось скитание по кухням, она его и вовсе не видела. Она, наверное, и вовсе забыла бы о том, что у нее есть отец, если бы мать пятьдесят раз на дню не упоминала его имени, проклиная его и вымещая свою злобу на дочери.

— Чтоб ему голову сломать, твоему хваленому папаше! — ругалась она.— Жену погубил, бросил ее после стольких лет каторжного труда и болезней, и вдобавок еще навязал ей — чтоб ему сгинуть — обузу на шею, ребенка, из-за которого она ни на одном месте удержаться не может и должна его скрывать и прятать. Да и кому хочется держать кухарку с ребенком?

И действительно, нередко случалось, что хозяйка, когда ей почему-либо не нравился обед, прибегала на кухню с криком и визгом: «За что, мол, бог наказал ее такой прислугой, которая снимает с супа весь жир и отдает своей любезной дочке!..» А дочка, несчастная, сохла, худела и кормилась объедками. Мать прятала ее, как краденую вещь, на печке. Там она просиживала целыми днями, забившись в уголок, скрючившись и не смея даже пискнуть. Ей, бывало, чуть дурно не становилось от запаха жареных гусей и печенок... Но она переносила все это молча, не проронив ни звука! Она, бедняжка, безмолвно терпела голод, выжидая, пока о ней вспомнят и сунут в ручку черствую корку хлеба, обглоданную косточку или что-нибудь из объедков. А случалось и так, что о ней и вовсе забывали, и если она, не в силах сдержаться, напоминала о себе, над печью показывалась кочерга, лопата, палка или половник: мать била девочку по головке, по ручонкам, по ножкам, по чему попало, призывая при этом все беды и напасти на голову ее отца и праотца, вплоть до патриарха Авраама. Так, в мытарствах и горестях, протекали детские годы девушки. От постоянного сидения в углу на печи скрючившись, согнувшись, она, бедняга, на всю жизнь осталась горбуньей.

Сидя на печи, она часто видела в кухне какого-то молодого человека. Он приходил к ее матери. В его присутствии мать таяла, кормила его исподтишка, набивала ему карманы вкусными вещами, а иной раз давала и деньги. Часто он приходил поздно вечером и оставался ночевать в кухне. Иногда мать, принарядившись и досыта наглядевшись в зеркало, уходила куда-то надолго, бросив кухню на произвол судьбы.

По всему видать было, что мать собирается замуж и по горло занята своим женихом...

Однажды в сумерки пришел какой-то человек и забрал из кухни вещи матери. Мать поблагодарила хозяйку за хлеб-соль, сняла с печи свою разутую и раздетую дочку и вышла с ней на улицу. Долго водила она ее по городу, пока не привела в какой-то переулок.

— Садись тут и жди. Люди сжалятся.

Так сказала мать и исчезла.

Бедное покинутое дитя сидело на улице, боясь шевельнуться, как и раньше,— на печи. Моросил холодный осенний дождь.

Она сидела, съежившись, чуть ли не в одной рубашонке, промокла вся до костей и дрожала от холода так, что зуб на зуб не попадал. Когда какой-то прохожий спросил у нее:

— Чья ты, девочка?

Она ответила:

— Мамина... Мама велела сидеть тихо... Кричать нельзя... А то кочерга или лопата будут меня бить...

Так просидела она, несчастная, до поздней ночи, пока какая-то женщина не заманила ее ласковыми речами к себе, куда-то на Пески, в маленькую лачужку на курьих ножках.

У этой женщины девочка пробыла довольно долго. И здесь ей жилось несладко. Женщина выдавала себя за ее тетку и велела себя так называть. Тетка была базарной торговкой, промышляла картошкой, горячими лепешками, кислицами и райскими яблочками.

Рано утром она обычно уходила на базар. Горбунья оставалась дома с ребенком торговки, укачива-

ла его и помогала по хозяйству, то есть подбирала на улице щепки на растопку, лазила в подпечь за яйцами, которые снесли куры, очищала горшки от затвердевших остатков каши, стирала детское белье, сторожила деревянные ложки, которые сушились на завалинке вместе с детской постелью, и тому подобное. Вечером, когда торговка возвращалась с базара, она посылала девочку побираться — вымаливать куски хлеба. Этим хлебом и питалась она, да еще и «тетке» помогала.

Однажды летним вечером, одетая в одну только грубую холщовую рубашонку и юбку, она ходила, по обыкновению, побираться. Забралась куда-то далеко на край города и заблудилась. Солнце уже давно село. На небо надвигалась черная туча. Изредка сверкала молния и глухо рокотал гром. Вдруг откуда ни возьмись со стороны города показались какие-то фургоны, битком набитые людьми.

— Смотрите! — закричали пассажиры одного из фургонов.— Какая-то горбатая девчонка бродит по улице и плачет, бедная.

И тут же из фургона выскочил какой-то рыжий — опять-таки он, этот рыжий разбойник, побей его бог! — и стал расспрашивать у девочки, чья она.

— Я хочу домой, домой, к тетке,— отвечала девочка со слезами в голосе.

— Тише, дочка, не плачь! — сказал ей рыжий.— Сейчас отвезу тебя к тетке.

Он тут же схватил девочку, бросил ее в фургон и уехал с ней.

С этих самых пор бедная горбунья скиталась с оравой кочующих нищих, сделавших из ее горба доходную статью. Обычно, приезжая в какой-нибудь го-

род, они усаживали ее, голую и босую, на людной улице и заставляли всхлипывать, выпрашивать милостыню, клянчить плаксивым голосом и тащить прохожих за полы. Если она, по их мнению, недостаточно хорошо разыгрывала комедию, плохо притворялась и добывала мало денег, с ней зверски расправлялись: ее били смертным боем, выбрасывали среди ночи на улицу. Разутая, раздетая, голодная, она, бедняжка, кричала и плакала по-настоящему... Она мне рассказывала, как однажды зимой, в лютый мороз, ее ночью вот таким манером выгнали из дому. Мороз скрутил ее, стал щипать и жалить тело, будто острыми иголками. Волосы на голове у нее застыли, в глазах то светлело, то темнело, вот-вот, казалось, и конец. Выбиваясь из сил, она снова стала проситься в дом, рыдала, умоляла каждого из них в отдельности:

— Откройте, тетенька! Отворите, дяденька!..

— Дяденька! — кричала она.— Я на улице буду хорошо плакать...

— Спасите! Я теперь на улице буду хорошо просить! Тетенька! Я буду хорошо кричать!..

Но сколько она ни кричала — никакого ответа... Бедняжка притихла: она не чувствовала уже больше ни холода, ни боли. Сладостный сон овладел ею. Почудилось, что ее ласкают, гладят... Как хорошо, как тепло вдруг стало...

Еле живую унесли ее оттуда... Долго прохворала она после этой ночи.

Был у этой шайки и такой прием: едва завидят они издали какого-нибудь барина, купца или просто прилично одетого человека, едущего навстречу, они сейчас же высаживали горбунью на дорогу. И тут ей приходилось проделывать все, чему ее учили: бежать

с протянутой рукой рядом с лошадьми, вертеться вокруг экипажа, всхлипывать, гнусавить, с жалостливой миной на лице вымаливать милостыню и во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни, добиваться ее. Иной раз кучер с облучка хлестал ее кнутом, а она молча принимала удар и продолжала клянчить, так как хорошо знала, что удар кнутом — ничто в сравнении с тем, что ее ждет, если она, не дай бог, вернется с пустыми руками...

Всего, что она, бедная, натерпелась в свои юные годы, и не рассказать. Да и сейчас на ее долю выпадает немало горя. В аду и то вряд ли приходится терпеть столько мучений, сколько она, бедная, выносит. Ах, вся кровь во мне кипит, когда я вспоминаю о ней! Я охотно отдал бы жизнь за то, чтобы вызволить ее!

На всем свете, друзья мои, нет такой доброй, такой тихой голубки, как она, такой ласковой, прекрасной души, как у нее!..

17

Рассказ Фишки произвел на Алтера и на меня удручающее впечатление. Алтер тер рукой лоб, точно его что-то укусило, и бормотал про себя: «Эт! Эт!»

— Знаете, реб Алтер! — заметил я с улыбкой.— А ведь Фишка, право же, втюрился в эту горбатую девушку. Тут что-то неладно...

— Не стану отрицать,— сказал Фишка,— я в душе действительно сильно полюбил ее, из жалости. Что-то тянуло меня к ней. Для меня было большой радостью иной раз посидеть с ней. Почему?.. Просто так! Мы беседовали или молча смотрели друг на друга. Лицо ее так и светилось сердечной добротой. И смотрела

она на меня, как преданная сестра на несчастного брата, когда ему, бедняге, приходится особенно тяжело... А когда у нее от сочувствия ко мне навертывались слезы, мне становилось хорошо, тепло на душе. Мне все казалось... сам не знаю, что мне казалось. Что-то внутри обжигало меня, ласкало душу: «Фишка, ты больше не один во всем свете, ты больше не одинок, как былинка в поле». И горячие слезы подступали к глазам...

Моя жена — удивительно, право! — уже не интересовала меня. Я гораздо спокойнее относился к тому, что она любезничает с рыжим чертом. Правда, меня коробило от этого, но это было уже совсем не то, что прежде. Иногда в голову приходила мысль: «Хочется тебе, Фишка, чтобы жена сказала: хватит, мол, скитаться, давай поселимся в каком-нибудь городе»? И тогда я в душе отлынивал, старался увильнуть от прямого ответа, думал: «А что же будет с ней, с бедной горбуньей?..» Но вот что интересно! Как только я остыл к жене и перестал дрожать над ней, как прежде, она как будто стала относиться ко мне нежнее. Найдет на нее, бывало, такое настроение, вдруг она становилась доброй, ласковой, на шею мне вешалась. Правда, за это мне потом приходилось расплачиваться. Она всячески досаждала мне, преследовала и мучила меня в тысячу раз хуже, чем раньше, так что мне и жизнь становилась не мила и я желал себе смерти. Меня бросало, как говорится, то в холод, то в жар! Я и понять не мог, что с ней? Рехнулась она, что ли? Однако вскоре произошла одна история, и вот тут-то все и открылось. Я понял, отчего моя жена так бесится, в чем причина ее злобы. Больно и стыдно рассказывать об этом.

Фишка задумался. Помолчав с минутку, он энергично почесался и продолжал:

— Однажды мы прибыли в какое-то местечко и заехали, по обыкновению, прямо в богадельню. Должен вам сказать, уважаемые,— немало богаделен видал я на своем веку и хорошо знаю, что они собой представляют. Однако все они были рай по сравнению с этой. Даже сейчас при одном только воспоминании о ней у меня начинается зуд по всему телу и я не могу не почесываться. Богадельня выглядела как ветхая корчма. Это была развалина с покосившимися стенами, с крышей, напоминающей помятую шляпу, задранную спереди и низко, чуть ли не до земли, спущенную сзади. По всему было видно, что несчастной богадельне до зарезу хочется завалиться и лежать на земле кучей мусора. Но жители города не давали ей падать, подпирали бревнами и уговаривали держаться впредь до лучших времен. Некое подобие ворот вело в большие сени с полуразрушенными, дырявыми стенами, сквозь щели которых проникал скупой свет. Земляной пол был весь в выбоинах, местами стояли непросыхающие, покрытые плесенью, смрадные лужи от помоев, нечистот и дождя, протекавшего сквозь дырявую как решето соломенную крышу. На земле валялась соломенная труха вперемешку со всякого рода тряпьем: порванными в клочья нищенскими сумами, кусками рогожи, покоробившимися опорками, старыми подошвами и отлетевшими каблуками с торчащими ржавыми гвоздями, черепками, поломанными обручами, спицами от колес, волосами, костями, вениками, прутьями и всякой иной рухлядью.

Все это добро прело и распространяло нестерпимый «аромат». С левой стороны, сердито скрипя, от-

ворялась замызганная дверь, которая вела в помещение с маленькими, узкими, плохо пригнанными окошками. Часть стекол была выбита, а окна заклеены синей сахарной бумагой или заткнуты тряпьем. Сохранившиеся стекла, пыльные и грязные, покрылись по углам густым слоем плесени; некоторые из них от ветхости обрели какую-то странную зелено-желтую окраску, которая отсвечивала и резала глаз так же, как царапание по стеклу режет слух. Вдоль покоробившихся стен и возле большой печи тянулись длинные лавки из досок, положенных на чурбаки и поленья. Чуть повыше, над лавками, в стенах торчали вбитые колышки. С черного потолка свисали веревки с петлями; в петли был продет длинный шест. Колышки и шест были завешаны грязными кафтанами, юбками, всякими вещами и сумами нищих, проезжающих в кибитках или плетущихся пешком и временно проживающих здесь. Тут помещались и старики, и молодежь, и мужчины, и женщины — все вместе.

Богадельня к тому же является и местом призрения для больных. Здесь умирают местечковые бедняки, которым больше деваться некуда. Цирюльник делает все, что в его силах: ставит банки, пиявки, вскрывает вены и выкачивает на казенный счет кровь из бедняков до тех пор, пока они богу душу не отдадут... Тогда сторож богадельни, который в то же время состоит местечковым могильщиком, немедленно хоронит их совершенно бесплатно... Сторож со своей семьей живет тут же, в какой-то, с позволения сказать, каморке. Помимо того, что он сторож богадельни, могильщик, служка погребального братства, надзиратель больницы, исполнитель ролей «царицы Вашти» и «Мондруша» в представлениях в праздник пу-

рим, ряженый медведем в вывернутом мехом наружу тулупе в праздник торы, подавальщик на семейных торжествах, шут и острослов, без которого не обходится ни одна свадьба или обрезание,— он вдобавок еще и поставщик сальных свечей. Свечи изготовляются в богадельне, и тогда далеко вокруг распространяется страшное зловоние...

Ко времени прибытия нашей оравы богадельня была битком набита постояльцами. Сторож гнал их отсюда: довольно, мол, посидели, пора и честь знать! Отправляйтесь подобру-поздорову куда-нибудь в другое место! Но так как дело было в четверг, то гости имели в виду дождаться здесь воскресенья. Пол, лавки и печь были ночью сплошь заняты людьми. Все толкались, ссорились и ругались из-за места. «Конница» и «пехота» всячески — и словом и рукоприкладством — проявляли ненависть, которую они питали друг к другу.

В эту невероятную суету и суматоху врывались болезненные стоны лежавшего в углу старика, которого накануне привезли сюда на лечение. В другом углу надрывался и сверлил мозги младенец, которому в толчее отдавили ножку...

Лишь после того, как дикий шум понемногу улегся, я отыскал уголок и кое-как устроился, чтобы отдохнуть. Но едва только я прилег, как на меня напали целые полчища тараканов, клопов и каких-то невероятно крупных блох, намеревавшихся съесть меня живьем. У меня и сейчас начинается зуд по всему телу, и я не могу не почесываться при одном только воспоминании об этих лютых зверях. Увидев, что воевать с тараканами не так-то легко (таракан назойлив, а компаньон его — клоп — воняет), я уступил им свое ме-

сто — пусть подавятся! Я вышел в сени и решил как-нибудь скоротать там ночь.

На дворе стояла кромешная тьма. Холодный, порывистый ветер бушевал, выл голодным волком, свистел и дул сквозь щели в стенах. Клочья соломы слетали с крыши и вместе со всяким прочим мусором дико плясали какой-то бесовский танец. Временами в сени проникали крупные капли дождя. Я забился в уголок, съежился и, дрожа от холода, в отчаянии думал: «Эх, баня, баня! Вот бы мне сейчас попасть к себе в баню! Ведь там поистине рай, теплынь, наслаждение! Как счастлив был я некогда в этом раю! Чего мне не хватало, что мне еще было нужно? Как хорошо, как чудесно там жилось!.. Так нет же! Принесла нелегкая мою жену... Из-за нее я изгнан из рая и должен сейчас скитаться по белу свету. Только на беду нашу созданы женщины, только на горе... К чему они? Что за польза от них? Право же, ничего хорошего...»

Но тут же я вспомнил о горбунье, и мне стало совестно перед самим собой. «Как же так? Ведь она такая хорошая, святая душа! Ведь быть с ней вместе — это радость! Хорошо, легко и весело на душе, когда сидишь и беседуешь с ней. И тысячу бань не жаль отдать за один ее ноготок! От одного ее взгляда становится тепло и радостно. Стыдись, Фишка! — укорял я себя.— Не греши! Женщины приносят радость. Женщины могут осчастливить человека и даже ад превратить в рай...»

Эти сладостные мысли заставили меня забыть обо всех моих горестях. Уголок, в котором я прикорнул, показался мне уютным. Я перестал ощущать холод.

С чувством начал я читать молитву на сон грядущий, и тут же глаза у меня стали слипаться. Я уснул.

Вдруг меня разбудил какой-то страшный крик.

— Как она вам нравится! — раздался чей-то голос возле двери, и вслед за этим в сени изо всех сил швырнули что-то тяжелое, камнем упавшее наземь.— Полюбуйтесь на эту кикимору! Тоже человек! Подумаешь, графиня Потоцкая!.. Место тебе в сенях, дрянь этакая!..

Я сразу же узнал голос рыжего дьявола, разрази его громом! Он еще пошумел, поругался, обзывая кого-то графиней Потоцкой и сплевывая при этом, потом с размаху хлопнул дверью.

Краешек луны вылез из-за разорванных туч, заглянул сквозь щели в крыше и осветил человеческую фигуру, свернувшуюся клубком и лежавшую тихо, без движения. Я поднялся с места и пошел посмотреть, что это там за «барыня» такая, или «графиня Потоцкая». Взглянул — и меня точно громом ударило! В глазах потемнело, голова кругом пошла, как от первого пара в бане на верхнем полке́.

Моя горбунья, бедная, лежала, не в силах двинуться от ушиба, полученного при падении, когда этот рыжий злодей швырнул ее оземь. Я стал, как только мог, приводить ее в чувство, а когда она, с божьей помощью, начала обнаруживать признаки жизни, я с нечеловеческой силой, как бывает, когда спасаешь кого-нибудь во время большого пожара, подхватил ее на руки и отнес к себе в уголок. Готов поклясться, что в ту минуту я ходил прямо, как все люди, ничуть не хромая. Она медленно раскрыла глаза и тихо вздохнула. Мне от радости показалось, что я обрел весь мир. Я чувствовал себя, как нищий из печатных

книжек, который ни с того ни с сего оказывается в великолепном дворце и восседает на мягких подушках рядом с какой-нибудь царевной... Я быстро скинул с себя кафтан и укутал им свою царевну, дрожавшую от холода.

— Ох! — вздохнула моя бедная горбунья, протирая глаза и озираясь по сторонам, словно не зная, на каком она свете.

— Что ты так смотришь? — спросил я.— Это я, Фишка. Хвала и благодарение господу за то, что ты жива!

— Горе мне! — отвечала она с глубоким вздохом.— На что мне жизнь! Лучше смерть, чем такая жизнь! Бог ведь добрый, милосердый... Зачем же он создает таких, как я? Неужели только для того, чтобы мучиться и страдать на свете?

— Глупенькая! — говорю я ей.— Уж бог-то, наверное, знает, что делает. Значит, ему угодно, чтобы и такие, как мы, жили на свете. Господь — отец, он видит, слышит и знает все. Думаешь, он не знает, как мы оба страдаем? Знает! Вот смотри, даже божья луна с неба заглядывает сюда к нам, в сени. Не греши, глупенькая, не говори так!

Она уставилась на меня горящими глазами, и крупные капли слез при свете луны сверкнули, как бриллианты. Ее глаза и взгляд в ту минуту я вовек не забуду.

Проснувшись на другой день ранним утром, я увидел свою горбунью, лежащую в углу, завернутую в мой кафтан. Она спала, как птенчик, и бледное лицо ее было так хорошо, так умилительно хорошо... Губы у нее вздрагивали и вытягивались, словно в мольбе.

Казалось, что она умоляет: «Не мучьте меня! Что я вам сделала? Чего вы от меня хотите? За что вы губите мою жизнь? Что я вам сделала? Что я вам сделала?»

У меня сердце на части разрывалось от боли. Слезы навернулись на глаза, и я заплакал...

Первым вышел из дому в сени рыжий дьявол, разрази его громом! Взглянул вороватыми глазами на меня, на горбунью и с ядовитой усмешкой вернулся в дом.

18

Фишка вдруг умолк и словно в смущении отвернулся. Сколько Алтер ни упрашивал его продолжать рассказ, ничего не помогало.

— Не стоит, право! — бормотал Фишка, краснея, бледнея, и продолжал все же молчать.

Было видно, что под конец он сам устыдился своих речей. Сначала, когда воспоминания обожгли его, он загорелся и заговорил, точно в жару, пылко изливая свою душу в таких словах, которые казались выше Фишкиного разумения. Речь лилась сама собой, он в это время забыл обо всем, что его окружает, и едва ли отдавал себе отчет в том, что говорит. Потом спохватился, прислушался к своим словам и, сам удивившись своему красноречию, смущенно умолк.

У кого из нас не бывает хоть раз в жизни такого светлого, счастливого часа, когда сами собой раскрываются уста и чистые, подлинно человеческие чувства изливаются подобно кипящей лаве из огнедышащей горы?

Ведь даже для Валаамовой ослицы[1] пришел час, когда она вдруг произнесла прекрасную речь. А что уж говорить о профессиональных ораторах! Нередко бывает так, что пустослов, обычно жующий жвачку, вечно болтающий глупости, которые и слушать совестно, вдруг вдохновится и, помимо собственного желания, скажет что-либо толковое, так что и слушатели и сам он собственной персоной потом только диву даются. Самый бездарный кантор, кочерыжка, рулады и дикие завывания которого слушать тошно, и тот иной раз, случается, запоет с подъемом, с огоньком и блестяще исполнит праздничную молитву.

Но минет счастливый час — и ослица по-прежнему остается ослицей, оратор — болтуном, а кантор, с позволения сказать,— кочерыжкой... Однако не в этом суть.

Знавал я двух евреев, работавших в еврейской типографии. Вся их работа состояла в том, что они оба день и ночь вертели маховое колесо печатной машины. Они стояли у колеса один возле другого как намалеванные. Знай только верти и верти, не переставая, без конца, на одном и том же месте, на один и тот же лад!.. Но вот, случалось, иной раз их вдруг что-то взволнует... Тогда они принимались вертеть колесо с увлечением, с чувством, с воодушевлением. Глаза у них горели, пылали, а они вертели с таким наслаждением, точно в рай попали, точно не колесо они вертели, а мирами ворочали и выражали каждым поворотом колеса какую-то мысль, какое-то чувство, которое им покоя не дает. Но вот проходила эта минута: пыл

---

[1] Библейская легенда, повествующая о том, как заговорила ослица.

угасал; они глядели друг на друга неподвижными от удивления глазами, сплевывали и, отвернувшись, продолжали вертеть колесо, как обычно, снова похожие на истуканов.

Я гляжу на Фишку, как будто сразу утратившего дар речи, и думаю, как бы заставить его заговорить снова. Неожиданно приходит мне на память истукан рабби Лейба Сореса[1]. Вспоминаю предание о том, как рабби создал глиняного истукана и вложил в него бумажку с именем божьим... Тогда истукан двинулся с места и стал выполнять все приказания рабби Лейба. «Прекрасно! — думаю.— Вот кстати вспомнил! Однако вместо имени божьего, которым воспользовался рабби Лейб, я применю иное средство: напомню своему истукану о девушке...» Начинаю поддавать жару, подогреваю Фишку разговорами о его горбунье. Я и сам при этом увлекся, заговорил от души, с огоньком, и закончил свою речь следующим образом:

— Сколько ни в чем не повинных, несчастных детей на свете страдает и мучается за грехи своих родителей, которые потворствуют своим прихотям, думают о глупостях, разводятся и бросают детей своих, свою плоть и кровь, на произвол судьбы! Что им до детей! Они думают только о себе, о своей собственной душонке. Каждый из этих хваленых родителей женится, выходит замуж...

Я запнулся и подавился словом. Мой Алтер, вижу, разволновался: лица на нем нет. У меня сердце екнуло: как же это я маху дал, проговорился при Алтере, которого каждое мое слово не могло не задеть за жи-

---

[1] Согласно легенде, праведник Лейб создал из глины человека (истукана) и подчинил его своей воле.

вое! Я очень жалел об этом, казнился в душе и отчитывал себя: «Эх, Мендл, Мендл, пора бы тебе взяться за ум, не выбалтывать всю правду, как мальчишка! Ведь у тебя, слава тебе господи, борода вон какая выросла! Пора бы уже быть посолиднее, понимать, что полезно и хорошо. Ох, язык твой, язык!»

В душе я дал себе обет впредь остерегаться: слушать, смотреть и молчать, как это делают все умные, порядочные люди, усвоившие эту полезную в жизни манеру. Я буду всех только хвалить, чтобы снискать таким образом всеобщую любовь. Мне представились целые полчища наших хваленых добряков, дядюшек с сияющими личиками. Они суетятся, юлят, со всеми запанибрата, без них ни одно торжество не обходится, они неизменно довольны всем, целуются со всеми, кто рангом выше их, буквально тают от радости, когда говорят с кем-нибудь о выпавшем на его долю счастье, со слезами на глазах и с приторно-сладкой улыбочкой желают ему всякого блага, без удержу расхваливают его добродетели и щедро сулят ему царство небесное... Они подхватывают и передают всевозможные новости, вырастают всюду, где только пахнет какой-нибудь пирушкой или празднеством. Глазки у них постоянно светятся, лбы блестят, щеки румянятся, а носы влажны и в пупырышках. Они довольны, веселы, преисполнены радости. Благо вам, дяденьки! Отныне и я буду дяденькой. Мне до того понравилось это звание, что я несколько раз подряд с большим удовольствием повторил: «Дяденька! Дяденька Менделе! Дядюшка реб Менделе!..»

Дабы загладить свою вину перед Алтером, я начал ухаживать за ним и улещивать его сладкими речами:

— Реб Алтер, вам, бедненькому, наверное, не-

удобно сидеть! Вы, голубчик, сползли на самый край! У вас, родной мой, поди все косточки болят от долгого сидения на одном месте? Перейдемте, прошу вас, ко мне в кибитку, там я вас устрою поудобнее. Выпьем по маленькой, подкрепимся...

Мой Алтер не заставил себя долго упрашивать. Вылезли мы все из кибитки. Моей коняге предоставили честь плестись впереди, а кляче Алтера — позади. Размяли ноги, затем забрались ко мне в кибитку и выпили по рюмочке. Я истекаю медом, расточаю Алтеру всяческие добрые пожелания и даже чувствую слезы умиления от беспричинной радости, как всамделишный дядюшка. Подбадриваю Фишку, поддаю ему жару, искушаю его. Кровь у Фишки разыгралась, и рассказ его начался снова, на сей раз.

НА ВОЗУ У МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМА

Фишка снова начинает на свой лад, я ему помогаю, поправляю на свой манер, а Алтер торопит, подгоняет по-своему, и повествование идет дальше.

— На следующий день, в пятницу, в местечковой синагоге было невероятно тесно от нищих, плотным кольцом окруживших служку. Каждый хотел быть первым и получить билет с направлением на субботние трапезы к богатому или к какому-либо зажиточному хозяину. Выше всех ценился билет на трапезу у откупщика. Ниже всех — к лицам духовного звания и к общинным заправилам, потому что они любят сами хорошо пожрать, а другому ничего не дают. Старосты всякого рода братств стонут и вздыхают по поводу горестной участи еврейских нищих, а

есть дают им, что называется, на кончике ножа, только губы помазать. Нищие считают несчастьем попасть к кому-либо из них и избегают таких благодетелей, как зловонного места. И если кому-нибудь достается такой билет, все остальные над ним издеваются, как над человеком, проигравшимся в карты...

Синагогальный служка был очень зол, кричал, что на этот раз нищих почему-то больше, чем когда бы то ни было.

— Гольтепа! — надрывался он.— Что это вы, как саранча, налетели на наш несчастный город! Сил никаких нет! Куда вас всех девать! Наказание божье, напасть, да и только!

Он кричал и злился, а нищие продолжали свое, толкались и слушать ничего не желали. Все в один голос орали: «Мне! Давайте мне! Мне!»

Каждый старался сунуть служке в руку несколько грошей. А служке, бедному, ничего другого не оставалось, как принимать деньги, сердиться и раздавать билетики.

Мы с горбуньей стояли поодаль, в сторонке. Во-первых, мы не могли, а во-вторых, не осмеливались толкаться среди наших тузов, среди знати и воротил. Всюду имеются тузы и аристократы — даже среди нищих. Аристократы-нищие даже в тысячу раз хуже богачей... Рыжий черт был, конечно, одним из первых. Он сразу получил два хороших билета — для себя и для моей жены. Ей даже не пришлось толкаться. Он указал на нее служке издали. «Взгляните, пожалуйста, вон она, бедная, стоит, моя слепенькая!..»

Когда нищие ушли, разбрелись по городу, каждый со своим билетом, каждый к своему хозяину, я и горбунья подошли на всякий случай к служке и по-

просили билетов для себя. Он взглянул на нас с какой-то кисло-сладкой усмешкой и ни слова не ответил.

— Сжальтесь,— говорю,— над двумя несчастными калеками. Всю неделю горячего в рот не брали.

— Нет больше билетов! — отвечает служка.— Ведь вы сами видели, что тут творилось. Посылать больше некуда.

— Возьмите...— говорю я и сую ему в руку алтын.— Возьмите, пожалуйста, и сжальтесь над нами, поддержите. Сделайте доброе дело!

— Слушай-ка! — отвечает мне служка уже несколько мягче.— Денег твоих мне не нужно. Один билет у меня еще есть. Могу его отдать кому-нибудь из вас обоих. Бросьте жребий, если хотите.

— Отдайте ей, ей! — прошу я его, указывая на горбунью.

— Отдайте ему, ему! — просит горбунья, указывая на меня.— Нет, нет, я ни за что не возьму этого билета!

Довольно долго мы так упрашивали, уговаривали друг друга взять этот билет. Но каждый из нас отказывался и клялся, что ни в коем случае не возьмет. Служке это, видимо, понравилось. Он поглаживал бородку и смотрел на нас очень дружелюбно.

— Знаете, что? — сказал он.— После вечерней молитвы будьте оба в сенях, у двери. Когда народ будет расходиться из синагоги, наверное, найдутся люди, которые возьмут вас к себе. Я тоже похлопочу за вас.

Так и было. Вечером после молитвы служка обратился к двум прихожанам и, указав на нас, просил их пригласить нас к себе на субботние трапезы.

— Мне, право, совестно было,— оправдывался

он,— посылать к вам сегодня гостей. Я и так почти ни одной субботы не пропускаю. Но если будет на то ваша добрая воля,— возьмите вот этих нищих.

— Пожалуйста! — ответили оба.— Какой же это еврей отказывается от гостя к субботней трапезе? Есть один только день в неделю, когда можно хоть немножко отдышаться. Почему же в такой святой день не помочь нуждающемуся, не поделиться чем бог послал? Нет, мы очень просим вас обязательно каждую неделю не забывать о нас.

Оба прихожанина шли впереди. Рядом с ними шли их дети — мальчики, подростки, чистенькие, одетые по-субботнему. Все сияли и весело беседовали. Так и чувствовалось, что в их груди живет еще одна, вторая душа, ниспосылаемая еврею на день субботний. Мы с горбуньей тихо шли позади и оба были чему-то рады.

— С субботой! — приветствовал свою жену мой хозяин, входя в дом.

Она сидела в чистом, праздничном платье и была хороша, как сказочная царевна. На коленях у нее играл маленький ребенок,— не дитя, а кукла, а по обе стороны прыгали и резвились две хорошенькие разряженные девочки.

— Господь прислал нам гостя на субботу. Я ведь знаю, мой друг, что иначе ты бы меня и на порог не пустила! — закончил он с улыбкой и стал расхаживать по дому, распевая субботние гимны.

Дойдя до слов «Бравая жена» [1], он остановился возле жены, взял ребенка на руки и стал целовать и

---

[1] «Бравая жена» — гимн, который состоит из стихов библейской книги «Притчи Соломоновы». Читается религиозными евреями перед субботней трапезой.

прижимать его к груди, а остальные ребятишки окружили отца и весело тормошили его со всех сторон. Казалось, что в дом и в самом деле прилетели добрые святые ангелы, упомянутые в гимне.

Я рассказываю об этом так подробно, потому что в ту минуту меня особенно сильно тянуло к моей горбунье...

Мой хозяин был, судя по всему, человек среднего достатка. Субботние свечи стояли в ярко начищенных подсвечниках — не знаю, настоящего или накладного серебра. Стол был уставлен фаянсовыми тарелками, а субботние халы накрыты вязаной салфеткой. На столе искрилась бутылка вина, и каждый из нас произнес молитву над налитым ему бокалом. Во время трапезы хозяйка давала мне всего вдоволь и все время упрашивала кушать без стеснения. Все было очень хорошо. Но мне было немного не по себе: при каждом куске рыбы, при каждом глотке супа я вспоминал о ней. Кто знает, хорошо ли ей, бедняжке, там, так ли щедры ее хозяева, как мои? После ужина мне предложили остаться ночевать.

— Пускай переночует! — тихо сказала хозяйка, обращаясь к мужу.— Куда он пойдет? В эту знаменитую богадельню, в хлев... Пусть человек хоть одну ночь отдохнет немного.

После тяжелой ночи мне действительно очень нужно было отдохнуть, может быть, более необходимо даже, чем поесть. Было бы большим наслаждением полежать в тепле, с подушкой в головах, расправить немного кости. Но я вспомнил о ней и, горячо поблагодарив, отказался от ночлега. Горбунья находилась в другом доме на том же дворе. Я зашел за ней, и мы вместе сейчас же ушли.

На улице было светло и торжественно. Светила луна, и бродить было очень приятно.

— Пойдем,— сказал я ей,— погуляем немного. В богадельню нам торопиться нечего.

Когда я вспомнил о богадельне, у меня мороз пробежал по коже. Больной старик, так тяжко стонавший прошлой ночью, еще с утра потерял сознание, а вечером — уже после того, как зажгли субботние свечи — умер. Тело его положили в сенях, где мне предстояло ночевать, и там оно должно было лежать до воскресенья. Мы шли долго, забрели в какой-то переулок, весь в зелени и садах. Кругом царила тишина, не слышно было ни шороха... Все жители местечка, по обычаю, давно уже спали после праздничного ужина. Мы присели на траве возле забора.

Долго мы оба молчали. Каждый из нас думал о своем. Затем горбунья глубоко вздохнула и тихо, очень грустно стала напевать известную песенку:

Меня со свету сжил отец,
Родная мать живьем заела...

Я взглянул на нее — слезы так и лились у нее из глаз. Лицо пылало, и смотрела она на меня с грустной улыбкой. Всю душу мне выматывал этот взгляд. У меня защемило сердце, в висках застучало, будто молотками. Не знаю, что со мной творилось... Впервые у меня сорвалось с языка:

— Душа моя!..

— Ах, Фишка! — ответила она тихо, глотая душившие ее слезы.— Не выдержу я этого! Сколько мне приходится терпеть от него!

— От кого? — спросил я загоревшись.— От него? От рыжего дьявола, разрази его гром!

— Ах, если бы ты знал, Фишка, если бы только знал!..

Я беру ее за руку, глажу по голове и со слезами на глазах умоляю излить передо мной наболевшую душу. Она закрывает руками лицо, близко-близко склоняется ко мне и дрожащим голосом, больше намеками, передает мне нечто такое, за что черт мог бы и в самом деле побрать рыжего подлюгу, чтоб ему сгинуть на веки вечные!..

19

Сильно взволнованный и опечаленный, Фишка снова умолк. Для того чтобы заставить его заговорить и выпытать у него все, что мне хотелось знать, я стал его подзадоривать и будто невзначай спросил:

— Ты еще не сказал нам, Фишка, хороша ли она собой, твоя горбунья? Казалось бы, чем могла так понравиться горбатая девушка?

— Что значит! — ответил с явным раздражением Фишка.— Какой может быть разговор о красоте, когда речь идет о еврейской девушке? Если она хороша, то хороша для себя. Кому какое до этого дело? Горбунья, правду сказать, очень недурна: хорошее лицо, прелестные волосы, а глаза у нее — бриллианты, да и только! Но разве все это могло бы меня заинтересовать?.. Шалопай я какой-нибудь, что ли, чтобы думать о таких вещах, бегать за красивыми женщинами? Глупости!.. Меня влекла к ней ее доброта, ее ласковость и то, что она, как сестра, жалела меня. А с другой стороны — то, что и я, как брат, жалел ее. Вот что!..

— Словом, не все ли равно? — сказал Алтер.— Как это говорится: будь хоть дьявол, да называйся Файвл!.. Короче говоря, она тебе рассказала нечто такое... Ну, Фишка, что ж это такое? Ну, ну!

Алтер подгоняет, Фишка начинает на свой манер, я ему помогаю, поправляю на свой лад, и повесть продолжается:

— Я давно уже замечал, что рыжий подлюга — побей его бог! — щиплет иногда бедную горбунью. Я думал, что это он со злости делает, как изверг, который вообще бьет и истязает людей. Но из ее жалоб в тот вечер я понял, что это были иного рода щипки. Они имели совсем другой смысл... Рыжий сильно приставал к ней, покоя не давал. Только, бывало, застигнет ее где-нибудь одну, сразу начнет улещивать сладкими речами: так, мол, и так... Городил всякую чепуху, сулил ей золотые горы. А когда оказалось, что добром ему ничего не добиться, он стал угрожать ей, стращать, что он ей житья не даст, пустит о ней дурную молву и все же доконает ее. Не раз он пытался взять ее силой. Кончалось это обычно тем, что она вырывалась из его рук, а иной раз угощала его таким ударом в живот, что у него в глазах темнело. Он, конечно, в долгу не оставался, платил ей с лихвой, донимал ее работой, а каждым щипком вырывал у нее куски мяса. Проходило немного времени, и история начиналась сызнова: опять сперва добром, а потом истязания и побои... И чем больше она его избегала, тем сильнее он к ней приставал. Мимоходом он и на людях иногда задевал ее,— толкнет будто невзначай или ущипнет...

Подобные гадости повторялись очень часто,— мне даже говорить о них не хочется. Но то, что произошло

накануне, было из ряду вон! Ужас! Ночью, после дикой суматохи в богадельне, когда все уже спали, а она, горбунья, прикорнула, бедняжка, в уголочке возле дверей, ее вдруг разбудил какой-то шепот над самым ухом. Это был рыжий.

— Тебе, милая, плохо тут лежать! — сказал он жалостливым голосом.— Пойдем, у меня для тебя хорошее место, сможешь, бедненькая, немного отдохнуть...

Она поблагодарила его за доброе отношение и попросила оставить ее в покое. Тогда он начал свои штуки... Так, мол, и так... Намекнул ей про меня: он, мол, знает о том, что она водится со мной... Стал стращать, что он ей покоя не даст, что он и меня доканает... Словно одержимый, он то прикидывался ягненком, то становился диким зверем, то ласкался, то бесился... Наконец стал охальничать и... получил такую затрещину, что едва зубов не лишился. Тогда он, разъяренный, схватил ее, как злодей, и вышвырнул в сени. А что было дальше, вы уже знаете.

Рассказ бедной горбуньи в тот вечер, когда мы сидели с ней на траве, подействовал на меня так, что я долго не мог ни слова вымолвить,— до того я был пришиблен. Но сердце у меня ныло, будто червь его точил. Я испытывал чувство жгучей ненависти к рыжему черту и горячее чувство жалости к ней, несчастной. Было и еще что-то,— не знаю, как это назвать,— что влекло меня, влекло и хватало за душу. Меня вдруг потянуло так, что сердце чуть не выскочило из груди. Я взял ее за руку, все еще прикрывавшую лицо, и не своим голосом проговорил:

— Душа моя! Жизнь я готов за тебя отдать!

— Ах, Фишка! — ответила она со вздохом и, при-



двинувшись поближе, склонила голову ко мне на плечо.

У меня в глазах просветлело, сладостная истома разлилась по всему телу. Я стал утешать ее, как любимую сестру: «Ничего, мол, бог милостив!» Я поклялся, что навеки останусь для нее преданным братом. Она заглянула мне в глаза, улыбнулась и, опустив голову, сказала:

— Не знаю отчего, Фишка, но мне сейчас так хорошо! Жить хочется...

Мы долго с ней беседовали, на душе было легко, мы тешили себя надеждой на божью помощь, на то, что мы еще воспрянем и все будет так, как нам хочется.

Вдруг мы услыхали стук, доносившийся откуда-то со стороны, неподалеку от нас. Я оглянулся и, плотно прижимаясь к забору, скрываясь в тени, сделал несколько шагов. Вижу: на противоположной стороне переулка какой-то человек возится у погреба. Что-то толкнуло меня сделать еще несколько шагов, присмотреться... Оказывается, это рыжий дьявол, разрази его гром! Он отвернул замок и тут же скрылся за дверью погреба, чтобы украсть все, что прячут там обычно на субботу. Молнией сверкнула мысль: «Фишка! Вот когда пришла пора отомстить за себя и за бедную горбунью! Поторопись, захлопни дверь погреба, и пусть он там торчит, как медведь в западне, пока его завтра утром не поймают, не накостыляют ему шею, не воздадут ему по заслугам!» Только тогда познал я сладостное чувство мести. Вся кровь во мне клокотала. Я одурел, как пьяный. Добежать до погреба, ухватиться за дверь и прихлопнуть ее отняло немного времени. «Вот и лежи теперь там, пес! — гово-

рю я, торжествуя. Взялся за накладку и хочу запереть, но скоба оказалась отогнутой. Тяну из всех сил,— напрасный труд! Напрягаю все силы, притягиваю скобу обеими руками, вот-вот, кажется, дело пойдет на лад,— но в эту минуту дверь от здоровенного рывка изнутри распахивается, я лечу в погреб и сталкиваюсь на лестнице с рыжим дьяволом.

— Ах, вот как, реб Фишл! — говорит рыжий, после того, как мы с минуту простояли молча друг против друга.— Это ты, собственной персоной, тут возился с дверью и рискнул ради меня нарушить святую субботу?! Очень мило с твоей стороны. Пойдем, миленький, спустимся немного ниже, я тебя по крайней мере угощу.

Он столкнул меня с лестницы так, что я чуть себе шею не свернул и растянулся на земле.

— Теперь, уважаемый приживальщик, получай задаток! — сказал он, ударив меня в спину.— Придется тебе малость потерпеть, пока я спрячу к себе в торбу жареную курочку, рыбу и миску со студнем, которые я второпях из-за тебя тут оставил...

Не прошло и секунды, как он снова ударил меня.

— Считай, Фишка! — сказал он.— Раз, два, три, четыре, пять... Это тебе за меня. А теперь получай за горбунью. Считай, Фишка! Девять, десять... Это что еще за манера таскаться с девушкой по ночам в укромных местах?! Двенадцать, тринадцать... Не беспокойся, я еще раньше видел, как ты разгуливал с ней по закоулкам... Шестнадцать, если я не ошибаюсь, семнадцать...

Последние его слова меня взбесили.

— Мерзавец! — крикнул я.— Ты не достоин поминать ее имя!

С этими словами я вскочил и вцепился в него зубами. Пошла настоящая война! Я зубами, он руками. Оба мы ненавидим и готовы убить один другого. Он с силой отрывает меня от себя, трясет, потом отбрасывает далеко в сторону, как мячик.

— Благодари бога,— говорит он,— что все обошлось, что мне не с руки тебя тут укокошить. Оставайся здесь, Фишеле, отдохни до завтрашнего утра. Вместо фаршированной рыбы, хозяева поймают завтра живую рыбку...[1] Спокойной ночи! Что прикажешь передать жене? Она еще сегодня получит привет от тебя...

С этими словами он ушел и запер за собою дверь.

Первым делом, как только я пришел в себя, было добраться до дверей. Тащу, рву — без толку! Дверь заперта снаружи. Не знаю, как мне быть. Сильно стучать боюсь,— услышат. Оставаться здесь — тоже скверно. У меня голова закружилась от страха, от злобы, от досады и боли, от полученных побоев. Спускаюсь вниз и вне себя от горя валюсь наземь. Что будет со мной завтра? Какую мне тут устроят встречу, когда все сбегутся поглазеть на вора? Ведь это будет значить, что меня поймали с поличным... Можно себе представить, сколько историй при этом сочинят! Всяк, кто в бога верует, будет меня колотить, и никакие объяснения не помогут.

Все эти мысли сверлили мозг, не давали успокоиться. В эту минуту мне показалось, будто что-то карабкается по мне. Протягиваю руку и хватаю крысу, с писком проскальзывающую между пальцев. Вскакиваю от ужаса; мне становится дурно, обливаюсь

---

[1] Непереводимая игра слов: рыбка — по-еврейски «фишеле».

холодным потом. Едва держась на ногах, я в темноте нащупываю холодную сырую стену и прислоняюсь к ней. Стою и думаю: «Господи боже мой, что это за жизнь? За что ты меня так наказываешь? Не лучше ли было бы и для меня и для всех, если бы я вовсе не родился? За что это?.. За что так обижать меня?..»

Сердце щемит у меня от этих мыслей, слезы ручьем текут из глаз. Я плачу и думаю: «Господи, где же ты?!» Пришибленный, ошеломленный, я застываю на месте как истукан. Вдруг слышу скрип дверей. Узкая полоска света ударяет мне в глаза. Слышу шаги: кто-то осторожно спускается по ступенькам. У меня от страха волосы на голове шевелятся. «Вот, думаю, схватят меня и разделаются со мной, как с вором!» И в ту минуту, когда я стою понурив голову, весь дрожа от страха, до меня доносится тихий голос, называющий меня по имени: «Фишка! Фишка!» — и тут же я вижу возле себя ее, горбунью! Я оживаю и вскрикиваю от радости.

— Тише! — говорит она, взяв меня за руку.— Уйдем отсюда поскорее!

— Душа моя! Ведь ты спасла мне жизнь! — восклицаю я, обезумев от радости, и, признаюсь, тут, в погребе, я впервые поцеловал ее.

Расспрашиваю, каким образом она сюда попала, но она просит не говорить и напоминает, что мы находимся ночью в чужом погребе.

— Уйдем поскорее! Обо всем узнаешь немного позже,— говорит она и, взяв меня за руку, выводит из погреба на улицу.

По дороге она мне все объяснила очень просто. Спустя несколько минут после моего ухода она почуяла что-то неладное и решила пойти посмотреть, где я.

Дойдя до конца забора, она поглядела по сторонам и увидела, что на противоположной стороне улицы кто-то стоит согнувшись возле низенькой крыши и с чем-то возится. Решив, что это я, она двинулась дальше, но, когда подошла поближе, услыхала, как тот говорит: «Теперь, реб Фишл, лежи, околевай, как собака! Заперто крепко, на совесть!» У нее в глазах потемнело, она застыла в оцепенении. Но в это время перед ее глазами выросла фигура рыжего дьявола. Он ее ущипнул и сказал, ухмыляясь:

— С праздничком! Здравствуй, смиренница! Хороша девочка, нечего сказать! Таскается ночью по улице, а еще корчит из себя скромницу... Домой пошла, мерзавка, распутница этакая!

Он толкнул ее в спину, и она была вынуждена пойти с ним, не смея слово сказать. По дороге он все время озирался по сторонам и то и дело перекладывал свою туго набитую суму с плеча на плечо. Не забывал он также издеваться над горбуньей и приставать к ней, по своему обыкновению. Она, бедняжка, шла встревоженная и грустная. Она знала, что я в беде, но помочь мне невозможно, так как рыжий не отпускает ее от себя и смотрит за ней во все глаза.

Вдруг навстречу им показалась компания, очевидно возвращавшаяся с какой-то пирушки. Люди были весело настроены, оживленно беседовали и громко смеялись над кем-то из них, оставившим по забывчивости, несмотря на субботу, носовой платок в кармане [1].

Рыжий дьявол метнулся в сторону, потоптался в

---

[1] Согласно предписаниям еврейской религии, в субботу в карманах ничего нельзя носить.

смятении и бросился в переулок. А моя горбунья тем временем также бросилась в противоположную сторону и исчезла.

Она, конечно, стремглав помчалась выручать меня из беды. Но представьте себе ее огорчение: она второпях запуталась в переулках и никак не найдет то место, где мы недавно сидели! Знает, что я в опасности, что меня нужно как можно скорее освободить, что каждая минута дорога, и как назло не может отыскать дорогу!.. Прошло довольно много времени, пока она наконец нашла погреб и освободила меня.

И вот идем мы с ней и беседуем в веселом настроении.

Я — ей:

— Милая моя! Ведь ты сегодня спасла мне жизнь!

Она — мне:

— Фишка! Ты вчера помог мне, как брат. Помнишь, вчера ночью, в сенях...

Однако по мере приближения к богадельне нас стали охватывать мрачные предчувствия, и мы умолкли. Сердце нам предсказывало, что ничего хорошего нас не ждет, что эта ночь благополучно не кончится.

Одна створка ворот богадельни была закрыта, другая чуть приоткрыта, так что в сени с улицы проникал свет. Подойдя к воротам, мы со стесненными сердцами остановились. Затем я стал потихоньку продвигаться первым. Не успел я просунуть голову, как увидал почти у самых ворот рыжего выродка, расположившегося рядом с моей женой. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, и с наслаждением пожирали то, что было у него в торбе. Он шепнул ей что-то на ухо и тут же исчез. А она поднялась, разъяренная, и набросилась на меня:

— Ах ты, такой-сякой! Черта твоему батьке! Ты что это вздумал ночи напролет шататься с этой распутницей, с этой дрянью?! Думаешь, я не знаю о твоих гнусных проделках? Я все знаю, давно уже знаю, только молчу, несчастная, и мучаюсь! Так-то ты меня благодаришь за мою доброту, за то, что я тебя в люди вывела?! Думаешь, пес ты этакий, что тебе все это сойдет? Нет! Я покажу тебе, мерзавец! Покажу и тебе и ей, кто из нас старше! Вот тебе! Вот! — стала она меня колотить.— Вот тебе за сегодняшнее, за вчерашнее... На! На! На! Провались ты сквозь землю!

Еле живой я вырываюсь из ее рук и выбегаю на улицу. Она еще долго стоит в воротах и продолжает кричать, потом уходит в сени и с силой захлопывает ворота, крикнув мне на прощание:

— Валяйся на улице, как собака!

Стоим мы с горбуньей на улице и смотрим друг на друга. Оба мы опечалены, у обоих тяжко на душе от всего, что сейчас произошло. Но нужда заставляет двигаться дальше. Идем куда глаза глядят в глубоком молчании, погруженные в свои мысли. Придя в себя, я увидел, что мы на синагогальном дворе. У меня душа болела, глядя на горбунью. Бедная, как она мучается! Вот уже вторую ночь покоя не знает. Думаю о том, как быть, где бы найти место для ночлега? И приходит мне в голову — в женской молельне! Прекрасное место!

С божьей помощью, мы после больших трудов благополучно взобрались наверх по сломанной лесенке, качавшейся под ногами. Нащупали в темноте открытую дверь и внезапно упали на что-то мягкое. Поднялся шум, кто-то стал прыгать рядом с нами, на нас и через нас. На нас посыпались удары и сзади, и с бо-

ков, и не поймешь откуда. Я мечусь из стороны в сторону, руки и ноги у меня трясутся. Хватаюсь за чью-то бороду. За чью, думаете? За козью бороду... Здесь лежали козы, ночующие, по обыкновению, вместе с общественным козлом в женской молельне.

— Где ты? — окликаю я мою горбунью.— Не пугайся, здесь, не сглазить бы, очень много коз! Видать, состоятельное местечко!

Я выгнал коз, попросил их провести эту ночь на улице. Сам я тоже вышел, пожелал горбунье спокойной ночи и плотно прикрыл двери.

Спускаясь по лестнице, я столкнулся с козлом, шедшим мне навстречу с низко опущенной головой и направленными на меня длинными рогами. Козел, видно, был очень недоволен тем, что я так бесцеремонно обошелся с его женами. Борьба с ним продолжалась долго. Он не отставал, следовал за мной по пятам, пока мне не удалось улизнуть от него в мужскую молельню, помещавшуюся внизу.

В молельне на столах и скамьях лежали, растянувшись, как баре, разные почтенные попрошайки. Они спали, пересвистываясь носами на разные лады. Приятно было смотреть, как сладко они спят. «Хорошо им, в самом деле, живется на земле,— подумал я и в душе позавидовал.— Это нищие какой-то особой породы, аристократы...» Отыскал себе местечко возле печи, повалился на скамью и тут же уснул.

Но не суждено мне, видать, ничего хорошего в жизни! Прошло немного времени, и меня в самый разгар сна разбудили:

— Молодой человек, встаньте, пожалуйста!

Протер глаза и увидел перед собой порядочное сборище людей с серьезными физиономиями. То были

члены братства «ревнителей псалтыря», которые по субботам приходят чуть свет и тут, возле печи, читают псалмы. Пришлось встать. Омыл руки, уселся, едва держа голову. Потягиваясь и зевая, принялся читать псалмы.

20

— После взбучки, которую я в ту пятницу получил от своей жены, я понял, что означает ее странное отношение ко мне в последнее время. Ее бесила моя дружба с горбуньей. Сведения об этой дружбе доставлял ей рыжий черт и врал при этом без зазрения совести. Он рассчитывал таким образом добиться, чтобы жена плюнула на меня и бросила навсегда. Но он просчитался. Вместо того чтобы хладнокровно предоставить мне идти своей дорогой и окончательно разойтись со мной, жена вознегодовала еще сильнее. Слыханное ли дело, чтобы ее муж так поступил! Чтобы какая-то горбунья нравилась Фишке больше, чем она! Ведь это такое оскорбление, с которым примириться невозможно! Нет, этого допустить нельзя!

— А почему же она... жена твоя то есть, путалась с рыжим? — не сдержался и спросил Алтер.

— Казалось бы, вы совершенно правы! — ответил Фишка.— Но еще будучи в глупской бане, я научился понимать, что такие вопросы нечего задавать. Где еще так честят всех и каждого, как в бане? И кто? Именно те, которым, право, следовало бы помалкивать. Человек, который никогда слова правды не скажет, смеется над другим и заявляет, что тот, мол, лгун. Плут, которому и гроша доверить нельзя, обвиняет другого в воровстве. Скряга, готовый за полушку гла-

за себе выколоть, хохочет, указывая на другого: вот, дескать, какая свинья! Злой, жестокосердый человек называет другого извергом. Честолюбец, на все готовый ради малейшей почести, злословит о другом: тот, видите ли, жаждет славы...

Извозчик Берл в разговоре с нами, бывало, хватался за голову.

— Ох, ох! Не пойму, как у человека язык поворачивается! Как можно осуждать другого, когда хорошо знаешь про себя, что сам ты вор, лгун, свинья, мерзавец и все что угодно?!

— Эх ты, умная голова! — отвечал ему в таких случаях сторож Ицик.— В том то и беда, что в своем глазу человек бревна не замечает, а сучок в глазу у другого кажется ему бревном!

А Шмерл, один из бездельников, ютившихся в бане, замечал с усмешкой, зажав бороду в кулак:

— Позвольте, реб Берл! Позвольте, реб Ицик! Оба вы ошибаетесь! Правда, как я понимаю, попросту заключается в том, что каждый про себя думает: мне можно, а другому нельзя.

— Правильно, Шмерл! — воскликнул я, подскочив на месте, и тут же задумался.

Слова Шмерла поддали жару бесу, сидящему в каждом из нас, грешных. Он проснулся и во мне со злобным смешком и стал терзать мое сердце, мучить сознание, будоражить мысли и выкапывать старые истории, залежавшиеся в памяти. Всполошились будто из-под земли выросшие образы. И бес, указывая на них, с кривой ухмылкой произносит моими устами:

— Вот они, вся эта почтенная публика! Им-то все можно, все дозволено...

Этой публики полно повсюду — и в торговле, и в

городских ведомствах, и в различных обществах, и в религиозных братствах, и во всем нашем быту. Немало тут и женщин — молодых и старых, всех пород и времен, старосветских баб и молодых дамочек... «Добро пожаловать, уважаемые!» — говорю я про себя.— Господь свидетель, что я рад бы в глаза вас не видать и имени вашего никогда больше не произносить. До того вы мне опротивели. Но что поделаешь? Уж раз принесла вас нелегкая, я не могу отпустить вас ни с чем. Придется, в угоду дьяволу, о каждом из вас хоть что-нибудь да рассказать.

— Погоди-ка минуточку, Фишка! Не взыщите, реб Алтер! — обращаюсь я к своим спутникам.— Я хотел бы кое-что рассказать, только дайте мне немного подумать.

Я выбираю одного из этой хваленой компании: «Пожалуйте на расправу!» Тот мечется, стонет, орет, как связанный петух, чуя близкий конец. Остальные косятся на меня, поглядывают недружелюбно, чтобы я молчал... «Дурачье! — думаю я.— Плевать мне на вас! Меня «букой» не запугаешь. Обезьяны вы, а не медведи...» Бес во мне разыгрался и подзуживает: «Так их, так! Бери их в работу, всю их честную компанию!»

— Вот послушайте, реб Алтер, интересную историю. В одном еврейском городе эти типы, как водится...— начинаю я рассказывать и застреваю на полуслове.

Женщины умоляюще смотрят на меня: «Милый, хороший реб Менделе, пощадите, не рассказывайте!..» Они кокетничают, смотрят горящими глазками... От их кокетства и от одного их взгляда я сразу таю. К тому же вспоминаю о своем намерении затесаться

в компанию «дядюшек». «Ну вас к шуту!» — говорю я с улыбкой и, обращаясь к Алтеру, добавляю:

— Я имею в виду этих самых... отцов города... Однако неохота мне почему-то сегодня рассказывать эту историю... Провались они в преисподнюю! Извините, реб Алтер.

— Наоборот, пожалуйста! По мне, они могли бы хоть сию минуту околеть! Но что это за манера перебивать человека, вторгаться с историями, с вашими историями!..— говорит Алтер и смотрит на меня, пожимая плечами, будто хочет сказать: «Вот, прости господи, дырявый мешок! Так и сыплет, удержу не зная! Подумаешь, очень нужны его истории! Кому? Зачем?..» И, отвернувшись, Алтер несколько раз произносит: «Фи, фи!» — а затем начинает тормошить Фишку:

— Ну, и что же? Словом, короче говоря, чем это кончилось?

Фишка начинает на свой лад, я следом за ним — на свой манер, Алтер по-своему подгоняет,— и рассказ продолжается:

— Между тем время шло своим чередом, а мы с женой чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга. Она еще крепче снюхалась с рыжим выродком, стала с ним запанибрата. Они не расставались, и уже вдвоем, как барин с барыней, ходили побираться. Меня это теперь не так трогало. Я постоянно думал о бедной горбунье. Мысль о ней не оставляла меня ни на минуту. «Ходите! — думал я.— По мне, можете хоть сквозь землю провалиться! Подавитесь вашими домами и благодетелями!»

При встрече со мной рыжий дьявол поглядывал с насмешкой, будто желая сказать: «Объегорил я тебя,

околпачил как следует!..» Но я только отплевывался и шел своей дорогой: «А что тебе за выгода от того, что ты с ней валандаешься? Помогает это тебе? Ведь она же замужняя! Хе-хе, круто завинчено! То-то! И я тебя неплохо объегорил, черт этакий! Накось выкуси! Лопни!»

Со мной стал ходить за подаянием один старикашка из компании рыжего, такой же, как и тот, изверг и вор. Он со мной устроился недурно. Ему никто отказать не мог, он умел скорчить жалостливую рожицу и, указывая на меня, бедного калеку, вздыхал от самой глубины души. Он изображал несчастного отца, сопровождающего убогого сына...

— Хромай, Фишка, хорошенько хромай, сокровище мое! — говорил он, подталкивая меня сзади, когда мы входили в какой-либо дом.— Скриви рожу и стони, стони, собака этакая! Ничего, они мне за каждый твой стон заплатят!..

По дороге он все время учил меня разыгрывать мою роль, издевался над горожанами, а иногда, бывало, ущипнет меня, дернет и с добродушным видом проклинает при этом:

— Ах, черт бы тебя взял!

Однажды он, якобы в шутку, так саданул меня в грудь под ложечку, что я чуть богу душу не отдал. Всю собранную милостыню он, конечно, забирал себе. Мне трудно было у него даже грош вырвать.

— На что тебе, Фишка, деньги? — шутил он.— Ты и сам — деньги! Хромали бы только твои ноженьки да болели бы у тебя все косточки, пока не околеешь, сокровище мое!

Однажды, когда нужда заставила, я пристал к не-

му и потребовал свою часть. Увидев, что я не шучу, он набросился на меня:

— Молчать, хромой пес! Даром, что ли, я буду возить тебя в своей кибитке? Даром, думаешь, я буду водить такую падаль? Молчать, наглец! А то жене расскажу. Я тебя знать не знаю и разговаривать с тобой не хочу. Я знаю только твою жену. Она мне тебя передала, от нее я этот товарец драгоценный получил, а с ней уж мы как-нибудь сочтемся...

Скверно! Мне стало ясно, что я у этой оравы вроде медведя на поводу у цыгана. Меня водят и на мне наживаются. Жену у меня отняли, околпачили ее, теперь она же им помогает, а меня передает, как вещь, в руки жуликов и воров!.. Скверно, горько, дальше некуда!

Я понял, что дело пропащее, что с женой мне больше не жить. «Зачем же,— думал я,— мне тут оставаться? Надо бежать, бежать как можно скорее! Каждый лишний день пребывания среди таких воров — грех перед богом. Ведь это люди, для которых ничего святого нет, люди, которые палец о палец не ударяют. Скинули с себя все заботы, знать ничего не хотят о труде, о заработках... Паразиты, которые насели на людей, сосут кровь из народа, да еще питают лютую ненависть к тем, кто их кормит». Я и сам очень низко пал в своих глазах, когда стал думать обо всех своих похождениях за время пребывания среди этих бандитов. Ведь я совсем не тот, что был раньше. Я набрался от них много всяких гадостей. Единственное средство избавиться от всех этих бед и несчастий — это вырваться от них и бежать отсюда, как от чумы.

Но как быть с ней? Как оставить мою горбунью? Мне представлялось, что я стою над заклятым местом,

над пропастью, что подо мною ад. В одно ухо чей-то голос кричит: «Спасай свою душу, Фишка! Беги куда глаза глядят!» А в другом ухе раздается голос горбуньи: «Фишка! Фишка!..» Надо выбирать одно из двух: либо туда — в светлый мир, свободный от греха, от горя и мытарств, либо оставаться здесь, в аду, но зато вместе с ней. Я вдоволь поплакал и... да простит меня бог за грехи — остался...

Лишь потом, спустя некоторое время, мне в голову пришла мысль бежать вместе с горбуньей. Но для этого необходимо было прежде всего развязаться с женой. Что может быть хорошего от того, что я буду без толку водиться с девушкой? Ведь люди будут болтать и думать бог знает что... Единственное средство — развод. Но согласится ли, думал я, моя жена? Ведь это же язва, божье наказанье! Если я заговорю о разводе, она мне назло откажет! Величайшим удовольствием для нее в последнее время было мучить меня и всячески досаждать мне. И все же это меня не испугало. Я решил так или иначе, добром или злом, добиваться развода. Авось бог не без милости. Но до поры до времени я держал это в тайне, чтобы никто об этом не проведал.

После разговора со старикашкой я отказался ходить по миру с кем бы то ни было из этой шатии. Пришлось вынести немало горя, но я заупрямился: умру, а медведем на поводу у этих жуликов не буду! Рыжий черт со своей братьей были очень недовольны и не раз пускали в ход кулаки.

Однажды, избивая меня, они сказали:

— Что же, мы тебя даром, что ли, возить будем, цацу этакую? Работать не хочешь, зарабатывать не желаешь,— катись отсюда ко всем чертям собачьим!

— Пожалуйста, хоть сейчас! — ответил я.— Отдайте мне только мою жену, жену мою!

Они переглянулись и разразились хохотом. Само собой понятно, что жену я потребовал только для отвода глаз. В душе я думал: держите ее у себя, это золото, пусть она только разведется со мной! Правда, от побоев, которые я получил, у меня ныло все тело, но в то же время я был доволен.

«Ничего! — думал я.— И это пригодится. Увидят они, что я упорствую, что пользы им от меня никакой, тогда они сами рады будут избавиться от меня. А это поможет мне развестись с женой».

21

— Бася! — подкатился я однажды к жене, когда мы были одни, желая выведать, что она думает о разводе.— Бася, чего ты от меня хочешь?

— Провались к черту, Фишка! — коротко ответила она.

— Вот тебе и раз! — сказал я, притворяясь обиженным.— Я к ней по-хорошему, а она ругается: «Провались ты к черту, Фишка!» За что?

— Чтоб тебя падучая скрутила! — проговорила она, скорчив рожу, и отодвинулась от меня.

— Дай тебе бог здоровья, Бася! — сказал я спокойно.— Брось, право, свои глупости, и давай будем жить, как богом положено.

— Пропади ты пропадом, Фишка, вместе с твоей распутницей!

«Пропасть бы лучше тебе с твоим рыжим дьяволом!» — подумал я и заговорил в открытую:

— Послушай, Бася! Как это говорится,— еврейскую женщину принуждать нельзя. Не хочешь жить со мной,— ну что ж! На то есть и развод у евреев. Не ладится,— не надо!

— Ага! Этой шлюхи ему захотелось! Избавиться от жены и поскорее с этой распутницей связаться! Не дождетесь вы этого. Оба раньше подохнете! Ничего, ей это даром не пройдет, твоей мерзавке, я ее землю грызть заставлю. Слышишь, Фишка!.. Чтоб твоему батьке и прабатьке...

Жена так раскричалась, что я еле ноги унес.

Дела мои обстояли скверно! Куда ни кинь! Мне и самому было не сладко, мытарился я ужасно, а бедняжке горбунье тоже доставалось немало, и все из-за меня. Жена моя вела себя с ней, как хозяйка с прислугой, всячески помыкала ею. А если горбунья жене в чем-нибудь не угождала, она зверски расправлялась с нею, горемычной, а рыжий, в свою очередь, тоже истязал ее. Скверно было нам обоим! Единственное наше утешение заключалось в том, что поздно ночью, когда все спали, мы украдкой выходили на улицу, чтоб хоть немного поговорить и излить друг перед другом наболевшую душу.

Однажды сидели мы ночью возле большой синагоги. Небо было усеяно звездами. Кругом царила тишина. Ни живой души. Она сидит рядом со мной на камне, съежилась, сгорбилась. Слезы так и льются из ее глаз. Она тихонько напевает знакомую грустную песенку:

Меня со свету сжил отец,
Родная мать живьем заела...

Каждое слово ее для меня точно нож в сердце. Я старался утешить ее, успокоить ласковыми речами.

Вот пройдет, мол, немного времени, и мы, бог даст, дождемся счастья. Я рисовал ей нашу совместную жизнь после того, как мы оба, с божьей помощью, избавимся от наших горестей. Я представлял ей все очень живо, рисовал во всех подробностях глупскую каменную баню, говорил о том, как я там снова устроюсь и, если счастье мне улыбнется, получу там со временем должность сторожа. Она и сама, может быть, найдет себе там работу: банщицы или что-нибудь вроде этого. А не то можно в Глупске найти и другие заработки. Для нищих Глупск — земля обетованная: он велик, домов в нем что мусору. И люди там без затей, без особых фокусов, каждый делает что хочет, и никому до этого дела нет. Там, к примеру, очень почтенные люди могут ходить в лохмотьях, замызганные, по шею в грязи — и никто на это и внимания не обратит. Можно средь бела дня разгуливать по улице в каком-нибудь замусоленном балахоне нараспашку — и то сойдет. Или наоборот: нищий может щеголять в шелках и бархате,— и до этого тоже никому никакого дела нет. Там вообще трудно отличить бедняков от богачей — и по одежде и по манерам. Очень часто случается, что старосты разных братств сами по себе бедняки, а кормятся на общественный счет заодно с богачами, друг другу помогают и не ссорятся. Бедность — не позор. Было бы только счастье, тогда живо на ноги встанешь. Мало ли таких, которые совсем недавно еще были людьми ничтожными, маленькими, бедными, у других на побегушках и вдруг стали в городе видными персонами, коноводами, воротилами. Очень даже может статься, что я и сам, вот такой, каков есть, сделаюсь со временем общественным деятелем, важной персоной и все, бог

даст, пойдет хорошо, будем жить в богатстве и чести. Ты не смейся, душа моя, я вовсе не так уж далеко забрался. В Глупске это обычная история, надо только верить в бога, не падать духом и быть правоверным евреем... Уповать! Ах, Глупск, Глупск! Как бы дожить до того времени, когда можно будет вырваться из этой мерзкой банды и умчаться к тебе, отец родной!

— Ах, Фишка! У меня уже сил нет больше терпеть все это! — сказала она, глубоко вздохнув, и склонила голову ко мне на плечо.

Лицо ее выражало мольбу. Я стал ласкать ее, утешать, подбадривать надеждами на будущее. Она немного повеселела, заглянула мне прямо в глаза и улыбнулась.

— Фишка! — сказала она тихо.— Ты у меня единственный на всем свете! Ты мне отец, и брат, и друг — все! Смотри, Фишка, будь мне верен и не забывай обо мне! Поклянись мне вот здесь, возле синагоги, где сейчас молятся покойники,— среди них, быть может, находится и мой отец, которого я так мало знала... Он будет свидетелем... Поклянись, что ты всегда будешь верен мне...

Я изо всех сил принялся убеждать жену согласиться на развод, старался, уговаривал и так и этак. Наконец мы пришли к соглашению: деньги, которые накопились у меня за то время, что я работал один, я должен отдать ей немедленно, не закладывая их, как это обычно водится, у третьих лиц. Кроме того, я обязался в течение всей зимы быть в распоряжении этой шайки. Это значило — давать водить себя по домам, причем милостыня, которая благодаря мне будет собрана, должна быть отдана моей жене за развод.

Рыжий черт с усмешкой помял мне бока, подтвердил эти условия и поздравил. Я снова стал медведем на поводу, ценным товаром, и снова старикашка начал ходить по миру со мной, а я должен был как следует хромать, стонать, кривляться и ломать комедию по его указаниям.

После пасхи мы прибыли в какое-то местечко Херсонской губернии. Там я на первых порах работал, выполняя свое обязательство. Однако спустя некоторое время, я заявил: «Хватит! Пора положить конец!»

Жена сначала колебалась, просила дать ей день-другой на размышление. Но наконец ответила: «Ладно! Завтра разведемся!»

У меня в глазах посветлело: до того я обрадовался. Даже на месте усидеть не мог. Так и потянуло меня на воздух. Я долго гулял по улицам, а заодно уж с большой охотой собирал милостыню, думая: «Чем это может повредить? На первое время, когда перестанут кормить, надо иметь несколько грошей про запас».

Дела шли хорошо. Так успешно я уже давным-давно не побирался. Такие удачи бывают раз в сто лет. Уж если бог захочет помочь человеку, так во всем поможет. В какой бы дом я ни заходил, нигде меня с пустыми руками не отпускали. Счастье в этот день играло мне на руку: попал я в один дом, где как раз справляли обряд обрезания. Гости были уже порядочно навеселе, оживлены, веселы. Дали мне добрую рюмку водки, полную стопку, большой кусок пряника, пирожок и вдобавок немного денег и сдобную булочку. Я воздержался, ни крошки в рот не взял, спрятал эти вкусные вещи глубоко за пазуху, чтобы принести их в подарок моей горбунье. Вы бы видели, с какой ра-

достью я шел домой. Думал: нынче ночью, когда люди будут спать, я отдам ей все это. Пусть и она, бедняжка, получит удовольствие. Она, горемычная, так одинока, заброшена, сердце у нее изранено. За всю жизнь счастливой минуты не видела. Пусть же знает, что Фишка, как преданный брат, заботится о ней и оберегает ее, как зеницу ока. Готов сам не есть, а ей отдать последний лучший кусок. Мне представлялось, как мы сидим возле большой синагоги и наслаждаемся. Пряник, видать, пришелся ей по вкусу, а я приговариваю: «Душенька моя! Кушай на здоровье!» — и думаю: «Хорошее предзнаменование! Дай бог в недалеком будущем кушать пряник у нас на свадьбе...» Сообщаю ей добрую весть о том, что с завтрашнего дня я свободен, что жена согласилась на развод, и она сияет от счастья. Мы обдумываем, как бы потихоньку вырваться и удрать. И вот как будто у нас готов уже план, есть надежда, что все, бог даст, будет хорошо...

С такими мыслями шел я всю дорогу и рисовал себе ожидающее нас счастье. По дороге, кстати, повстречался мне водонос с полными ведрами. А ведь это уже безусловно добрая примета!

Кончилось это — горе мне! — очень печально. Уж если суждено человеку несчастье, так и добрые приметы не помогут: хоть бы десять баб с полными ведрами повстречались. Когда я под вечер вернулся в богадельню, там никого из всей оравы уже не было!.. В то время как я в таком радужном настроении разгуливал по городу, вся эта банда уехала и увезла с собой и мою жену, и мою злосчастную горбунью... Это, конечно, рыжий черт постарался, это его проделка, будь он трижды проклят!

Я совершенно растерялся, не знал, что со мной тво-

рится. Голова кругом пошла! В глазах потемнело, весь мир словно померк. Единственная звездочка, светившая мне, и та вдруг закатилась. Нет больше моей утехи, нет моей горбуньи!.. Я одинок, словно камень в пустыне, один-одинешенек во всем свете! А она! Где она? Что она, бедняжка, делает?.. Перед кем может она хоть изредка поплакать, душу свою излить? Ах, друзья мои, как больно! Вдвойне больно!

Когда я позднее достал из-за пазухи приготовленный для нее кусок пряника, у меня сердце сжалось. Я крепко держал в руках пряник, обливая его слезами, как вещь, как память, остающуюся после смерти любимого, единственного ребенка. Не суждено тебе попробовать его, полакомиться хотя бы один раз в жизни, бедная моя, несчастная!.. Я смотрел на пряник, целовал его, потом завернул, словно драгоценный камень, и снова спрятал на груди, часто нащупывал и прижимал к сердцу... Я и сам не знаю, что со мной было?!

22

Фишка закрыл лицо руками и, отвернувшись в сторону, стал всхлипывать. Мы понимали его горе и оставили его в покое. Тяжелое настроение охватило и нас. Мы сидели притихшие, погруженные каждый в свои думы. Мой Алтер все время почесывал пейсы, проводил рукой по лицу — от лба до бороды, захватывая ее всей пятерней, и произносил: «Эт! Эт!..» Видно было, что он расстроен, что с ним творится что-то неладное. Я и сам был встревожен. Рассказ Фишки сильно волновал меня. Я уже давно и много раз задумывался: «Боже мой, что это значит — влюбиться? Я слыхал,

что это случается, но что это такое,— этого мой ум не постигал. У нас в таких случаях обыкновенно говорили: это колдовство! Есть будто бы такое приворотное зелье, которое изготовляют старые ведьмы. А что старые ведьмы способны на такие проделки, что они могут верхом на метле вернуть мужа, бросившего жену,— так ведь это ясно как божий день! Это могут засвидетельствовать многие бородатые правоверные евреи... Влюбиться, втюриться, влопаться — это считалось у нас такой же болезнью, как лихорадка, к примеру, или как кликушество, как меланхолия, черная немочь, падучая болезнь, от которой может излечить либо святой, либо знахарь, не будь рядом помянут! Говоря об этой болезни, люди семь раз сплевывали, приподнимая веко, и приговаривали, скорчив смиренную мину: не тут будь сказано, не про нас будь сказано!.. Считалось добрым делом посмеяться над влюбленными, как потешаются над сумасшедшими. И если уж подобные истории случались, то, насколько я помню,— либо у крупных богачей, либо у безнадежных бедняков. У людей среднего достатка даже не знали, с чем это едят...

«Удивительное дело! — часто думал я.— Почему это так? И что это такое? Ведь это же неспроста!» Старым ведьмам и приворотному зелью я значения не придавал. Это объяснение меня никогда не удовлетворяло, хотя люди считали, что такое отношение к этим делам — в некоторой степени вольнодумство с моей стороны: помилуйте, как можно не верить в колдовство, в знахаря, в чертей? Я упорно искал объяснение и, кажется, нашел.

Крупным богачам слишком хорошо живется на свете, у них всего вдоволь, они едят и пьют самое лучшее, самое дорогое, ни забот у них, ни хлопот. Чего им

не хватает?.. Вот и лезут им в головы всякие шуры-муры. Серьезно ли это или чтобы только позабавиться от нечего делать,— кто их знает? Беднякам, с другой стороны, тоже по-своему хорошо: ничего у них нет, рисковать нечем... Живут они за счет общества, на всем готовом,— стесняться им нечего! Потому и они охочи до подобных историй. Вот и выходит, что такие дела случаются либо в высших, либо в низших слоях общества.

Остальной наш народ, средний человек, постоянно озабочен насыщением утробы. У него голова пухнет из-за куска хлеба, он ищет заработка. У него на первом плане дело. Для него все — дело! *Женитьба — тоже сделка.* Он приобретает жену, заранее поторговавшись хорошенько о цене, о приданом, о каждой мелочи,— обо всем в точности. Даже меховая шапка и субботний кафтан, и те упоминаются в предварительном брачном контракте. Если условия выполнены целиком согласно договору, пожалуйте, невестушка, под венец, со сватом, с бадхеном [1] и всей святой братией, которая недурно наживается на этом деле. Будь женой, рожай детей, надрывайся и бедствуй со мной вместе до ста двадцати лет, если тебе хочется жить, а не умереть раньше времени. Хороша ли ты или безобразна, умна или глупа,— это твое дело, мне безразлично: жена это жена. Мы не баре, некогда нам обращать внимание на такие пустяки. Мы торговцы, маклеры, лавочники, мы заняты делом!..

Есть очень много людей одинакового со мной положения, которые почти не разговаривают, не едят за одним столом со своими женами, редко видят их — и

[1] Бадхен — шут на свадьбе.

все это считается в порядке вещей. Обе стороны довольны и при случае желают такой же благополучной жизни всем добрым людям и собственным детям! Если у кого-нибудь умирает жена, муж хоронит ее, справляет по ней неделю траура, как полагается, и тут же находит себе другую хозяйку, не подождав иной раз и положенных тридцати дней. Точно так же женится он и на третьей, и на четвертой, и на пятой... Вплоть до старухи, которую он берет напоследок, уже в старческие, дарованные богом годы, обычно под тем предлогом, что он собирается уехать с ней помирать в Палестину. Называется вся эта канитель выполнением завета божьего...

Точно так же еврей, например, ест в субботу не ради грубого насыщения едой, не потому, что грешный человек вынужден есть, а ради того, чтобы выполнить предписание о трех субботних трапезах. То же относится и к вину, которое пьют во время пасхальной трапезы — не потому, конечно, что приятно выпить немного вина, особенно после жирных галушек. Упаси бог! Еврей скорчит при этом благочестивую рожицу: «Се выполняю завет твой, господи, и пью бокал — первый, второй, третий, четвертый...» Наш брат ест, пьет, женится,— все только во имя божье, ради благодати господней...

Все это, однако, никакого отношения не имеет к Фишке. В ужасном положении, в котором он пребывал, горбунья была для него счастьем, утешением, жизнью,— всем! Утопающий и за соломинку хватается. Что ж удивительного в том, что Фишка ухватился за горбунью всем своим существом и ничего, кроме нее, не видел? Когда душа задета, тогда начинает говорить сердце, говорить языком, одинаковым для всех

людей — для больших и малых, для ученых и невежд. И нечего удивляться тому, что душа Фишки излилась в таких горячих чувствах, в таких чистых, человечных словах. Потому-то его слова так растрогали, взволновали меня, словно скрипка, которая жалуется, напевает что-то печальное. Все проповедники и все нравственно-поучительные книжки вместе взятые никогда не трогали меня так, не делали таким мягким, добрым и отзывчивым, как стон наболевшего сердца, как скрипка музыканта...

Словом, рассказ Фишки меня очень растрогал, вот я и задумался... Но ты, коняга моя, ты-то по какому поводу задумалась? Что это за шаг, с позволения сказать? Еле ноги волочит. Лошадку мою ничуть не трогает, что день Девятого аба на носу, что нужно торопиться с доставкой молитвенников в местечки. Тащится почему-то не прямой дорогой, а по обочинам, поближе к посевам, то и дело останавливаясь и пощипывая травку. Кляча Алтера ведет себя не лучше, подражает моей лошади и тоже жует. Совсем как ребята в хедере: стоит учителю на минутку отвернуться, или начать укачивать ребенка, или повздорить с женой, как ученики сразу же начинают глазеть по сторонам, совершенно забыв об учении. Применяю то же средство, что и учитель: беру кнут и показываю его своей дохлятине, отчитывая ее при этом. Она настораживает уши и, высунув кончик языка, начинает брыкать задней ногой и отмахиваться хвостом.

— Ах, вот как! Ты еще озорничать! — восклицаю я и основательно угощаю ее кнутом.

Коняга, правда, была недовольна и попыталась растянуться на земле. Однако одумалась, рванула кибитку и поплелась дальше.

Тем временем мы все пришли в себя. Алтер стал подгонять по своему обыкновению, Фишка начал на свой манер, а я вслед за ним — истолковывать по-своему, и рассказ продолжался:

— Не буду особенно распространяться. Отправился я один по Одесскому тракту: авось встречу их или услышу о них что-нибудь. Однако все напрасно. Они словно в воду канули. Жизнь мне опостылела от вечных скитаний. Хотелось отдохнуть, посидеть на одном месте, как бывало раньше. Господь помог, и я добрался наконец до Одессы.

Первые дни в Одессе мне казалось, что я гибну. Я болтался одинокий, чужой, не зная, куда себя девать. Все здесь было для меня ново, все казалось диким. Богадельни, как в других еврейских городах, я здесь не нашел. Домов, в которых можно было бы побираться, тоже не оказалось. У нас, в еврейских городах, дома низенькие, без затей, без фокусов, с дверьми, выходящими на улицу. Стоит только слегка толкнуть дверь — и ты уже в доме. Никаких церемоний — вот перед тобой как на ладони все хозяйство, все, что требуется для еды и сна. Нужна тебе вода — вот она. Нужно помойное ведро,— пожалуйста! Умывай руки и произноси молитву сколько душе угодно. Вот он — хозяин, а вот и хозяйка и вся семья. Говори: «Бог в помощь!» — протягивай руку. Получил милостыню, приложился к мезузе и шагай подобру-поздорову дальше.

К тому же и по наружному виду можно легко отличить еврейский дом. Кучка мусора, канава, окошко, стены, крыша так и кричат: «Это еврейский дом!» По одному запаху можно узнать, что здесь живет еврей... А в Одессе дома, с позволения сказать какие-то дикие,

несуразно высокие. Ход обычно через ворота во двор. А там изволь карабкаться по лестнице, искать двери. Нашел наконец дверь, а она, оказывается, заперта, вдобавок к ней для чего-то приделан звонок и разные финтифлюшки. Падаешь духом, чувствуешь, что ты беден, жалок, ничтожен... Стоишь с минуту пришибленный, потом набираешься храбрости и почтительно притрагиваешься к ручке звонка. Рука дрожит. Осторожно, едва касаясь, тянешь ручку вниз и теряешься, будто нагрубил кому-нибудь, обозвал нехорошим словом, выругал... Еле ноги уносишь... Отыщешь иной раз другой ход, но там на тебя налетает кухарка, служитель, или оказывается, что в доме живет не еврей. «Что это значит? — изумляешься ты.— Что это за город? Что это за дома? Куда девались наши нищие с торбами?»

Я бродил по улицам, внимательно присматривался ко всему, думал, что встречу кого-нибудь с сумой и расспрошу его о деле: как тут побираются? Но будто назло никто не попадался..

Однажды, когда я блуждал таким образом, я заметил издали молодого человека, одетого на немецкий лад. Шел он, как человек, не знающий дороги, поглядывая на дома, переходя с одной стороны улицы на другую. Этот человек, подумал я, нездешний. Надо следовать за ним, посмотреть, что он делает. Вошел он во двор, я — за ним. Поискал он чего-то, а потом стал подниматься по лестнице, я — тоже. Входит он в переднюю, я — следом за ним и останавливаюсь у дверей. Прошло немного времени, выходит из внутренних покоев какой-то бритый господин, совсем как барин. По-видимому, хозяин. Молодой человек протягивает ему какую-то книжку, которую он вытащил из карма-

на, широкого и глубокого, как нищенская сума. Бритый взглянул на обложку и швырнул ее обратно, сердито поморщившись:

— Оставьте меня в покое с вашим барахлом! Мне это ни к чему!

Молодой человек стал убеждать, расхваливать себя, уверять что он создал нечто замечательное. Однако все это не помогло, и он с позором вынужден был уйти.

Тогда подошел я, попросил без фокусов милостыню и, получив несколько грошей, поспешил уйти. На душе у меня повеселело. Теперь, думаю, я на правильном пути. Господь бог посылает ткачу пряжу, кабатчику — пиво, а нищему-чужеземцу — вожатого. Не надо упускать его из виду. Следую потихоньку за ним, как корова за теленком: куда он, туда и я. Ему, несчастному, не везет, всюду отказывают. В одном месте говорят:

— Невыносимо! До чего они обнаглели!

В другом:

— Идите с богом! Не надо нам ничего этого!

В конце концов он уходит взбешенный, с пустыми руками, а у меня, не сглазить бы, дела идут недурно... Я беру грош, копейку, полторы,— сколько дадут.

«Что это,— думаю я,— за нищий такой? В жизни мне ничего подобного и не снилось. Очевидно, здесь так принято — нищие с книжками. Новомодные побируши, да еще в немецком платье! Дурачье! К чему попрошайничать с книжками и получать кукиш, когда можно просто ходить по миру? Я поступаю, как деды наши поступали: хожу по домам без всяких штук и собираю больше, нежели иные с книжками». Но как бы то ни было, дураки они или не дураки, я пока что

крепко ухватился за своего «книжника», потихоньку следую за ним по пятам и держусь как можно дальше, чтобы он меня не видел. Сначала это удавалось, но потом он, видно, заметил, что я плетусь сзади, и ему это не понравилось. Он стал оглядываться, останавливаться, стараясь избавиться от меня. Я прикинулся дурачком, стал смотреть якобы в сторону, будто не интересуюсь им и иду своей дорогой. Но про себя думал: «Нет, братец, ты от меня не отвертишься! Если ты никому, даже себе самому, не нужен, зато ты нужен мне! Ходить по миру ты научил меня неплохо, умник мой дорогой!»

Наконец в одном из домов приключилась с нами такая история: хозяин собирался обедать, а в это время пожаловал мой нищий со своими книжками. Начался разговор: один хочет уговорить, другой отбояривается... Слово за слово, хозяин рассердился и не совсем деликатно указал моему «книжнику» на дверь. Но тут он заметил меня и послал нас обоих ко всем чертям. Общая участь невольно сблизила нас.

Спускаясь с лестницы, мой товарищ по несчастью смотрит на меня, сильно насупившись. Я отворачиваюсь и не знаю, как быть. Жду, пока он пройдет вперед. Стоим мы друг против друга несколько минут, и оба чувствуем себя неловко. Наконец он спрашивает:

— Чего вы хотите?

— Ничего! — отвечаю я.— Того же, что и вы.

— Того же, что и я? — говорит он, удивленно окидывая меня взглядом с головы до ног.— Вы тоже автор?

Я решил, что «автор» — слово немецкое и что по-еврейски оно означает просто «бедняк», его товарищ по профессии. Поэтому я недолго думая ответил ему на том же языке:

— Да, автор.

— А что у вас вышло?— спросил он.

— У меня вышло совсем недурно! — ответил я, подумав: «Вам бы не хуже!» — Грошей сорок, примерно, собрал.

— Как называется ваше произведение?

Опять, думаю, по-немецки! Он, очевидно, хочет знать, как меня зовут.

— Фишка! — говорю я коротко и ясно.

— Могу ли я иметь удовольствие познакомиться с Фишкой? — спрашивает он, умильно улыбаясь.

— Пожалуйста! С удовольствием! Я очень рад! — отвечаю я, дружески поглядывая на него.

— Ну, где же оно, ваше произведение?

— Да вот же я сам перед вами, помилуйте!

— Убирайтесь ко всем чертям! — крикнул он на меня в сердцах и, разозленный, убежал.

Выйдя из ворот, я увидел, что мой компаньон мчится как сумасшедший, убежал уже довольно далеко, затем неожиданно свернул в переулок и исчез. Я даже опешил и стоял как побитый, не понимая, что это за человек! Помешанный, что ли? То был так любезен, а то вдруг взбесился! Я, кажется, ничего плохого ему не сказал. Отвечал ему на его же языке. Новое несчастье! Какие-то «авторы»... По-нашему, по-еврейски говорят просто — нищий! А впрочем, ну его к черту!..

23

Прошло немного времени, и я с Одессой познакомился поближе, узнал все ее углы и закоулки, уловил секрет и научился двери отворять. Одесса — что таба-

керка с потайным замком: надо знать, какую пружинку нажать,— тогда она легко раскрывается: — засовывай пальцы и доставай добрую понюшку табаку.

Открылся передо мной непочатый край домов, пригодных для моего дела и ничем не хуже наших. Нищих оказалось сколько душе угодно, целые полчища *всяческих видов:* нищие с сумами и без сум, такие, каких нигде, кроме Одессы, не сыщешь; Иерусалимские, сефардские [1], турецкие и персидские евреи, лопочущие по-древнееврейски; старики, нищие с женами и без жен, которые на старости лет едут умирать в Палестину, а пока что кормятся, плодятся и живут на мирской счет; покинутые жены, истеричные бабы, ревматики, приезжающие лечиться на лиман; приживальщики старомодные, юлящие в синагогах вокруг прихожан попроще, приживальщики из нынешних, бритые, обхаживающие богачей и франтов в кофейнях и трактирах; бедняки, почтенные на вид, разодетые как богачи, а на самом деле без гроша за душой, и такие, за которыми числятся чуть ли не собственные дома и которые тем не менее из нищих нищие... Скольких нищих из наших краев я ни встречал, все они не могли нахвалиться Одессой, хотя я, собственно, не знаю, что хорошего они там нашли. Один из них объяснил мне, в чем разница между нашим, местечковым, и тамошним нищим. В местечке нищий ест сухую корку хлеба, озабоченный и мрачный, а здесь он хоть и грызет тот же сухарь, но при этом ему подыгрывает шарманка. Шарманка в Одессе играет большую роль. На улице — шарманка, дома — шарманка, в трактирах — шарман-

---

[1] Сефардим.— Так называли евреев, проживавших на Пиренейском полуострове.

ка, в комедии — шарманка и даже в синагоге — прости господи! — тоже шарманка! В Одессе вечно суета, шум, сутолока. Шарманка визжит, играет, поет, свистит... В трактире часто видишь — сидит пьянчуга, кряхтит, поет какую-то песенку про «красную девушку», а насупротив сидят захмелевшие евреи, напевают что-то субботнее, или «Земля еси» на мотив портновского марша, весело и живо...

Шел я однажды по улице. Вдруг кто-то крепко ударил меня в спину. Я подумал, что кто-нибудь из прохожих второпях нечаянно толкнул меня, и решил не обращать внимания. Однако тут же последовал второй удар, точно поленом. Обернулся и вижу — Ионтл, «холерный жених», сидит на улице! Одной колодкой упирается в землю, вторую поднял и рад, счастлив, что встретил меня. Я тоже очень обрадовался Ионтлу. Мы с ним дружили еще в Глупске, и я был у него на свадьбе, на кладбище, во время холеры.

— Вот как, Фишка! — крикнул он, здороваясь со мной.— И ты у нас в Одессе? Хорош городишко моя Одесса, не правда ли?

Но увидав, что я морщусь и в особый восторг от Одессы не прихожу, он заявил мне, обиженный, как если бы я нанес оскорбление его родословной и задел его за живое:

— Уж не скажешь ли ты, что твой Глупск хорош? Вот уж подлинно, забрался червяк в хрен и думает — слаще места нет... Погоди, я покажу тебе мою Одессу, послушаем, что ты тогда заговоришь!

Ионтл стал рассказывать о том, какое видное положение он занимает в Одессе. Все с удовольствием смотрят, как он передвигается при помощи своих колодок. К нему относятся с уважением во многих магази-

нах, милостыню подают ему с почтением,— грех жаловаться! Дела у него, не сглазить бы, совсем не плохи. Когда я спросил его о жене, он ответил с усмешкой:

— Ну и жену, с позволения сказать, дал мне Глупск! Что хорошего можно ждать от «холерной жены»? Холера могла бы ее забрать до того, как она ко мне попала. Казалось бы, у человека не хватает нижней губы! Тем не менее рот у нее работает — кричит, трещит, болтает, мелет что твоя мельница, почище другого с двумя здоровыми губами!..

«Жена,— подумал я,— это такая напасть, от которой ничего не помогает. Уж если она ведьма, она будет кричать, не имея даже обеих губ, не только одной, даже без носа будучи... А колотить тебя будет даже, если она слепая, безглазая...»

Я вкратце рассказал Ионтлу историю с моей слепой женой, все, что пришлось мне претерпеть от нее за последнее время.

— Дурачок ты! — говорит Ионтл.— Сделай то же, что и я: плюнь на нее, и дело с концом. Провались она к черту!

— Что значит — «плюнь»? Как это «провались она к черту» — без развода? Ведь я как-никак еврей, я жениться должен.

— Ах, вот как! Жениться? — говорит Ионтл, поглядывая на меня с усмешкой.— Эх, ты! Настоящий глупчанин, честное слово! Ну, ладно! Поживешь некоторое время в Одессе, Фишка, тогда посмотрим...

С тех пор мы с Ионтлом встречались довольно часто. Вместе мы передвигались по Одессе — он на сидении, а я — на своих больных ногах. Ионтл все время старался показать мне свою Одессу, хвастал красивыми улицами, прекрасными домами и прочими

такими вещами, как если бы все это было его собственностью и приносило ему какую-нибудь пользу. Каждый раз, показывая мне что-нибудь, он смотрел на меня с сияющим лицом и сопел от удовольствия. Можно было подумать, что чужой красивый дом или улица придают Ионтлу особый вес в моих глазах. Тормоша меня, он без устали спрашивал:

— Ну, Фишка? Хорош город Одесса? Видал ты что-либо подобное в твоем Глупске?

— Послушай, Ионтл! — сказал я ему однажды, когда он мне здорово намял бока, указывая издали на бульвар, по которому гуляло множество людей и к которому он, как я заметил, почему-то не решался подойти поближе.— Ничего не скажешь: Одесса, конечно, город красивый... Жаль только, право, что людей здесь нет! Посуди сам, можно ли здешних жителей назвать людьми? Разве люди так одеваются, так живут? Ты взгляни только, как на твоем бульваре мужчины ходят с бабенками под руку! Ведь это же срам! Евреи бреют бороду [1], женщины не носят париков [2], сзади у них волочится кусок платья, которым они улицу подметают, а спереди такой вырез, что вся грудь наружу. Фи, смотреть противно!.. Вот жили бы здесь наши евреи, глупские евреи,— тогда бы это был действительно город, и вид был бы у него приличный, и все бы здесь велось по-нашему, по добрым нашим обычаям, как полагается...

Ионтл молча передвигался рядом со мной, не зная,

---

[1] Еврейская религия запрещает брить бороды.

[2] Согласно предписанию еврейской религии, замужним женщинам запрещалось показывать посторонним мужчинам свои волосы и ходить с непокрытой головой; поэтому они носили парики.

по-видимому, что ответить. По дороге встретилась нам пара прилично одетых людей, из «французов» [1]. Ионтл протянул руку. Один из них остановился, поговорил с ним и подал милостыню.

— Знаешь, Фишка, кто это такие? — с гордостью обратился ко мне Ионтл, сияя от удовольствия.— Вот тот, что подал мне милостыню,— старший меламед здешней талмудторы. Мой знакомый, понимаешь? Не правда ли, у него-то уж вид настоящий?

— Хорош вид! Всем бы моим врагам такую жизнь! — отвечаю я, сплюнув.— По виду этого меламеда можно себе представить, что у вас за талмудтора, с позволения сказать! Скажи, пожалуйста, Ионтл, как тебе не стыдно говорить, что это хорошо? Ты испортился, Ионтл! Стал таким же, как и все здесь... Вот это у тебя называется меламед? Да разве можно его сравнивать с меламедом нашей талмудторы, реб Герцеле-Мазиком? Реб Герцеле — еврей в полном смысле этого слова! Без него ничего в городе не обходится. Он всюду поспевает и делает свое дело солидно, с достоинством: на похоронах — он, жениха с невестой сосватать — опять-таки он, на кладбище псалтырь читать — тоже он, параграф из талмуда растолковать — снова он... Когда он еженедельно ходит собирать пожертвования,— ему деньги навстречу несут. А когда он со своими учениками ходит в праздники богачей поздравлять, ему всюду с почетом преподносят бокал вина для освящения... Вот это я понимаю! А твой «француз» — что? Как это будет выглядеть, если такой-вот станет псалтырь читать по покойнику или произносить благословения? Как прозвучит в его устах освящение вина?

[1] То есть из тех, кто одет по-европейски.

Какой вид будет иметь его присутствие на похоронах, прости господи!..

— Ты глубоко ошибаешься, Фишка! — перебивает меня Ионтл.— Мой никогда ничего подобного не делает! Он и знать не знает о таких вещах!

— То есть как это он ничего подобного не делает? — удивляюсь я.— Где же это видано, чтобы меламед талмудторы не занимался такими делами? Как же это меламед не хоронит богачей, не...

— Погоди, погоди, Фишка! — снова перебивает меня Ионтл.— Он хоронит их, только совсем на иной манер! Ничего, богачи не жалуются...

— Фи, фи! — кричу я, затыкая уши, чтобы не слушать.

Но Ионтл не отстает и продолжает:

— А знаешь, кто второй? Который шел с меламедом... Это важная шишка. Ворочает городскими делами, вроде вашего Арн-Иосла Свистуна.

— Фи! Фи! — кричу я возмущенно, так что прохожие даже начинают оглядываться,— Это, по-твоему, важная шишка? Вроде нашего Арн-Иосла? Ты бы хоть рядом не упоминал их! Реб Арн-Иосл — еврей с бородой, с пейсами, благочестие у него на лице написано. У него хранятся деньги, общественные средства, средства разных братств и всякие другие деньги... Ему везде и всюду доверяют, на слово верят. Если он взял, значит, знает, что взял и как распорядиться взятыми деньгами. В этом отношении на него можно смело положиться. А твоему хлюсту кто станет доверять? На что глядя? На его «благочестие»? На подстриженные пейсы?

— Честное слово! — спорит со мной Ионтл.— Что с пейсами, что без них — одно и то же, уверяю тебя!

— Как бы не так! — отвечаю я.— Что ты хочешь мне доказать? Ладно там с твоим честным словом. Но как можно такого человека пригласить, скажем, восприемником при обрезании? Хорош восприемник, нечего сказать! Смеяться некому... Нет, если говорят, что на сорок верст вокруг Одессы пылает геенна огненная, значит, так оно и есть!..

— И все же,— язвительно говорит Ионтл,— я предпочитаю здешнюю геенну твоему глупскому раю!

Я потерял всякое уважение к Ионтлу. Одесса его испортила, и мы с ним часто спорили. То, что, по его мнению, было хорошо, на мой взгляд, было плохо, а то, что, по-моему, было хорошо, не нравилось ему. Не могли мы, например, никак столковаться относительно большой синагоги, тамошнего кантора и раввина. Кантор, прости господи, носит какую-то хламиду, а богослужение совершает с хором! Добро бы он сам трудился, подпирал пальцем горло, держался за щеку, как наш кантор реб Рахмиел-плакса, ревел бы басом, потом срывался бы на фистулу, потом снова гудел бы басом, рубил бы слова, заливался, молил господа бога: «Отец родной! Батюшка наш! Горе мне!..» Вкладывал бы всю душу, истекал бы потом... Так нет же! Где там?

Сам кантор большую часть времени молчит, а чуть произнесет слово, певчие моментально его подхватывают, разжевывают, распевают на разные голоса, смешивают все в одну кучу — и это у них называется петь хором! Никогда и не услышишь у них ни грустной, задушевной мелодии, ни чего-нибудь веселого. Ухватятся за строчку и возятся с ней без конца! А вдобавок — смешно, право! — носят на руках свитки торы и ходят с ними вокруг амвона... Слыханное ли дело, чтобы в субботу носили тору, как в кущи?! Вы, пожалуй,

спросите; а что же смотрит раввин? Как может он допускать такие вещи? Так ведь то-то и досадно, что раввин заодно с ними, лезет еще вперед, тоже в какой-то пелерине, с холеной бородкой, и выглядит... Фи! Казалось бы, смотреть тошно? А вот Ионтлу нравится!

— Помилуй,— кричу я,— Ионтл, что с тобой случилось? С ума ты, что ли, спятил? Ведь ты бог знает до чего дошел! Черт возьми тебя совсем!

А он смотрит на меня с сияющей рожей, шмыгает носом и твердит свое:

— Фишка, ты глуп! Не понимаешь ты, что хорошо.

Вот и толкуй с ним! Когда я убедился, что это дело пропащее, что Ионтл упрям и ничего с ним не поделаешь, я дал себе слово больше об этом не говорить. По мне, пускай его Одесса хоть перевернется! Меня это больше не касается.

— Послушай! — сказал я однажды Ионтлу.— Спорить с тобой об одесских порядках я больше не желаю. Ты упрям, и мне тебя не убедить. Поговорим лучше о более существенном. Хочу с тобой посоветоваться, как мне быть, как добиться какого-нибудь толку? Хождение по миру мне здорово опротивело. И без меня нынче достаточно нищих, они налетают на дома, как саранча, и скоро наводнят весь мир. Хозяева дуются, кричат. Невыносимо! Хорошо бы иметь какой-нибудь заработок. Посоветуй, за что бы приняться?

— Ни конторы, ни мануфактурной лавки,— отвечал Ионтл,— ты, я полагаю, открывать не собираешься? Чем же ты хочешь заняться?

— Ты не шути, Ионтл! — сказал я.— Давай говорить серьезно. Разве, кроме контор и мануфактурных лавок, никаких других дел нет?

— Что ты! — ответил Ионтл.— Дел сколько угодно! Можно, например, взять на откуп коробочный сбор, сделаться старостой какого-нибудь братства, попечителем благотворительных обществ, втереться в руководство городскими делами, примазаться к каким-либо важным шишкам, во все вмешиваться, всюду совать свой нос... Однако, брысь! Все это, Фишка, не про твою честь! Давай-ка перейдем к профессиям сортом пониже. А что, если, например, торговать старьем? Очень многие кормятся этим совсем недурно.

— Нет! — объяснил я ему.— Ведь старье надо покупать, латать... Для этого требуются деньги, да и понимать нужно кое-что в этом деле. Это для меня трудновато. Будь то глупские исподники, к примеру, так еще с полбеды. Подумаешь, важность какая, если они немного порваны или не так аккуратно заплатаны. Но за одесские подштанники меня просто страх берет. С ними церемониться надо! Они уважения требуют! Шутка ли! К ним и притронуться боязно!

— Если ты так боишься одесских подштанников,— сказал Ионтл,— торгуй луком, чесноком, лежалыми лимонами, апельсинами и тому подобным. Но имей в виду, что здесь принято запречься в тачку и развозить ее по улицам, выкрикивая нараспев свой товар...

— Кричать-то я умею неплохо! — ответил я.— На это я мастер. Но запрягаться, как лошадь, и таскать тачку — это мне не по силам. И помимо всего, вопрос опять-таки в деньгах. Откуда взять на это деньги?

— Послушай, Фишка!—серьезно заметил Ионтл.— Заработки без труда и без вложения капитала — это только те, о которых я тебе раньше говорил... Высшего сорта. Других я не знаю. Может быть, ты сам что-нибудь предложишь?

— Больше всего,— заявил я,— мне нравится баня. В глупской каменной бане, где я жил, мною были очень довольны. Для этого дела я годился. Если бы не моя злополучная женитьба, я бы там давно в люди вышел. Я бы уже высоко забрался. Если ты и в самом деле пользуешься уважением в Одессе, окажи мне такую услугу, дорогой Ионтл, помоги мне устроиться в какой-нибудь из здешних бань. Будь другом, Ионтл, покажи, что ты в силах сделать.

— Сейчас, Фишка,— улыбнулся Ионтл,— сейчас я тебе по этому поводу ничего не отвечу.— Сходи, пожалуйста, и посмотри своими глазами здешние бани. А потом потолкуем.

Я послушался его, пошел в одну баню, в другую. Мне все здесь показалось чудовищно странным. Ну что это за баня! Светло, чисто, как в какой-нибудь богатой квартире, стоят хорошие диванчики, в самом деле хорошие, честное слово! Выжаривать белье в такой бане — упаси бог! Ни одной развешенной рубахи не видать! Потеха, честное слово! «Нет! — подумал я.— В такой бане мне делать нечего. Это не про меня. Совсем не то. Не то удовольствие, что у нас в глупской бане. Там все это по-иному, там все как следует. Там нашему брату — рай земной! Лежишь себе в компании, растянувшись на скамье, беседуешь, слушаешь разные истории, узнаешь обо всем, что на свете творится. Так хорошо, приятно, наслаждение, да и только!..»

Я походил некоторое время по баням, но все они не такие, как у нас. Дух совсем не тот, что в нашей каменной бане! А уж миква [1] в одесских банях и вовсе

---

[1] Миква — бассейн для ритуальных омовений.

курам на смех. У нас в миквах воду сразу почуешь, у нее и вкус особенный, и цвет другой, она даже гуще обыкновенной воды. Запах сразу в нос ударяет... А в здешних миквах вода прозрачная, чистая, ну, просто вода, как и всякая другая, которую пить можно...

— Ну, Фишка? — спросил меня как-то Ионтл.— Видел ты здешние бани?

— Ну их! — ответил я.— Не о чем, право, говорить. Все у вас не как у людей, будто на смех. Нет, не про меня твоя Одесса!..

24

Хоть я и недоволен был Одессой, однако пришлось там перезимовать. Не мог же я пуститься в путь-дорогу зимой, разутый и раздетый, да еще один в чужой стороне.

Но как только солнце стало пригревать, как только потянуло весной, я лишился покоя, не мог усидеть на месте. Раньше, бывало, наступление лета меня нисколько не трогало. Лето как лето. Ничего особенного! Тепло, светло, дни стоят долгие, зелено кругом. Ну, что ж, хорошо, нехолодно. Коровы уходят на подножный корм, значит, есть молоко, немного сметаны. Добавляется к хлебу зеленый лук, редиска,— все это для человека бедного большое подспорье, со счетов не сбросишь.

Однако на этот раз я совсем по-иному почувствовал весну. Не знаю, как бы это сказать, но она как будто обрела язык, говорила что-то моему сердцу, будоражила его, все время напоминая мне о ней, о моей горбунье... Каждая травка, каждое деревцо, щебетание каждой птички мне о чем-то рассказывали, пере-

давали привет от нее. Я вспоминал: вот так она сидела со мной, так смотрела, так смеялась, так изливала свою наболевшую душу.

Взыграла во мне кровь, обуяла сладкая тоска, и что-то манило вдаль... Какое отношение все это имело к лету, оно ли было тому виной или нечто другое, вроде болезни,— не знаю. Знаю только, что все это было неспроста. Я таял, как свеча, на мне лица не было.

— Что с тобой, Фишка, ты болен? — спросил однажды Ионтл, глядя на меня.— что-то ты очень осунулся. Болит что-нибудь?

— Да так, пустяки! — отвечал я, хватаясь обеими руками за сердце.

— Сердце замирает? — спросил Ионтл.— От этого есть одно только средство: съесть натощак круто посоленный кусок хлеба.

— Мне и без того солоно! — сказал я, вздохнув.— Чувствую, что тянет меня куда-то, на месте усидеть не могу!

— Понимаю, понимаю! — с улыбкой отозвался Ионтл.— Тянет тебя в твой Глупск. Туда, где Гнилопятовка плесенью зацветает, где нужда песенки поет, где луком и чесноком разит. Не стесняйся, Фишка, шагай своим путем.

Несколько дней спустя я распрощался с Ионтлом и отправился пешком в путь-дорогу...

Мысли уносили меня на край света, сердце тянуло к ней. Я беспрестанно думал: где она, где она сейчас? Что поделывает, как живется ей, бедной, одной, без меня? А ноги мои шли будто сами по себе, медленно шли по дороге в Глупск. Я проходил деревни и города и все время искал, смотрел по сторонам с одной только мыслью — не встречу ли я ее. Исходил я немало, пови-

дал множество еврейских городов. По мере того как я приближался к Глупску, у меня становилось все легче на душе. Я оживал при виде евреев из наших краев. Их язык, их одежда, манеры, жизнь и обычаи,— все это действовало на меня благотворно. Я почувствовал себя как дома, среди своих, близких мне людей. Нашенские евреи — действительно чудесные люди! Без церемоний, без затей, им дела нет до всего мира, до его глупых выдумок. Говори, кричи, делай, что твоей душе угодно, и все это просто, как бог велел. Кому какое дело, хорошо это или плохо, прилично или неприлично? А если кому-либо не нравится, пусть глаза закроет, пусть уши заткнет. Плюнь ты ему в рожу!

Я понемногу пришел в себя, успокоился, думая о Глупске, о каменной бане, и уповал на всевышнего.

В одно прекрасное утро шел я полем и забрел в огромный густой лес. Зашел немного поглубже, снял с плеч узелок, сбросил кафтан и растянулся под деревом в высокой траве, закрывшей меня со всех сторон. Словом, о чем тут раздумывать? Лес как полагается быть лесу, деревья — деревьями, трава как трава, птички как птички, а я — человек грешный... Почему бы, в самом деле, не вздремнуть, не отдохнуть малость с дороги? Потянулся, зевнул, закрыл глаза и — послушайте, что мне приснилось.

Чудится мне шорох, будто слышу чьи-то шаги и хруст сухого валежника. Насторожился, прислушиваюсь, не открывая глаз. Шорох усиливается, шаги все ближе. Это начинает меня беспокоить, хочу раскрыть глаза, но веки отяжелели, лежу как скованный и двинуться не могу от усталости. Между тем шаги стихают, я успокаиваюсь, и меня одолевает сон. Мысли путаются, становится как-то так хорошо, так приятно...

Откуда-то доносится грустный напев, как будто знакомый... Мелодия проникает в душу, хватает за сердце, хочется плакать и в то же время испытываю непередаваемое наслаждение. Так поют перед венцом: жениху с невестой и плакать и смеяться хочется, словно солнце и дождик в одно и то же время.

Вдруг кто-то хватает меня за волосы и вскрикивает. Я моментально просыпаюсь, раздвигаю руками траву и вижу неподалеку от себя на земле горшочек с земляникой. Чуть подальше кто-то, кажется женщина, в испуге уползает от меня в траву. Я сразу понял, что произошло. Женщина эта, очевидно, собирала землянику, увлеклась, напевая песенку, и, неожиданно наткнувшись на мою голову, перепугалась. Я вскакиваю, беру горшочек и несу его к ней, вежливо говоря издали: «Ничего!..» Но только я подошел поближе, как горшочек вывалился у меня из рук. Я вскрикнул, растерялся — и вот мы стоим оба, крепко сжимая друг другу руки,— я и моя горбунья!

Это было наяву, а не во сне. Я смотрел во все глаза и совершенно отчетливо видел перед собою могучие деревья, птичек, порхающих по веткам, поющих и радующихся вместе с нами. Мы оба были счастливы и смеялись сквозь слезы, удивлялись, расспрашивали друг друга, как мы очутились здесь, и говорили, рассказывали, что произошло с каждым из нас.

Она рассказала о тяжких муках, которые ей, бедной, пришлось перенести с тех пор, как вся орава год тому назад бросила меня в местечке. Это была проделка рыжего дьявола. Ему не хотелось, чтобы жена со мной развелась: он знал, что она тут же начнет приставать к нему и требовать, чтобы он на ней женился. Ему нужна была слепая, но иметь слепую жену он не

хотел. Любезничать с ней и извлекать из ее слепоты доходы он был не прочь, а мужем ее пусть будет другой. К тому же была еще одна причина, чтобы всячески отравлять мне жизнь и не допускать, чтобы я стал свободным человеком: он был очень недоволен моей дружбой с горбуньей. Эта дружба ему покоя не давала, и он пускал в ход все средства, лишь бы не дать ей развиться... Избавившись от меня, он понемножку забрал мою жену в свои лапы и показал ей потом, где раки зимуют, отлично понимая, что ей из его рук не вывернуться. Ибо что может слепая поделать одна? Потом она ему порядком надоела. Он передал ее старикашке, чтобы тот ходил с ней побираться, ломая комедию, как раньше со мной.

Рыжий черт испортил ей немало крови. Он измывался над ней, бил ее, а старикашка, в свою очередь, учил ее уму-разуму... За короткое время она превратилась в старуху, отощала.

В течение всего года банда таскалась из одного города в другой. А нынче на рассвете расположилась на отдых здесь в лесу. Моей горбунье вздумалось ягоды собирать, и вот — заканчивает она с улыбкой свой рассказ — она нашла хорошую ягоду, меня самого!..

Я, со своей стороны, рассказал ей все, что произошло со мной, и как я сегодня утром попал сюда, направляясь в Глупск. Мы решили отныне больше не расставаться и приложить все усилия к тому, чтобы моя жена дала развод. Если же она, не дай бог, не согласится, мы с горбуньей от этой банды удерем, а дальше — как бог даст...

Так сидели мы, разговаривали и не могли нарадоваться, глядя друг на друга. В это время из чащи леса донеслось: «Ау!»

— Это кто-то из наших! — сказала горбунья.— Меня ищут.

Минуту спустя подошел какой-то тип, которого я сразу же узнал. Он искоса взглянул на меня и насмешливо улыбнулся. Мы немедля поднялись и пошли. Он побежал вперед, спеша, очевидно, сообщить добрую весть, а мы не торопясь следовали за ним. Позади ветхой, полуразвалившейся корчмы, поодаль в лесу, увидел я знакомые кибитки, а еще дальше, на поляне, окаймленной деревьями, костер. Вся орава сидела вокруг огня и развлекалась.

Первым приветствовал меня рыжий.

— А-а! Какой гость! — развязно и громко начал он.— Как живете-можете? А уж я-то без вас соскучился, реб Фишл!

Вслед затем послышались голоса:

— Давайте приветствовать «богача»!

И со всех сторон посыпались приветствия, сопровождаемые щипками и ударами в спину, так что у меня даже шапка с головы слетела. Верчусь во все стороны, разыскивая шапку, прикрываю голову полой кафтана, а удары на меня так и сыплются... В это время подбегает с радостным криком моя жена:

— Где он, где мой муж? Где? Где Фишка?

Ее радость ужалила меня больнее, нежели щипки, которыми встретили меня бандиты. В мои расчеты такая радость вовсе не входила: она подрывала все мои надежды на развод. «Лучше бы ты меня ненавидела так же, как и вся эта свора»,— подумал я. Но жена будто назло повисла у меня на шее, приговаривая: «Фишка! Мой Фишка!» Мне прямо дурно стало при виде ее: слепая, тощая, бессильная старуха! Куда девалась ее дородность, здоровье, ее круглое лицо? При-

шлось сделать над собою усилие, чтобы спросить, хотя бы из приличия:

— Как ты поживаешь, Бася?

— Ты был прав, Фишка, когда говорил, что в Глупске мы оба, слава богу, пользовались добрым именем, что там все меня знали и уважали! — сказала она громко, во всеуслышание, с гордым видом разорившегося богача, рассказывающего о своем величии в былые годы.

— Довольно скитаться,— добавила она, глубоко вздохнув,— домой, домой! Веди меня, Фишка, обратно в наш город, к нашим домам, к нашим хозяевам!

У меня в глазах потемнело от ее речей. Этого я никак не ожидал. Я сильно поморщился. Рыжий дьявол тоже скривился, видимо, полагая, что я готов ухватиться за это добро и лишить его доходов. А я думал: «Пожалуйста, оставь ее себе, уступаю от всего сердца!..» В нем кипела злоба, глаза у него налились кровью. Свирепо поглядывая на меня, он поднялся с места, заворчал и ушел разъяренный.

Бабы и девицы возились возле огня, что-то готовили, подкладывали хворост, пекли картошку. Тут же стояли парни и заигрывали с ними, похлопывали их, щипали, отпуская при этом шуточки. Женщины притворно сердились, будто бы готовые глаза им выцарапать, обругать или проклясть, но тут же разражались хохотом и давали себя ловить, как куры, когда петух, волоча по земле распростертые крылья, дарит их благосклонным взглядом, а они охотно подставляют свои головы под удары его клюва. Часть нищих разбрелась по лесу. Один лежал на животе и храпел, другой чинил кафтан, третий почесывался, ощупывал себя и искал чего-то с серьезным видом. Кто-то с кем-то

боролся, пробовал свои силы. Все шумели, смеялись и были очень оживлены...

Жена крепко прижалась ко мне, вцепилась в меня обеими руками,— прямо-таки одно тело, одна душа, и без умолку говорит, жалуется на свою горькую долю, рассказывает, как тяжело ей жилось, сколько она перетерпела, требует, чтобы я обязательно забрал ее отсюда и жил с ней, как полагается, до самого гроба. Я отвечаю через пятое в десятое. Слова застревают у меня в горле; хочу как-нибудь ускользнуть от нее.

Когда мы с ней довольно долго так просидели и она наговорилась досыта, мне наконец удалось отвязаться от нее и вздохнуть свободнее. Я сейчас же разыскал мою горбунью и потихоньку отошел с ней в сторонку.

Мы сразу же должны были признать, что дела наши обстоят очень скверно. О разводе с женой даже мечтать не приходится: она и слышать об этом не захочет. Оставаться здесь с этой шайкой — и того хуже. Это значит просто продать себя дьяволу, снова сделаться медведем и плясать на задних лапах. Как же быть?

Мы долго думали и порешили, что — ничего не поделаешь! — придется бежать. А так как банда собирается здесь ночевать, то вернее всего сделать это нынешней ночью, здесь же в лесу. Более подходящего места и времени и представить себе нельзя. Сидя и обдумывая план побега, мы увидели издали рыжего выродка с какой-то парой лошадей.

— Не станем дожидаться, пока он подойдет поближе! — говорит горбунья.— Не надо, чтобы нас видели вместе. Давай загодя разойдемся.

Она ушла в одну сторону, я — в другую.

Рыжий, чем-то очень озабоченный, все время шептался со стариком — своим главным помощником. Я постарался не попадаться ему на глаза и держался в сторонке. Моя горбунья улучила минуту, когда вся компания развеселилась и была занята своими делами,— подойдя ко мне, она шепнула на ухо, что рыжий намерен еще до захода солнца двинуться дальше в путь. Лошади, которых он привел, краденые,— потому он, очевидно, и торопится убраться отсюда...

Весь план рушился. У меня даже руки опустились; я не знал, что делать. От досады так защемило сердце, что голова закружилась и я еле держался на ногах. Моя горбунья смотрела на меня с жалостью, глаза у нее горели, лицо пылало, и после минутного раздумья она с дрожью в голосе сказала:

— Фишка! Будь немного позднее в развалившейся корчме, на чердаке. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю! — живо ответил я, подскочив от радости.— А ты потом туда придешь?

— Да. Тише! — проговорила она, утвердительно кивнув головой.— Да. Только, ради бога, тише. Слышишь?

Я не считал для себя обязательным прощаться со своей женой. Хотя, вообще говоря, ее было жалко. Но кто же виноват? Она первая подорвала наши отношения, а потом отчужденность между нами все росла и росла. Пропало! Что мне было делать? Да и помимо всего прочего, я просто не мог больше быть с ней, не мог и сойтись с ней, как не может сойтись небо с землей. Я, понятно, «забыл» попрощаться и потихоньку направился к развалившейся корчме.

Каково было мое состояние, когда я вошел туда, понять не трудно. После стольких мук и страданий бо-

гу угодно было свести меня с горбуньей в какой-то заброшенной корчме. Здесь должна была решиться наша судьба, и с этой минуты нам предстояло начать новую жизнь...

Взобраться на чердак мне особого труда не стоило. Домишко был низенький; задняя стена сеней склонилась чуть не до земли. Потолок местами прогнил, и с чердака сквозь большие щели можно было видеть, что делается в доме. Забился я в уголок и жду. Сердце стучит молотком. Каждая минута кажется годом. Прислушиваюсь к малейшему шороху. Шевельнется где-нибудь соломинка, а мне чудятся шаги, ее шаги... В каждом дуновении ветерка мне слышится зов, ее зов... Вдруг доносится до меня снизу чей-то голос. Мысль, что это она, что вот она пришла, что сейчас, сейчас мы будем на свободе,— эта мысль меня бросала то в жар, то в холод. Хочу окликнуть ее, но у меня дыхание захватило, язык не повинуется.

В то же мгновение я действительно довольно четко услыхал свои имя и сквозь щель в потолке увидел... Но кого? Рыжего дьявола со старикашкой!

Они беседовали.

— Ты возьми на себя твое сокровище! — говорил рыжий.— Смотри, как бы слепая ведьма не ускользнула. Понял?

— Не беспокойся! — отвечал старикашка.— Я свое сделал. Боюсь только, как бы она не подохла. Эта старая рухлядь валяется теперь, как мертвая, и двинуться не может,— так я ее отколотил.

— А хромую гадину,— сказал рыжий,— я беру на себя. Видеть не могу его противной рожи, ненавижу! Я с ним поквитаюсь, будь уверен! У нас с ним старые счеты.

У меня кровь застыла, когда я услыхал такие страшные слова.

— Видать,— сказал старикашка,— кони, которых ты увел,— еврейские. Тощие, забитые, в колтунах. Хребты у них кривые, шеи худые, да еще геморроем страдают,— ни дать ни взять наши святоши!

— Чтоб у тебя язык отвалился, старый хрыч! — выругался рыжий.— Поди лучше посмотри, собака этакая, в сенях, на чердаке,— не раздобудешь ли тут какое-нибудь извозчичье барахло, которое могло бы нам пригодиться. Ведь тут как-никак был когда-то заезжий двор, с позволения сказать.

Меня холодный пот прошиб, мне стало дурно. Одна нога стала дрожать и невольно ударила по настилу. Те оба подняли глаза и с минуту стояли ошеломленные. Потом оба в один голос сказали:

— Что-то сыплется с потолка! Надо посмотреть.

У меня голова кругом пошла, зазвенело в ушах, поплыло перед глазами, и я точно повис в воздухе...

Да, в воздухе. Две железные руки подхватили меня и швырнули с чердака наземь. Я услышал радушное приветствие:

— Добро пожаловать, реб Фишл!

Увидел перед собою рыжего и ужаснулся: он был похож на кошку, которая собирается задушить мышонка. Старикашки я уже не видел. Он, видно, ушел, оставив нас наедине.

— Ну, тварь этакая! — сказал рыжий дьявол.— Читай исповедь!.. То, что я должен был сделать с тобой когда-то там, в погребе, придется сделать сейчас. Файвушка ничего не забывает!

Я пал к его ногам, стал плакать и молить пощады, как у разбойника. Не помогло. Он достал нож и стал

водить им перед моими глазами, с наслаждением взирая, как я весь трепещу. Я пытался уговаривать его, сулил ему загробную жизнь, весь мир, обещал уступить ему свою долю царствия небесного, все, что возможно. Но он таращил на меня глаза и молчал. Тогда я стал пугать его адом, божьим судом, говорил, что бог его накажет, отомстит за невинно пролитую кровь. Он плотно сжал губы и высоко занес нож...

Но в эту страшную минуту, когда нож должен был вот-вот опуститься, кто-то схватил его сзади с нечеловеческим криком:

— Нет! Нет! Ты этого не сделаешь!

Он растерялся и в ужасе стал озираться по сторонам.

Его схватила горбунья.

— Вон, мерзавка! — зарычал рыжий, придя в себя.— Вон отсюда! Не то...

— Нет! Нет! Я отсюда не уйду! Убей и меня вместе с ним! — кричала она и, упав к нему на грудь, стала плакать горючими слезами, ласкать его, умолять, чтобы он меня отпустил. Она прочила ему вечную жизнь и место в раю. Рыжий отшвырнул ее от себя, как мячик, ругаясь и проклиная на чем свет стоит.

Когда злоба его немного стихла, он обратился ко мне:

— Очень жалею, что я тебя, дрянцо этакое, собственными руками не укокошил! Но уж если тебе посчастливилось и я тебя, гадину, не раздавил, как вошь, то так просто ты из моих рук все-таки не уйдешь!

Он взял веревку, которой был подпоясан, и связал меня по рукам и ногам, приговаривая:

— Лежи тихо, собака, чтоб и духу твоего не слышно было! Лежи, пока не подохнешь. Но помни, гадина!

Если с тобой случится чудо, если бабушка какая-нибудь на том свете за тебя похлопочет и тебе удастся уйти отсюда живым,— берегись, не попадайся мне больше на глаза: в ту же минуту прикончу!..

Разделавшись со мной, он принялся за горбунью, которая лежала на земле, рыдала и, глядя на меня, рвала на себе волосы.

— А ты, потаскуха! — крикнул рыжий, пнув ее, бедняжку, ногой.— Я знаю, я понимаю все! Сговорились! Свадебку без музыки справить хотели здесь, на чердаке... Хороша девочка, нечего сказать! А передо мной ломалась, святошу из себя корчила... Теперь ты у меня узнаешь, мерзавка этакая!..

Он схватил ее на руки и, обернувшись ко мне, сказал:

— А ты молчи, собака! Помни мои слова!

И вместе с ней тут же исчез.

В аду не терпят столько мук, сколько я вытерпел. Не я был в аду,— ад был во мне. Внутри меня все клокотало, пламя сжигало меня. Волосы на голове дыбом вставали. Я чувствовал, как они, точно булавки, вонзаются мне в череп... А тут еще и плакать громко нельзя!..

Прошло немного времени, и до ушей моих донеслись звуки: скрип колес, шум, крики... Это означало, что банда снялась с места, двинулась в путь... А вместе с этими выродками — моя душа, моя хорошая, моя бедная, несчастная горбунья...

Я долго лежал, как немая овца, связанный, с распухшими от горючих слез глазами. Веревка впивалась в тело и при малейшем движении резала, как ножом. К тому же меня мучила жажда. «Вот,— думал я,— конец приходит».

От невыносимой боли я стал кричать,— авось кто-нибудь услышит. Банда, по моим расчетам, должна была уже отъехать довольно далеко. Я кричу, но все напрасно. В горле пересыхает, меня охватывает ужас. Кричать становится все труднее, приходится делать передышку... Положение с каждой минутой ухудшается. Нет больше сил кричать. Душа, чувствую, уже еле держится в теле, смерть пришла за ней... Приходится умереть молодым, проститься с жизнью. Собрал я все свои силы и подумал: в последний раз крикну,— пусть прозвучит трубный глас моей злополучной жизни...

Но тут бог принес вас, реб Алтер! Вы помогли мне в беде и спасли мою жизнь.

25

Была уже ночь, когда Фишка закончил свою печальную повесть.

Наши лошади дотащились до Зеленой горы, что под самым Глупском.

Зеленую гору под Глупском знает чуть ли не весь мир. С незапамятных времен о ней сложена песенка, которую знает и стар и млад, а матери и няньки унимают и укачивают ею младенцев. Моя мать, царство ей небесное, тоже, бывало, пела мне эту песенку:

На горе крутой,
Во траве густой,
Немцы-лиходеи,
На людей глазея,
День и ночь стоят,
Плетью им грозят.
Боже, наш владыка...

Песенка эта мне очень нравилась, гораздо больше других.

Моему детскому воображению Зеленая гора рисовалась изумительно красивой! Мне казалось, что она не просто из земли, как прочие холмы вокруг моего родного местечка. Нет! Это, казалось мне, должно быть чем-то необычайным... Вроде Масличной горы или горы Ливанской.

А немцы, да простят они меня, представлялись какими-то чудовищами — не то коровами, не то быками... Они хлещут длинными кнутами и никому подойти не дают к Глупску, как река Самбатьен — к красноликим израильтянам... Кто хочет войти в Глупск, вынужден подвергнуться удару кнутом... И все в Глупске выглядят как набитые дураки...

Позже, когда я вырос из детских одежек и побывал во многих городах, в том числе и в Глупске, я на все стал смотреть иными глазами и понял как следует смысл этой песенки. Зеленая гора — попросту гора, и даже не столько зеленая, сколько грязная и ухабистая. А под немцами-великанами подразумеваются люди с длинными руками и липучими пальцами, которые обворовывают приезжих, забирая последнюю котомку. Вошло уже в обычай в первый раз приезжать в Глупск без котомки. Наученные опытом, люди начинают беспокоиться еще за несколько верст до Глупска. Глаза невольно обращаются к задку кибитки, руки ощупывают котомку, боковой карман, застегивают кафтан на все пуговицы. Я хочу этим сказать, что, подъезжая к Зеленой горе, мы всем существом, даже носом, почуяли приближение Глупска. И лишь спустя некоторое время, когда мы хорошенько огляделись по сторонам и ощупали все, что лежало в кибитках, я

вспомнил о Фишке и увидел, что он сидит грустный, глубоко опечаленный.

Я принялся его утешать, подбадривать, притворяясь веселым, и закончил свои утешительные речи словами из второй части все той же знакомой песенки:

Боже, наш владыка,
Радость многолика,—
Весело споем,
Душу отведем.
Будет брага литься,
Будем веселиться,
Будем пить, гулять.
Бога величать!

— Не горюй, Фишка! Бога нашего никогда забывать не следует. Он может помочь.

— Я, реб Менделе, спрашиваю вас только об одном! — с грустью отвечает Фишка.— Зачем понадобилось богу снова столкнуть нас? Неужели только для того, чтобы тут же разлучить? Чтобы счастье нам лишь на миг сверкнуло? Чтобы потом нам еще темнее стало? Будто назло!.. И, господи ты боже мой, кому назло? Двоим несчастным, горемычным калекам, которым гораздо лучше было бы и вовсе не родиться, нежели так жить, так мучиться и страдать!..

Я корчу благочестивую мину и, покачивая головой, произношу:

— Те-те-те!

Это должно означать: «Таких вещей говорить нельзя!»

Произнес я это «те-те-те» не потому, что считал это удовлетворительным ответом на вопрос Фишки, а потому, что так уж водится: если кто-нибудь с горя на-

чинает задавать каверзные вопросы, другой должен читать ему мораль и отвлечь его хотя бы таким вот «те-те-те». Отдав из приличия дань нравоучению, я обратился к Фишке уже по-человечески с вопросом:

— Скажи мне, Фишка, а как звать эту девушку? Ты все время говорил: «горбунья», «моя горбунья»... Хотелось бы мне знать, как ее имя?

— К чему это, реб Менделе? — ответил Фишка, с удивлением глядя на меня.— Зачем это вам знать? К чему зря выдавать девичье имя?

— Видишь ли, глупенький,— заметил я,— это может пригодиться.— Я ведь постоянно разъезжаю: может случиться, что мне удастся кое-что пронюхать. Лучше, если я буду знать ее имя. Понимаешь, мало ли что! А вдруг твоя пропажа благодаря мне и отыщется.

— Бейля зовут ее! — сказал Фишка, обрадовавшись.— Ее зовут Бейля.

Внезапно раздался тяжкий стон и стук, будто что-то оборвалось. Это заставило меня испуганно оглянуться: мой Алтер лежал, растянувшись на возу, бледный как полотно, и тяжело вздыхал.

— Что с вами, реб Алтер? — спросил я.— Может быть, рюмочку водки дать? Вам дурно?

— Бе!..— ответил Алтер и, собравшись с силами, уселся вновь.

— Скажи-ка, Фишка! — продолжал я, успокоившись насчет Алтера.— Не знаешь ли ты, как звали ее мать, откуда она?

— Знаю! — сказал Фишка.— Моя горбунья рассказывала, что мать ее звали Элькой. Она как сквозь сон помнит, что мать развелась с мужем в Тунеядовке. Мать об этом не раз вспоминала, вымещая свою горечь на несчастной дочери.

— В Тунеядовке? — удивился я.— Кто бы это мог быть ее муж, злодей с каменным сердцем, отвергший свое родное дитя и сделавший его таким несчастным? Может быть, вы, реб Алтер, знаете у себя в местечке, кто это такой?

Алтер сидел ни жив ни мертв, выпучив глаза. Смотрел как-то дико, раскрыв рот... Я пришел в ужас.

— Его звали...— Фишка тер лоб, силясь вспомнить имя.— Его звали, кажется... погодите-ка...

— Алтер зовут его! — вскрикнул Алтер и упал.

— Да, да! Верно! — сказал Фишка, глядя на Алтера и не понимая, что означает его крик.— Кажется, еще и прозвище какое-то было у него,— Якнегоз! Мать, когда ей приходилось плохо, когда она лишалась места, истязала свою дочь, била ее и при этом звала ее «Якнегозиха, Якнегозово отродье!»

Но я уже догадался, что все это значит, и сидел ошеломленный.

Алтер всхлипывал и колотил себя кулаком в грудь, приговаривая:

— Воистину грешен! Это я отравил ей жизнь. Она права была, бедная: «Отец ее зарезал»... Божье наказание преследует меня за это вот уже сколько времени. И за что бы я ни принимался, все идет прахом.

Я из жалости стал утешать моего Алтера, успокаивать его, стараясь по мере сил загладить кое-как его вину: ведь он всего только человек, плоть и кровь. Бес, сидящий в нас, грешных людях, очень силен. Даже большие праведники и те в подобных делах... бывали не безгрешны и не всегда могли устоять против соблазна... Очень многие из наших патриархов, праведни-

ков были сущими тряпками, находились у жены под башмаком, делали все в угоду ей и даже прогоняли своих детей от первой жены, если вторая этого хотела.

Фишке все приключившееся казалось странным. Он сидел, широко раскрыв удивленные глаза, дико смотрел на Алтера, на меня и не знал, что делать.

Между тем наступила ночь. Звезды в небе мерцают, щурятся, кивают, будто принимают участие в нашей беседе и желают что-то сказать. У самого края неба, словно из-за земли, выплывает огромная, огненно-красная луна. Кажется, что она глядит прямо на нас. Все оттуда, сверху, как будто смотрит на нас и ждет, чем кончится вся эта история...

Мой Алтер быстро встает, поднимает глаза к небу и говорит с воодушевлением:

— Клянусь предвечным, что не вернусь домой к своей жене и детям, не выдам замуж свою дочь, пока не разыщу свое покинутое дитя! Небо и земля да будут мне свидетелями! Я сейчас же еду, и горе, горе тому, кто встанет на моем пути!..

Фишка бросается к нему на грудь, обнимает и целует его, молча, без слов. Потом, придя в себя, он со слезами и мольбою в голосе говорит:

— Ради бога, спасите, спасите ее!..

Алтер быстро слезает, перебирается в свою кибитку и, попрощавшись с нами издали, поворачивает оглобли, настегивает клячу и уезжает.

Мы с Фишкой долго смотрим ему вслед, не произнося ни слова. Потом я бросаю взгляд на небо. Луна и звезды продолжают свой путь, но глядят они сейчас по-иному, совсем не так, как прежде: высоко-высоко,

торжественно, далеко от нас, людишек. Становится как-то грустно, невесело на душе...

Нахлестываю своего орла, заставляю его прибавить шагу,— и поздней ночью моя кибитка катится по ухабистым улицам Глупска с грохотом и стуком, возвещая жителям:

— Да будет вам известно: еще два еврея прибыли в Глупск!

1888



СОДЕРЖАНИЕ

Менделе Мойхер-Сфорим

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК.
ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕНИАМИНА ТРЕТЬЕГО.
ФИШКА ХРОМОЙ

Редакторы *М. Новохатский*
и *М. Беленький*

Художественный редактор
Г. Кудрявцев

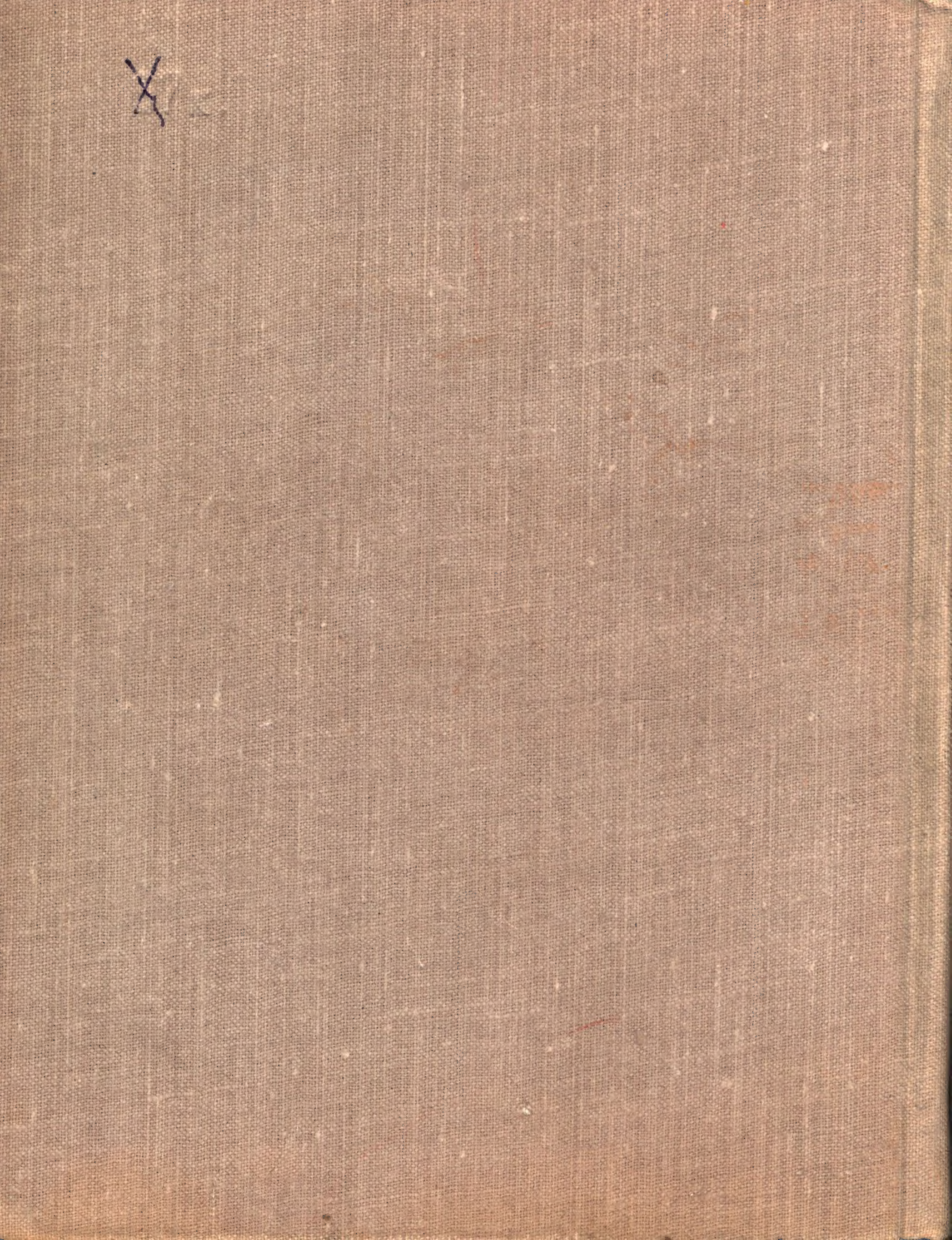
Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *Л. Чиркунова*

Сдано в набор 30/III 1961 г. Подписано к печати 17/VIII 1961 г. Бумага $70\times108^1/_{32}$.—16,25 печ. л. 22,26 усл. печ. л. 19,64+1 вкл.=19,68. уч.-изд. л. Тираж 100 000. Заказ 235. Цена 67 к.

Гослитиздат.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа.
Минск, Красная, 23.




Менделе Мойхер-Сфорим

МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМ